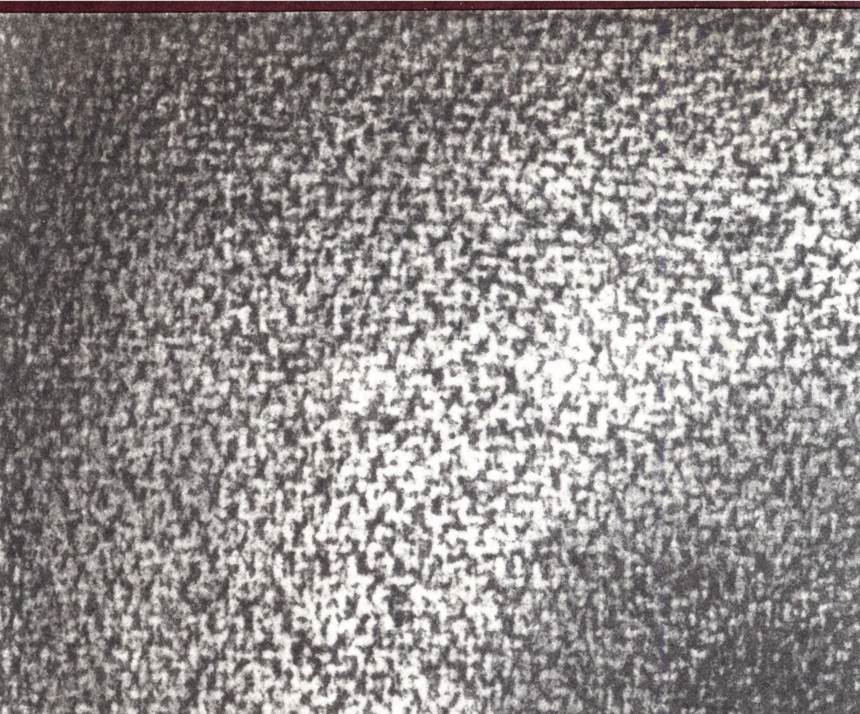
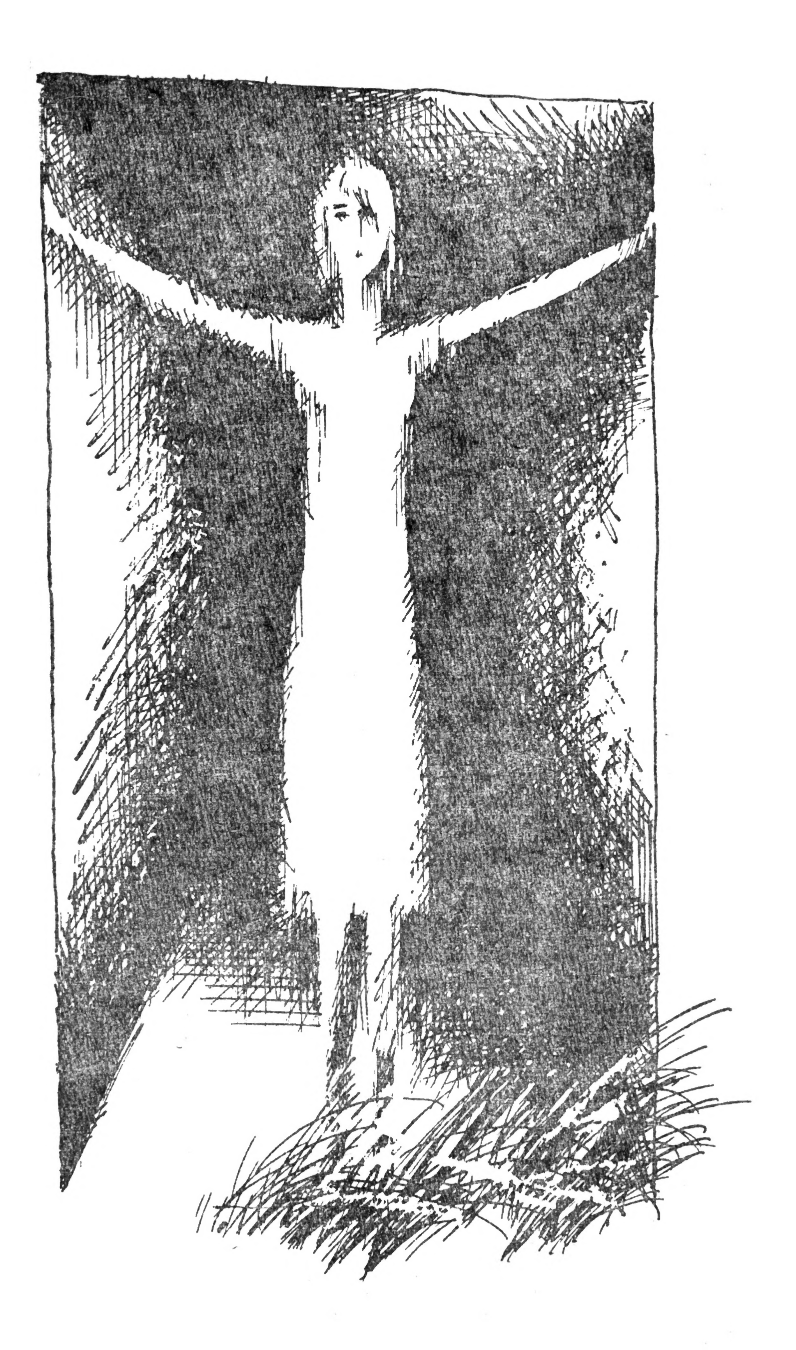

вера
галактионова
зеленое
солнце







вера
галактионова



зеленое солнце

РОМАН

АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»
1989

ББК 84Р7—44
Г 15

Р е ц е н з е н т ы:
В. В. Бадиков, кандидат филологических наук;
Р. Н. Джангужин, кандидат философских наук.

Галактионова Вера.
Г 15 Зеленое солнце: Роман.— Алма-Ата: Жазушы, 1989.— 304 с., ил.

Сюжет романа разворачивается на фоне истории страны от коллективизации до наших дней. Совесть и антисовесть в современном обществе — таков идейный стержень произведения, потому в книге присутствует целая галерея людей, проповедующих программу нравственного спасения человечества. Программа эта оспаривается и пародируется в романе, носители ее живут несладко и недолго. Но через них постигает главная героиня — Екатерина Анохина — духовность мира, и именно она, простая женщина, становится чутким резонатором эпохи.

$\text{Г}\frac{4702010201-105}{402(05)-89}$ 9—89

ББК 84Р7—44

ISBN 5-605-00131-0

© Издательство «Жазушы», 1989.

Я не собираюсь высказывать недовольства по поводу того, что этот человек видит данный предмет красным.

Такамура Котаро.

Слухи о странных происшествиях, последовавших будто бы одно за другим в пригороде Н., разошлись самые невероятные. И чем шире расходились они, тем подробнее и красочнее обрисовывалось то самое, что вряд ли имело место в действительности, и тем меньше верили этим слухам люди. Но, как это часто бывает, сами же неверящие, убеждая слушателей, что верить этому нельзя ни на грош, не могли все же отказать себе в удовольствии рассказать обо всем случайно услышанном новым и новым людям. История эта вскоре прижилась в вагонах электричек и поездов дальнего и ближнего следования, и стала типично вагонной историей, из числа тех, которые не сразу узнаешь, встречаясь с ними в следующий раз,— уже другие подробности делают их едва ли не вовсе иными. О какой-то старухе, собственноручно ловившей дьявола и поймавшей его, сообщалось как-то сбивчиво. Но куда охотнее и толковее рассказывали под стук колес о распятой женщине,— будто именно старуха, которой предстояло поймать дьявола, буквально перед самой его поимкой и обнаружила в пригороде, неподалеку от собственного приусадебного участка, эту самую женщину.

Сначала вроде бы старухе стал мерещиться по ночам стук и стук — в ней самой. Хотя старуха понимала, что собственное ее сердце не может колотиться с таким явственным, размеренным грохотом, она все же купила себе пузырек свежей валерьянки. И едва стала принимать уже новые капли, как стук начал раздаваться и днем,— стучали определенно снаружи. Вскоре стук усилился до того, что старушка, никогда в жизни не писавшая жалоб и ни разу не ходившая к депутату, была вынуждена отправиться в магазин канцелярских товаров за стержнем для шариковой ручки, потому что старый она почти весь извела, распи-

сываясь в получении пенсии. С новым стержнем и со школьной тетрадкой в двадцать четыре листа старушка вернулась домой в три часа тридцать минут и сразу села сочинять жалобу в горисполком. Стук же все раздавался и раздавался, и шел вроде бы откуда-то из-за оврага, со стороны лесочка. Но тут оказалось, что старушка не знает, на кого именно она жалуется. А чтобы точно указать, что за бригада и какой такой организации колотит без устали день и ночь, она надела выходной и совсем еще как новый пиджак, справленный ею в пятьдесят третьем году, и, не желая откладывать этого дела до утра, двинулась прямехонько на звук. Ей пришлось продраться сквозь заогородный бурьян, перелезть через овраг и пройти почти весь лесок. Но, странное дело, чем вернее шла старуха на стук, тем тише и тише становился он, и старуха уж совсем было затосковала и пожалела, что зря купила тетрадку в двадцать четыре листа. Потому что, может, еще и на двенадцати писать будет нечего. Но нет. При выходе из лесочка, там, где больше кустов, чем деревьев, вдруг стали попадаться ей навстречу подозрительного вида женщины и изредка — мужчины, одетые весьма необычно. Так, выходили из кустов разные дамы в длинных платьях и смотрели на старушку сквозь редкие вуали, сощурясь. Иные попыхивали при этом маленькими трубочками. Попадались также мужчины во фраках и в пенсне, все больше низкорослые, тщедушные, хотя были среди них и вполне современно одетые, холеные, как вроде бы при хороших должностях. Но все они,— и мужчины, и женщины,— шли с молотками. Только у женщин молотки были совсем небольшие, какими хорошо заколачивать посылочные ящики с фруктами, мужчины же помахивали на ходу молотками потяжелее и в быту имеющимися только у владельцев строящихся дач. Сначала старушка на молотки смотрела со страхом и жалась к кустам. А потом, переждав, когда утомленного вида господин с бакенбардами пройдет мимо со своим молотком, похожим и вовсе на кувалду, оглядела молоденькую женщину в «бананах» и к ней-то решилась подойти,— женщина была совсем худосочная. Правда, старушка сразу заметила, что «бананы» ее пошиты из ткани не нынешней, а явно крепкой и старорежимной. Старушка спросила даму, чего они строят за лесочком, если на строителей не похожи. Дама осердилась и сказала очень раздраженно, что если и есть на свете строители, то это именно они, что строят они на протяжении столетий, и строят очень хорошо. А строят и уже почти построили

новое общество, в котором женщина так похожа на мужчину и по правам, и по обязанностям, что и не отличить. Старушка вроде бы ужаснулась и хотела было спросить, кто же вместо женщин будет хозяйство дома вести и за детьми доглядывать, но вымолвила только: «Да что же вы, незамужние? Бездетные вы, что ли?» Дама, поразмыслив, сказала: «Уже почти»,— сунула молоток под мышку и достала из «бананов» длинную и тонкую папироску Потом опять пошарила в карманах и вытащила огромный спичечный коробок, совершенно вроде бы такой, в каких продают хозяйственные спички Барнаульской фабрики, но гораздо прочнее. Старушка, стеснявшаяся своей темноты, о многом спросить не посмела, тем более что дама, сунув папироску в рот, но так и не прикурив, опять полезла в свой карман, только на этот раз вытащила круглые, луковкой, часы на цепочке, посмотрела на них и покачала головой. «Который век, не подскажете? Опять часы стоят»,— невнятно проговорила она, перекатывая папироску из одного угла рта в другой. Старушка вроде бы и вовсе не сообразила, что ответить на это, а только зачарованно смотрела на даму и думала, что спит. Однако все же спросила в конце-концов: «А где ваша стройка теперь будет?» Тогда дама махнула коробком в сторону холма, и в ту же секунду растаяла, как и не было ее. И только затем раздался оглушительный треск, как от разорвавшейся ткани, вспыхнул в вечернем воздухе огонек, сильно запахло серой, да клуб табачного дыма вздулся грибком почти у самого старухиного лица. И огромная обугленная спичка упала к новым ее чувякам на листок подорожника. Старушка своим чувяком спичку ту с листа сдвинула и хорошенько притоптала, ворча, что эти вертихвостки, хоть и живут себе в прошлых веках, а пожар того и гляди настряпают в веке нашем, а не еще в чьем по своей беззаботности. И, подивившись немного размерам спички, двинулась дальше. А едва вышла из леса и продралась сквозь последние кусты, тут-то и обомлела. И сильно пожалела, что не взяла с собою хотя бы старую валерьянку.

Зеленый холм, который был ей хорошо знаком с детства, вдруг ужасно удлинился прямо на ее глазах и стал пыльным, непомерно высоким и каменистым ни с того ни с сего. И сколько ни шла по нему старушка, все-то он никак не кончался. Хотя распятье на самой вершине его было четко видно еще от самого лесочка. В уме у старушки все смешалось, и как-то так получилось, что вполне од

новременно она думала и про растоптанные свои остроносые и более удобные при ходьбе калоши, напрасно оставленные дома, и в то же время про то, что, наверно, она и есть Мария Магдалина. Но по одышке и по слабости в теле, а также по пиджаку, справленному в пятьдесят третьем году, все же было на то непохоже. Распятье же, пока шла, старуха все принимала за мучающегося и искупающего на кресте грехи человеческие Спасителя. Но только недоумевала, спотыкаясь и приостанавливаясь, куда же подевались два распятые головореза. В помраченном уме старушка даже успела усомниться, действительно ли Спаситель был распят когда-то, и понадеяться про себя, что Понтий Пилат одумался, может, на самом-то деле и казнил все же одного только уголовника Вараввку, а не Исуса. И в надежде этой посветлела лицом, и пошла легче и быстрее в своих неразношенных чувяках. Но вдруг одумалась и припомнила совершенно точно, что казнил Исуса вовсе не Понтий Пилат, а казнило общее голосование, и тут ни один Понтий Пилат сам по себе переиначить ничего не мог, и уже никогда не сможет. После того старушка взбиралась по холму, ни о чем не думая, а только глядя под ноги, и никакого стука не слышала.

Когда же взошла она на холм, к самому подножию креста, и остановилась, и подняла глаза, то увидела, что мучающаяся распятая женщина тоже смотрит на нее сверху. «А ведь никто не знал, что настанут такие времена, когда на крест взойдет женщина»,— заметила вроде бы старушка мученице. И смирно постояла. И заплакала не сразу. «Тяжело тебе поди»,— заплакала старушка. «Очень, конечно, тяжело»,— откликнулась та. И действительно, на в меру подкрашенном лице распятой было много страдания.

«Погоди-ка! — оживилась вдруг старушонка.— А вот я сейчас чурбачок какой-никакой в лесу пригляжу. Либо пенечек вкачу. И с гвоздей-то, может, тебя как-нибудь и сниму. С креста-то, говорю, может, и сниму тебя!» А женщина, будто бы только тихо так засмеялась сквозь слезы: «Как же с такого высоченного ты меня снимешь? Разве не видишь, как высоко меня вознесли? Уж с такой высоты — нет, не получится... Да и не крест это вовсе». «А что же, как не крест?» — оторопела старушка. И даже пальцем основание креста потрогала. Правдашный крест. Кипарис. У меня ведь, доченька, столяр с мебельной фабрики в соседях живет, и через него я в дереве хорошо разбираюсь. Такого дерева сроду у него во дворе никогда

не лежало, а значит, и на фабрике тоже не было. Потому кипарис это будет, а не осина, не деревоплита». «Не-е-ет,— говорит та.— Не на кресте меня распяли и не на нем я мучаюсь. Кресту этому название другое есть. Эмансипация,— говорит,— название ему». Но старушка слушать ее не стала. «Мало ли,— говорит,— какие слова страшные на свете есть! Да нам до них что за дело? А вот я сбегаю, людей соберу. Снимем тебя, бедолагу, потерпи. Соберемся — да и снимем». И мученица ей вроде бы не верит, а старушка, что было сил, побежала в пригород. И очутилась в нем так быстро, как и быть не могло.

И вот вроде бы тут и начался великий шум: какая женщина ни подбежит к кресту — тут же в распятой себя узнает. Глядит — и ужасается: как две капли воды эта женщина распятая на ту становится похожа, которая на нее смотрит.

Поставили женщины свои кошелки к подножию креста, высвобождая руки для самых решительных действий, да как глянули на них, на руки-то свои,— а ладони у всех, как у одной, кровоточат! Насквозь ладони пробиты, и больно женщинам ужасно, и сделать для спасенья распятой такими руками ничего, конечно, невозможно.

Так вроде бы до сих пор та женщина распятая над тем холмом и мучается.

Отмечалось также по слухам, что мужская часть населения на эти россказни не поддалась вовсе и в распятую женщину не поверила: несмотря на всякие хитроумные заманивания жен, надеющихся на то, что собственным мужьям они, распятые, на кресте явятся, ни единого человека к тому холму не направилось. Отговорились даже тишайшие мужья-подкаблучники. Кто — повышенным давлением, кто — сверхурочной работой, но большинство все же — международными футбольными матчами, к которым были прикованы долгое время, потому как болели «за наших», а не за всяких там то ли распятых, то ли — нет.

Следует сразу сказать, что никаких реальных оснований для этих сказок про распятую не было и в помине. А вот невнятное и обычно скороговоркой сообщенное упоминание о самой старушке, ловившей будто бы дьявола, куда как ближе к тому, что происходило в действительности. Хотя малодостоверного хватает и в этой истории...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Я, Екатерина Изотовна Анохина, 1921 года рождения, не окончившая средней школы, поскольку самовольно выбыла из Любомирского детского дома за полтора месяца до выпускных экзаменов, привлеченная к уголовной ответственности в1948 году за присвоение государственного имущества и отбывшая срок лишения свободы в 1952 году, пенсионерка, объясняю вам как новому, после участкового Булалаева, человеку, что никаких неправдоподобных слухов среди населения не распространяла. А только что было — то было».

Из объяснительной записки участковому Рамазанову И. М.

Не знаю, чем бы все кончилось. Не разгадала бы я если, кто он!
А про то, что мне на роду написано разгадать его, не еще кому, он все же сразу почуял. Куда как раньше меня почуял! Схватился-то он со мной — не на жизнь, а на смерть. И ведь какой уверенный был, что одолеет! Думал, что уж вся сила на его стороне. Был, был уверен! Еще по самому первому его приходу ясно стало, что был.

А заявился-то когда? Когда ничего-то в жизни мне уже не оставалось, как перетряхивать-перебирать, да и на свет просматривать всю свою дорожку. Называй ее как хочешь,— судьба ли, прожитое ли,— а только все равно дорожку. Какую сама себе и пряла, и ткала, и под ноги стелила. Вот и осталось перед вечным-то сном-покоем перетряхнуть, да проглядеть ее до нитки — вроде как побитое молью платье проглядеть, давно изношенное, — нафталином-то никогда ничего не умела вовремя присыпать-притрусить.

Что-то со мной неладное случилось тогда. Да не со мной одной — другие многие тоже жаловались, Испытания-то от нас — недалеко, землю все потряхивает. Чего-то

тут у нас взрывают, а чего-то — в небо запускают. И вот то всех тошнить разом начнет, а то с головой чего-то такое делается. Мерещится многим всякое... Ночами — то ли сплю, то ли не сплю. Но только глаза прикрою — и вдруг как в детстве, как в голодовку, значит, при закрытых-то глазах мельтешенье какое-то огненное гуще да гуще. На снегопад вроде похоже, только светящийся то снегопад. Будто искорки белые вьются, в огненную светлую спираль свиваются, и все это меня так и закручивает. И несет прямо в такую глубь-вышину — в самую далекую-далекую огненную точку втягивает. И тут уже картинки всякие открываются. Сама жизнь мчится. Страшно быстро мчится. То моя жизнь — а то вовсе мне непонятная. А глаза откроешь — и не поймешь никак: явь ли, сон ли, ночь ли, день ли вокруг? А только нету никакого времени, и тебя самой будто нету... И потолок вроде над тобой как потолок, и лампочка из прихожей посвечивает, а тебя самой — и нету. Вот когда он вошел.

Я только услыхала, как в сенях щеколда брякнула. И кто-то по половицам сенным тяжело-тяжело да медленно так до самой двери запертой дошаркал. И не удивилась я нисколько, не спросила себя, кто бы это мог быть. Ключа-то ведь ни у кого на свете больше нету. Только лежу да слушаю. А тут и в двери шумок. Будто кто замок не торопясь открывает. А потом... и не шаги вовсе услыхала я, нет. А смех тихий. И тихий этот смех ко мне приближается. И будто парализовало меня,— как лежала я вниз лицом, так и лежу, оцепенела вся. И на спину повернуться хочу,— а не могу, и только краешком от подушки вижу: кто-то огромный да черный не спеша движется, да вполголоса посмеивается. И тут весь свет он заслонил, потемнело все вокруг меня. И тяжесть вдруг огромная, такая тяжесть несусветная на лопатки мне, на спину опустилась — да и придавила до смерти. И ни закричать — ни двинуться, и задыхаюсь я, и все тяжелей да тяжелей мне.

Сколько это длилось — не знаю. Только долго, так долго, будто десять жизней-смертей прошло. Но вот отпускать понемногу стало. И опять смех ленивый, недобрый надо мной, а тихий — смех. И этот огромный да темный кто-то так, посмеиваясь, к двери двинулся. Да под смех-то — слышу,— опять замок щелкнул. И щеколда в сенях будто обратно брякнула. Все.

Потом уж я поняла: пугать приходил. Так напугать хотел, чтобы совсем, значит, для него я неопасная была.

И ведь напугал, ничего тут не скажешь! Напугал... Как вскочила я, помню, так до самого света на койке не шелохнувшись и просидела. И такой-то долгой мне эта ночь показалась! На шторки на окнах гляжу, на шкаф, на половики свои,— всё вокруг то же самое, да и другое совсем: каждая вещь затаилась будто, и в ужасе-то онемела, со страху замерла. А только рассвело, подхватила я сумку хозяйственную, кофты-юбки,— что под руку, в общем, попалось,— в нее побросала — и опрометью из дому. До автобусной станции добежала — ног под собой не чуяла. И там еще час простояла, пока автобус-то первый подошел. В кабинке шофер толстогубый, со сна вялый, из термоса чего-то пьет, обжигается, на меня не взглянет. И так я этому шоферу рада! Живое лицо рядом, насмотреться на него прямо не могу. Прямо роднее родного он мне. А страх все равно потихоньку, не сразу выходит. Вот ровно из лимонада пузыречки...

Пелагейку с кровати подняла, на кухне мы с ней сели. Она картошку холодную, в мундире сваренную, сидит чистит, одну за другой ест. Чайник на плите шумит. А я сумку из рук не выпускаю, и с лицом своим не совладаю никак — вроде стынет оно у меня.

— Пелагейка,— говорю,— сроду я ни в каких домовых не верила, а тут вот ведь какое дело...

Ну и давай рассказывать. Пелагейка и жевать перестала. Сидит с полным ртом, да моргает только.

Послушала, значит, Пелагейка, послушала, утерлась, чаю себе да мне налила и давай головой качать.

— Нет,— говорит,— Катерин. Не домовой это был.

А я молчу и спросить ее боюсь.

— Не домовой,— говорит.— А похуже кто.

— Да кто же? Кто?!

Посидела Пелагейка — да по столу и хлопнула:

— Это ведь к тебе сам приходил... А вот я чего думаю: к Степаниде Борисовне нам съездить надо. Если она еще живая, конечно.

Ну и поехали с Пелагейкой к Степаниде Борисовне, на самый край города. Избенку ее едва-едва отыскали,— на самом обрыве избенка стоит, вроде аварийная. Река обрыв этот подмывает, и мало кто уже на обрыве том живет. Калитка кривенькая на мочальной веревке едва держится, двор в репьях. А стекла в окошечках чистые, мытые — блестят. Живая, значит, старуха. Я много про нее слыхала, а видеть — никогда не видала. И думала что-то, все представляла, что маленькая да худенькая она, черненькая

да носатая. Может, еще и усатенькая маленько. А тут выходит, смотрю, к нам старуха — высоченная, прямая. Встала во дворе — не суетится, руки на груди сложила, и прямо на нас важно смотрит. А кофта на ней — совсем уж ветхая. Но все же чистая вся старуха, простиранная.

— Ко мне? — говорит, платочек глаженый на голове поправляет.— Проходите в избу. Хорóм не нажила. Не обессудьте, люди добрые.

И в избушке — клеенка на столе вытертая, и репродуктор над ним висит, только выключенный — проводок на стене болтается.

— Вот, Степанида Борисовна, не сама я к тебе пришла, а подружку привела, может, пособишь ей как-нибудь...— жалостливым голосом Пелагейка тянет.

— Знаю, что не ты,— старуха говорит.

— А как же ты поняла, что не я?

И у стола эта самая Степанида Борисовна стоит, клеечку рукой поглаживает и голову хорошо, прямо держит,— а все равно поводит ей голову едва-едва, потряхивает голову ей маленько от старости.

— А так, что ты-то — правой ногой порог переступила. А вот она-то — левой,— говорит.— Помочь не знаю, помогу ли. Многим помогала. Да тут посмотреть сначала надо. А потом уж обещаться.

Ушла старуха в сени, минут пять ее не было. Входит — в одной руке миску с чистой водой холодной несет, в другой — половник. И от половника этого по всей избе воском горячим сразу запахло.

Подержала она миску-то у меня над самой головой, и воск плавленный,— слышу,— надо мной в воду плеснула.

— Я ведь не верю ни во что!..— вроде повинилась я перед старухой.— Не верю в такое-то!

— Не верь,— говорит,— коли душа к тому не лежит. Не важно это.

И все миску-то, с восковой пленочкой на воде, потряхивает. Вот застыл воск. Вытащила она его из воды, к окну поднесла, сощурилась. Тут лицо ее сильно меняться стало. Удивилась будто, отодвинулась, да губы наморщила — больно уж ей не понравилось по воску чего-то. Глянет-глянет — да прямо отшатнется.

— Чего там, Борисовна? — Пелагейка с табуретки тянется.

— Нехорошо...— старуха говорит и что-то про себя думает, а рассказать не торопится. Только голова у нее посильнее дергаться стала.

Молчала-молчала — и подносит фигурину эту восковую ко мне:

— Сама взгляни.

Глянула я — а на воске отпечатался кто-то; спиной стоит, зад отодвинут, и хвостище длинный вьется. А лицо вполоборота щурится, и целиком оно невидное. И только рога в мою сторону торчат. Да и не рога — а рожищи!

— Что же это такое, господи? — спрашиваю.

— А вот — то! — Степанида Борисовна говорит, сердится вроде.

И Пелагейка тоже подскочила, глядит-глядит, а как в себя маленько пришла, так и закричала!

— Степанида Борисовна! Матушка! Да сделай ты чего-нибудь!

Старуха усмехнулась только:

— Больши-и-ие тут силы нужны! — говорит. — Не те у меня силы сейчас, чтобы против него самого идти. Не слажу, девки, нет, не невольте. Да и помоложе была бы — и тогда еще не знаю, одолела бы или нет. Я ведь сейчас уже и порчу сильную отвести не могу. И знаю как, и умею,— а силы той нет. Не берусь. Сглаз — снимаю, пока испуг снимаю, детишкам грыжу заговариваю. Да если порча не сильная... А тут! Тут и думать нечего. Не одолею.

И рукой старуха махнула: не помощница я, дескать, в ваших таких делах.

Ну. Поднялись мы с Пелагейкой. Прощаемся — а ничего нам старуха не отвечает. Только вот вытянулась, вытянулась вся, и еще выше да прямее стала. И тут,— я-то и не поняла сразу, чего с ней,— а вроде икота ее сильная трясти начала. Да громкая какая. И икоты на самом деле нет — а икотный гуд внутри нее ходит гулкий,— страх слушать, страх глядеть. И брови на нас хмурит, а нас не видит, и в лице капли не меняется. Мы с Пелагейкой-то и не знаем, чего делать. Растерялись что-то. Постояли, да боком-боком — к двери. И пока через репьи по тропинке, по двору шли, всё этот икотный гул слыхали. Со двора выскочили — а дверь так нараспашку и стоит, и в проеме — старуха всё видна, капли даже не шелохнулась. Вот страх-то какой.

А по дороге я Пелагейке говорю:

— Что же это мы не заплатили ей ничего? Вернуться, может, надо, пока от избенки далеко не ушли?

— А за что ей платить, если она отговаривать тебя не взялась? Если бы она тебя с молитвой отговори-

ла...— Так Пелагейка рассудила.— Да она и не велит никому платить ей. Ей и деньгами норовили, и подарками чего-нибудь всучить... Не берет. «Как только возьму,— говорит,— так силу свою сразу потеряю напрочь,— не моя эта сила. А тот, кто мне силу эту пока еще дает, тот платы не любит. Ни денег, ни злата-серебра вашего ему не надо. А мне и платить не за что. Нехорошо мне за помощь не свою брать. Грех». Так всем говорит.

— Что же она, задаром со всеми возится? Ты, Пелагейка, поди, все врешь и прямо на ходу выдумываешь. Где это сейчас таких людей найдешь, чтобы они задаром шаг для тебя шагнули?.. Это только я таких знала и тебе про них говорила. Но они ворожбой не занимаются, они наукой занимаются. Это только ученый народ так-то делает, а не знахари. А здесь, где предрассудки-то всякие, где темнота да невежество — здесь так быть никогда не может, чтобы добро — да бесплатно делать.

Пелагейка тут и обиделась.

— Ты,— говорит,— Катерина, знаю, на кого намекаешь. Это ты опять на свою колонию разума намекаешь. А я вот в эту самую колонию не верю, а в старуху верю. У тебя, послушать-то если, только там хорошие люди все и находятся. В колонии твоей. Тьфу, не в твоей, а в ихней, конечно. У тебя-то, ясное дело, совсем другая колония была...

И в первый раз за все время она меня сроком-то моим и подоткнула. Ну — стерпела я.

— У тебя, Пелагейка, маленько поживу, пока страх не пройдет...— говорю.

И семь дней я у Пелагейки жила, и за семь дней мы с ней всего-то раза два только поругались, а на восьмой — хочешь не хочешь, а домой надо; весь век у Пелагейки не проживешь. Засобиралась я. Думаю, дойти-то я дойду, а вот порог переступлю ли?

Переступила. И страшновато — а ничего. Терпимо. Ночью хорошо спала. А проснулась — и вовсе расходилась. Передники, полотенца кухонные в тазу простирала, в избе все перемыла. И вот под вечер сижу под окошком, на волю смотрю. Да и думаю: то ли спать уже ложиться, то ли погодить? Сироток покойных что-то вспомнила — спокойней мне все же было, когда они в другой половине избы жили, две чудненькие-то. Хорошо так вспомнила их! А Анна с Кузмичом теперь что? Как сироткину половину им исполком отписал, так они наособицу жить и стали, не больно к ним с чем придешь. Уже — чужие люди почти

что... И хорошие — а чужие. Пригорюнилась маленько. Шторку на окне отодвинула пошире — быстро, прямо на глазах, небо темнеет. А там и взлетело чего-то — круги по небу пошли, засветились, да и погасли. По земле и вовсе темнота разошлась.

Тут ветерок за окошком спадать стал. И куст черемуховый под окошком замер. Не колыхнется во тьме-то. Да смотрю я на куст — нехорошо он замер. Будто в тревоге какой. И только я это заприметила, как спиной и почуяла: здесь он уже. Похолодела спина. И голова моя закружилась. Оборачиваюсь — стоит. Страшней мертвеца. И темный, грязноватый какой-то свет от него идет. И напротив меня к столу садится, посмеивается.

— Да не боюсь я тебя...— говорю, а у самой от страха едва язык ворочается.

— А чего,— посмеивается,— меня бояться? Нечего и бояться...

И на глазах прямо меняться стал. И сидит уже — вроде человек как человек, вроде начальничка маленького, только улыбочка у него та же — мертвая, костяная. А там смотрю — в форме полувоенной, в галифе да в кителе, и усы густые большим пальцем подтыкает да подправляет. И смеется. И только минуточку таким пробыл — а там уж и опять мертвец-мертвецом. И свет этот темный вокруг него погустел. Тут страх-то во мне какой-то такой железный стал, ненормальный какой-то прямо страх, подобралась я вся и не слышу сама, как кричу:

— Хватит уж вам с ним враждовать! Что вы с ним не поделили?! Из-за вашей тяжбы который век весь род человеческий с ума сходит!

А он мертвенно так улыбается и поплешивел весь, туловище маленькое сделалось совсем, только голова большая — и все больше вытягивается. И совсем в потертом костюмишке уже сидит:

— А вот ты нас и примири.

И смеется тихонько, как в тот раз. Да вдруг потучнел сразу, солидный вроде такой сделался, черноволосый, и голову едва поворачивает. А там — и опять мертвец, немочь бледная, мощи и мощи, только глаза горят. А я и сама не знаю, чего ему кричу, помимо моей воли все выходит:

— Хватит! — кричу.— Сдался бы ты ему! Милосерден он! Может, и простил бы тебя! Хватит вам!

— Да я ведь...— тихо так говорит.— Я ведь... это не я. А — вы. Каждый в отдельности. Я — это вы сами и

есть. Меня ведь и уничтожить очень просто можно. А только одним путем: себя вам для этого уничтожить придется. Чтобы меня-то одолеть. Потому что — в вас я.

Да так опять из облика в облик меняться затеял. Аж прямо вот в глазах рябит, и не уследишь за ним.

— А врешь,— говорю,— свиное твое рыло! Ты свое рыло свиное все равно не скроешь! Врешь! Тебя-то в нас — часть. А другая часть — не твоя! Нет, свиное рыло, не твоя!..

— Ничтожна она, та-то часть,— скучно так говорит, не обижается, только рот рукой прикрывает.— Пустяковая совсем,— рассуждает,— вы и сами про нее давно забыли, какая она есть в вас! — да вдруг прямо во весь рот по-собачьи зевнул, и глотка — как огонь, как преисподняя прямо.— Мое в вас почти все. Давно мое,— говорит, смеется.

И стала я в облик-то его мертвый вглядываться — гляжу-гляжу в улыбочку-то его костяную... Потому что как ни менялся он, а все время одно и то же смутно так в переменах этих мне являлось; будто знакомое что являлось, в лицах-то во всех его. А тут прямо и вовсе хорошо знакомое высматривать я стала, и знакомое это проглянет — расплывется, проглянет — отойдет.

— ... Погоди, погоди,— тихонько я говорю.— А ведь... узнала я тебя.

И уже от чего страшно мне — так это от спокойствия моего, от себя самой мне страшно:

— Узнала я, кто ты есть. Узнала.

Как тут он на меня глазами-то провальными полыхнул! И темень вокруг него ходуном заходила. Да черные искры такие, коричневатым отдают, и прямо, как окалина, от него сыплются... А я, как только свою силу почуяла — так будто кто в меня ее и вложил! — как почуяла ее, да без страха всякого и накинулась:

— Не пугай, нежить! Не пугай! Знаю теперь, в чьем обличье землю топчешь! А теперь, коли знаю, не мне тебя бояться. Теперь уж ты меня бойся!.. То-то всю жизнь ты меня в том-то обличье своем сопровождал — конвоировал. Всюду я на тебя наталкивалась! Да только не знала, кто ты есть, погибель ты рода человеческого... Вот ты теперь у меня где, конвоир чертов, вот! — кулак-то сжала, да прямо к роже его костяной: — Вот ты где у меня!

И трясет меня всю,— не от страха, нет, а оттого, что всё теперь могу.

— Попляшешь ты у меня. Это пока ты не разобла-

ченный — страшный! А вот как я тебя перед всем миром на чистую воду выведу!

— А коли ошибешься? — говорит.— Подумала, что с тобой будет? Это ведь еще доказать надо. Что в том самом облике я по земле хожу, в котором ты думаешь.

А голос-то у него — слышу — тусклый уже. И не посмеивается, а щерится только.

— А не докажешь,— говорит,— смотри же! Сама знаешь, что тогда будет!

И тут такой ветер ледяной засвистал! Гляжу я вверх — никакой крыши нет, а только бездны вокруг черные. Боже ты мой! Мертво! Мертво все. Ни комнаты, ни стен. А только ветер ледяной, черный, да пепел, на тыщи верст — пепел вокруг шелестит, шевелится, посвистывает. И голос-то его так и стоит, будто в воздухе застыл голос-то, и будто вечно ему стыть над пепелищем этим:

— Сама знаешь, ч т о будет!..

И опять — комната как комната, и опять он напротив меня сидит щерится. А только уже весь зыблется, расплывается вроде, и рада я тому.

— Слабнешь! — кричу.— Слабнешь, нечистая сила! Так вот и знай теперь, что вовсе я тебя изведу, никуда ты теперь от меня не денешься.

— А вот это,— говорит,— неизвестно еще, как у тебя получится. Ты-то ведь только себя о д н у от меня спасти хочешь. А одна ты — уж не сильнее меня. Нет!

И пальцем мне грозит,— а все равно вижу: боится он меня! И смеется, и страшный,— а побаивается чего-то! И растекается, растекается по комнатенке, будто рябью его подернуло и колышет, и только вроде дымом каким-то ядовитым все сильней да сильней воняет. Зажала я рот обеими руками, закашлялась — а уж и нет никого. Я — окно настежь, дверь распахнула, сама на крыльцо выскочила, не прокашляюсь. Ну и за перегородкой Анна с Кузьмичом из сеней своих кричат:

— Кать! Что там у тебя стряслось?

Я свет в сенях скорей включила, стою на крыльце — Анна с Кузьмичом бегут.

— Пожар — не пожар у тебя? — говорят.— Вздохнуть невозможно,— дым, что ли?

А сами во все глаза мне под ноги глядят. А по полу из сеней будто газ какой мерзкий желто-бурый так волнами и валит, так понизу и идет.

— Ой, да это у меня с трубой чего-то. Кирпич, поди, упал,— говорю.— А может, и дыма никакого нету, а кажется нам все. На полигоне взрывают, а нам и чудится.

— И то правда,— Анна говорит.— Конец свету, наверно, скоро. В такое время живем, что и не поймешь, чего с человеком творится. Сны-то какие снятся!..

А Кузьмич ей и договорить не дал:

— Ладно! Нет ничего — значит, нет ничего. Что тогда и стоять-рассуждать...

И многое же я после этого по-другому поняла. В двух словах — нет, не расскажешь. А с самого начала если, то вот как оно было.

По детдомам мы с Олей, сестрой моей, в голодный год растерялись. Сроду у нас в Поволжье голодовки одна за другой были. Мне двенадцать годков исполнилось тогда. А Оля и до четырех не доросла еще... Кто в Чувашию на то время уезжали — те выживали...

Наших там на постой впускали. Вот они шорничали, сапожничали да бондарили. А многие на крахмальный завод устраивались, или в сезонники шли — смолу сосновую в борах собирали.

Да, кто уезжал — выживали. Не все уехать могли. А только у кого лошадь была. Или деньги. Чтобы лошаденку да подводу купить...

Хорошая в Чувашии картошка в тот год уродилась. Глаза, помню, закрою, да с чужих слов и вижу: клубни прямо длинные, розовые, как поросята, по всей пашне лежат...

Народ, который в Покровке остался, так толковал: не двадцать первый год, проживем как-нибудь. Только к весне уже в могилу большую открытую мертвых без гробов складывали и землей поверх прибрасывали. И я большая девочка была, перемогалась, а Оля наша каждую минуту постанывала — всё-то она тюри просит. И мамоньке уже слышать ее невмочь, из избы она нас гонит:

— Идите куда-нибудь с Олей на улицу, а то я от вас с ума сойду,— так все бывало крикнет.

И жил у нас в соседях старичок ложечник. Ложки деревянные липовые вырезал-расписывал. А на что они, ложки, в голодовку-то? Так они у него горкой под навесом у сарая и лежали. Вот Оля ими все и играла, до самого белого дерева обсасывала, да старичка просила:

— Сделай,— говорит,— мне блюдечко еще, и в него налей мне молока, дедуля. И хлеба покроши. Что ты мне блюдечко не сделаешь?

И за рубаху его дергает. А у старичка этого всегда полно кошек было — по завалинкам, помню, на солнышке

лежат. А тут уж и кошки ни одной нет, и родные из Александровки не едут, ему и поговорить не с кем. И он рад был нам с Олей.

— Вот погоди,— Оле говорит.— Я вам с Катей сначала лапоточки сплету, лыка у меня немножко припасенного осталось, а как сплету — так и блюдечко тебе сделаю.

И сидит он у сарая на чурбачке, лапоточки плетет, да нам про Крошечку-Хаврошечку сказку сказывает.

— Вот если,— говорит,— в коровье ушко влезть, да из него выйти — тут совсем другой коленкор, и жизнь совсем другая, и все, чего захочешь, сбывается. Только бы в ушко пройти — да выйти. Вот вам, девочки-припевочки, и весь секрет как на духу.

Мы слушаем: лапоточков своих ждем.

А когда лапоточки-то сплелись, и обули мы их, я Олю во двор свой завела, затолкала, да скорее, в новых-то лапоточках, убежала от нее. Так она мне надоела тогда! Я-то сама, глядишь, одна-то и забудусь, а она мне — про хлеб да про тюрю хнычет и совсем меня измучила... Бегу — ни у кого таких лапоточков нет, а у меня — есть. Скорее мне их кому-нибудь показать хочется. Бегу я без Оли, как на крыльях, к подружке своей, к Танюшке,— с ней мы всё играли, и думаю: вот давно ее нигде не видать. А у них двор чистый, песком всегда дорожка присыпана, иду по песку — а песок под лапоточками, как снег, поскрипывает, и нравится мне, как он скрипит, песочек-то. Захожу в избу — все двери настежь открыты, все окна — настежь, ветерок по избе. А дома нет никого. Я уж было назад пошла, да вернулась, в горницу заглянула. А Танюшка-то на столе лежит, и руки на груди сложены. Насквозь она светится, все косточки видать. Мертвая Танюшка... Мать-то, видно, вышла куда-то... И так в избе тихо. Только занавески под ветром ходят-колышутся. Вот, первого покойника я так увидала... А потом — уж много умирали. И до отца черед дошел, и до мамоньки.

Отец перед смертью всё молчком сидел — не ложился ни днем, ни ночью. Как только ему лечь — так он задыхаться, хрипеть. Сидит, помню, молчит, и ноги как бревна раздулись, одеялом закутанные — одеяло то и дело с ног сползало, поправлять надо было... А мамонька, как отца похоронили, заговариваться перед смертью стала. Говорит-говорит без всякого умолку, вроде торопится куда, и скорей надо ей успеть все сказать. И, помню, так говорила:

— Вы вот чего, доченьки, запомните. Чего плохое если где творится — мы все скорей царя винить-ругать, царь

нам плохой (царями — всех кряду она называла, и никакой разницы и в хорошем-то уме не понимала; и Сталин у нее — царь, и Ленин у нее — царь). А вот не царь виноват, а мы сами, люди, виноваты. Да разве же Ленин-царь велел Дарье Сазоновой с Василием Журавлевым у нас последнее просо посевное в двадцать первом году отнять? Да в сельсовете сварить? Закрыться — и вдвоем съесть что ли велел? Мы с голода пухли, а это просо к весне берегли... Приходит ваш отец: «Мать! Ты что плачешь?» — «Просо отняли». Он изругался матерно — и в сельсовет. Дарья с Василием окошки газетой залепили, а кое-где видно. Глядит Изот — наше просо варят, едят... Вот разве это им царь наказал: отберите у Анохиных и съешьте? А вот не царь, а сами мы, люди, плохо делаем, а царем прикрываемся. Сами никудышные, виноватых любим скорей искать. Он разве, царь-то, оттудова, из Кремля, видит, чего Дарья-то с Василием творят? А они себе власть забрали, ну и творили, чего хотели...

А перед смертью самой нас она уже не видала. А только с отцом разговаривала. И время путала. Казалось ей, что хлеб ходят отбирают. Громко, быстро говорит. Отца-то еще осенью в общей могиле схоронили, а она к нему — как к живому. И — то сердится, а то жаловаться ему станет. И все одно и то же ей мерещилось.

— Ой, Изот, да как же это они тебе просо-то назад отдали? Ты поставь, поставь, чугунок-то на стол, горячий он какой, руки-то поди сжег, пока нес. Вон пар-то как тебе в лицо. Ставь скорей! — говорит.— А я так проса вареного хотела! А теперь — уж нет, не хочу.

А то — ругать его начнет:

— Ты где с просом-то ходил? Что ты так долго его нес? Девчонки ведь есть-то как хотят, помирают. А я — нет, не хочу. Не уговаривай, Изот, не буду.

И все будто отца-то отталкивает и сердится:

— Уйди, не хочу я.

А потом и успокоилась. Сидит на постели, чистую рубаху попросила:

— Помоги мне, Катя, ее одеть... Воды бы мне еще стакан, да студеной бы.

Я в сени побежала, ковшом зачерпывать не стала, а — как она просила, стаканом зачерпнула. Пьет она, да и говорит:

— Ох, Катя, какой стакан-то д о л г и й. Пью, пью — и конца ему нету. Устала пить.

А сама только половинку и отпила. Утерлась:

— А Оля-то у нас где? Что же она на ночь, на зорьку-то, уснула?

И еще чего-то говорит, только медленно,— старается-старается, и я изо всех сил слушаю, а не пойму.

— Мамонька! Ничего я у тебя не пойму!..— плачу.

А у нее уже язык отнимался. И только три разочка она руки свои с колен — вроде поднять, поднять хочет, благословить или что? А руки-то тяжелые, падают.

Вот так мы с Олей по детдомам и растерялись.

Да тут еще про одного человека сказать надо. Про Тарутина Аркадия Ильича. Если бы не он, то, может, и на свете бы мне не жить. Да это все с чужих слов да с мамонькиных я знаю, хотя дом-то Тарутинский, конечно, помню. Не сказать, чтобы дворец, но длинный, правда,— окон на восемь. А так — изба и изба. Разве что большая. Они у нас помещики раньше считались, прислуга у них, говорят, кой-какая была. Только Аркадий Ильич врачебное образованье имел и людей бесплатно лечил. В революцию многие с мест поснимались,— кто за границу, кто куда. Сгинули многие. А наши Тарутины — остались и ни в какие города не подались. Наверно, думали, никто их не тронет,— они у нас в большом почете жили. Ну и дом-то у них был, не то что, скажем, у Дробкова-купца или у Наумова, хотя Наумовы и числились крестьяне зажиточные, а не помещики. И вот как мне в девчонках эту историю мамонька сказывала, да и люди потихоньку часто промеж собой про то вспоминали.

Приехал вроде бы тайком к Тарутину какой-то большой ученый из Петрограда, товарищ, в университете вроде бы вместе учились. И товарищ этот от властей Тарутиных скрывался, потому что с эсерами-мятежниками будто бы знался там, в Петрограде-то. Но недолго прятался. Забрали и его, и Тарутина Аркадия Ильича. А Тарутин-то — нет бы, да властям в ноги бы: виноват, помилуйте Христа ради, нет. А на допросах все наоборот твердит: какой ум у этого товарища его светлый и для России нужный. Да еще одно у Тарутина в голове было, и часто он это всем говорил: «Вот не надо из людей врагов делать, потому что тогда врагам счета не будет, а надо делать из них сторонников своих, и если только дело твое правое — то всех врагов в свою веру обратить можно». Я ведь и потом от него вот такое что-то и слыхала. Такую, значит, вредную философию имел, и на ней стоял, как последний несознательный человек.

Еще комиссия по следствию не уехала, а их уже в балку Гусевскую повели. Эсера этого, значит, петроград-

ского, или кто он там, первого расстреляли. Ничего этот самый эсер не говорил, покорный человек был. Вот за Аркадием Ильичом очередь. А народ покровский весь сильно за Аркадия Ильича переживал, но, конечно, заступаться боялись, и только расстраивались все, зачем такой хороший человек с философией вредной на свою беду связался. А петроградского-то этого товарища сильно ругали вроде бы — прямо на чем свет стоит. Потому что из-за него Аркадия Ильича расстреливают, и людей теперь лечить совсем некому.

Ну, отвели Аркадия Ильича к тому же самому месту, где вода талая глубокую вымоину по дну балки пробила, и где в вымоине товарищ-то его уже мертвый лежал. Аркадий Ильич, понятное дело, белый как стенка, а насчет того, что прятал,— не раскаивается, но со всеми уже простился, всем на три стороны поклонился. А тут народ весь, какой в селе остался, бежит, и все криком кричат:

— Не стреляйте! Марья Анохина помирает! Не разродится!

Чего делать? Отпустили Тарутина временно роды принять. И под конвоем. Вот так я, под конвоем-то, и родилась. А тут у мамоньки горячка послеродовая, опять без доктора — никуда. И мать-то мою он еще не выходил, как из лесу коммуниста городского молоденького, вроде — инспектора, чуть живого привезли, из обреза простреленного. Снова — за Аркадием Ильичом. И так он, к смерти приговоренный, и спасал — то одного, то другого. Да и народ-то хитрить стал — чуть один вроде выздоравливать, как к другому человеку сразу зовут: а как докажешь, правда ли он сильно захворал, или в другое время перемогся бы, а тут, ради Аркадия Ильича, скорей за ним и посылают. Один Аркадий Ильич, поди, про то знал, кто правда хворал, кто понарошку. Всем миром, считай, его прикрывали. А потом и помилование какое-то ему оформили.

И, видно, судьба сама ему навстречу шла. Потому что ведь — случись, умер бы тот коммунист? Ну и Тарутину бы сразу крышка.

И вот я уже большенькая была, а Тарутин на меня все смотреть не мог: «Вовремя же ты на свет подоспела»,— говорит, а глазами часто моргает, не проморгается никак вроде. До сих пор помню я это.

И было у Тарутиных два мальчика — Павел, лет на пять постарше меня, и Леня — этот на два года постарше. И с Леней мы вроде дружили, маленькие-то когда были. А Павла лет с семи-восьми я уже далеко стороной обхо-

дить начала — так он мне нравился, что и на глаза ему попадаться боялась, и стыдилась сильно, как бы кто не заметил, что такой взрослый мальчик мне нравится. И вот ведь оба чернявые, курносые,— что у того, что у другого по вихру справа, похожи друг на друга, а Леня всегда навроде подружки, значит, для меня был. Не то что Павел. При Павле-то и придумать не могла, куда руки девать, куда глаза прятать... И я потом часто думала: как же они, Тарутины, выжили в то время — даже непонятно: жалостливые. Вот вроде и по характеру — твердые и умные, а — жалостливые. Тогда через жалостливость свою многие на тот свет отправлялись. Тогда непримиримость нужна была. Чтобы уцелеть-то. Уж только делай скорей, как говорят, и как от тебя требуют. А рассуждать — ох, нельзя было... Такие своей смертью не умирали.

И вот этот Леня Тарутин все в мальчишках на конюшню колхозную бегал, а раза два и меня, пигалицу, с собой брал. Я тогда и не училась еще, а хорошо это запомнила! Рукавицы у него отцовские в карманы засунуты, в брючки,— конюху вроде помогал. А не любил он конюха, нет. Да и мало кто его, Прохора-то, любил,— боялись больше. Здоровенный мужик был, Прохор-конюх, оратор, матершинник, на собраниях выступать любил. Громко всегда кричал — на улице, бывало, слышно. Косматый, а бороду — брил. Как пятка — голый подбородок-то, чудно это тогда казалось.

А там, на конюшне колхозной, стояла шестерка лошадей наумовских, породистых. И в эту шестерку Наумов-то разве только самого себя не вложил: так лошадей любил — пуще всего любил... Как в кулаки попал, всю их семью, осенью уже поздней, на подводы погрузили и — в двадцать четыре часа вывезли: что на себя одеть можно было, то им и оставили. И вот сбежались все: Наумов пьяный в стельку на подводе лежит, а тетя Дуня Наумова сбоку сидит, четверо детей с нею маленьких, жмутся рядышком. А Аннушка Наумова — особняком, с другого бока, узелок к груди прижала. Самая взрослая из детей была, красавица писаная, а — бледненькая, слабенькая. И коса белая из-под шали — до колен. Дождичек теплый, помню, сеет — октябрь, по утрам иней, снегом пахнет, а тут вдруг такой день выдался, что дождичек теплый пошел. Так под дождичком и поехали... Где-то в киргизах, потом уже говорили, Аннушка у них от туберкулеза первая умерла, и года там не прожила. А Наумов сам, сказывали, так и пил без просыпу. Крепкий все же хозяин был, а без

дела да без хозяйства запился до белой горячки и там, в киргизах, повесился. Дуня-то Наумова из всех своих детей только двоих сберегла. Всех в киргизской земле зарыла, глаза-то свои и проплакала, ослепла. Такой разговор по избам был, помню.

Никогда я больше таких лошадей в жизни не видала, как наумовская шестерка эта. Все село смотреть выходило — летят и земли не заденут. И смотреть — сердце от красоты заходится. Вот маленькие мы были, чего понимали? А поди же, переживание какое было, от красоты-то... Ну, Прохор и давал им жару потом, лошадям-то наумовским на конюшне на колхозной. Всем корм разложит,— а этим и воды не принесет. И как же нравилось ему этих лошадей наумовских бить! Да что б — на людях. Вот будто хмельной делался. Стоим мы с Леней Тарутиным, а он лошадь наумовскую кованым сапогом — в пах, в пах: «А, сволочь кулацкая!..» Орет, смеется и аж бледный сам как с перепою. Лошадь уже и на дыбы не встает, только дрожит вся. Шкура ходуном ходит, а сама — стоит.

Уйдет Прохор с мужиками махорку курить, а Леня Тарутин скорей рукавицы наденет, крапиву рвет, рвет молчком, торопится. А сколько уж там нарвет он, тайком-то!.. И вот помню, сует он крапиву-то лошади этой избитой, а она — хоть бы шелохнулась. Голова опущенная, грива свалялась, а по морде — диво дивное — слеза бежит. Видали вы когда-нибудь, чтобы лошади плакали? А я вот видала...

Ну и — в который-то раз! — слышим, Прохор в конюшню в неурочный час вошел. Да тихонько!.. То мы его сапожищи с середины двора узнавали, а тут — тихонько. Леня-то и поджался. И с перепуга, как наумовскую лошадь гладил, так по гриве и гладит, только руку с крапивой опустил. Прохор Леню — за ухо, на двор вытащил — ухо крутит: «Что, недобиток, кобыл кулацких жалеть приходишь? А ты не жалей! Тракторы, сволота недорезанная, им на смену идут! А я вот учительнице на тебя сигнализирую!»

А рядом всё мальчонка из Александровки — в семи километрах деревушка была, и пешком из той деревни в нашу школу все александровские ходили,— всё мальчонка этот, Степушка Одинец, крутится. Мы еще крапиву дергали — он крутился, смотрел. Мы в конюшню — он в конюшню. А тут — пропал. Да только вместе с Прохором, за его спиной, и зашел: за спиной прячется,— а посмотреть ему сильно охота, что теперь будет.

И я ревмя реву, отбежала к забору и потише стараюсь,— боюсь громко-то реветь, а Степушка в сторонке стоит, к заборчику жмется, прутиком помахивает.

Прохор теперь ручищами своими ухо накрутил — глядит на Леню: не плачет Леня. А ухо раздулось — как помидор круглое. Засмеялся Прохор, мало ему показалось. «Нет,— говорит,— пожалею я тебя и сигнализировать не стану. С вас, с Тарутиных, какой спрос! Вы — ум-ны-е! А по нынешним временам все равно, что дураки последние, и никакого спросу особого с вас нету. А вот политическую сознательность вколотить через одно место мне тебе, сукиному сыну, самолично придется». Штаны при нас с Лени спустил, и Лениной же крапивой уж хлестал его — хлестал!.. И опять — как пьяный сделался. Аж смеется, как хорошо ему от этого. А Степушка-то все стоял, да издали посматривал,— светленький такой мальчик, конопатенький маленько...

И вот Лёня-то — не заплакал и никому не нажаловался, ну и я — ни одному человеку со страха про то не сказала. А только история эта года через три, когда и я в школу ходила, выплыла все же. Они тогда пионеры были, Леня Тарутин да Степушка Одинец. И вот раз после уроков собралось собрание в школе пионерское. Уборщица нас совсем выгнала,— да мы опять, малышня, потихоньку вернулись и в дверях пристроились; поглядеть нам охота. А там у них, у пионеров, председателя выбирают. Ну и все в один голос, ребятня-то: «Тарутина!» — кричат. Это Леню, значит. Он лучше всех учился и лучше всех вроде понимал, где хорошее, где плохое. И спокойный был, не гордый... А директорша школьная тут из-за стола встает — вижу, не нравится ей это дело. Всегда в юбке, в кофте вязаной ходила, и волосы в пучок аккуратно подбирала. Грудастая, высокая, помню. И рот у нее плотно не закрывался, когда молчит: наморщит она его, губы бантиком, а между губами посередке всегда маленькая дырка оставалась, и все ей туда смотрели. Встает, лампу керосиновую незажженную — день! — отодвигает и говорит: «Нет, ребята, насчет Тарутина давайте подумаем вместе. Есть у Тарутина, товарищи, темное пятно». Тут все примолкли. И поняли, что сплоховали: все же помещицкий он сын считался, и хорошо еще, что в пионеры-то его приняли, ну а председателем — это уж и совсем ни в какие ворота. А кто кричал не подумавши: «Тарутина, Тарутина!» — те и вовсе головы склонили, в парты глядят: соображают, чего им теперь за это будет. А директорша — и не про то совсем. Про другое начала. «Хороший ученик Тарутин, спору нет,— говорит. Губы наморщила, помолчала.— А какая у него, товарищи, сознательность?.. А классовое чутье его где

было, когда он, товарищи, кулацких лошадей подкармливал?» Тут на всех она строго глянула, и губы опять поджала. Ну откуда только узнала, и вспомнила же! Дальше говорит. «Спору нет,— говорит.— Беречь каждую колхозную лошадь — значит, беречь общее наше колхозное, ребята, добро! Но одно меня, как сельского народного педагога, настораживает, и я с вами сейчас, как с равными, этими сомнениями своими делюсь: почему Тарутин подкармливал и жалел не крестьянскую беспородную лошаденку, замученную произволом, а именно кулацкую, породистую?» Тут Леня, смотрю, покраснел. «... А я, товарищи юные пионеры, предлагаю избрать Степу Одинца. Он из бедноты произошел, и я уверена: у него чутье — никогда не подкачает! Он верно ориентируется во многих, ребята, вопросах жизни, и, несмотря на возраст, всегда быстро понимает, чего требует от нас текущий момент. А с учебой он, уверена, подтянется. И будет учиться еще лучше».

Ну и все, как один, за Степушку руки и подняли. Переглядываются, не хотят, знают, что ябедник, а поднимают. Да те, которые — «Тарутина!» — кричали, быстрее других руки-то потянули! Скорей-скорей — за Степушку Одинца.

И вот ведь потом Степушку да Леню совсем было судьба по разным местам раскидала. Тарутины в большой город далекий перед самой голодовкой уехали, да и Степушка в Покровском районе не остался. Так нет же, все равно она их, судьба, свела. И где — на войне! Вот как бывает.

А с директоршей этой и я в свое время натерпелась из-за памяти своей. Дома про мою память-то знали — мамонька аж крестилась: «Ой, не к добру память такая, где чего ни услышит — а через год спроси, и слово в слово перескажет. Ну богово ли это — чтобы девка да так помнила? Как бы не к ранней это смерти». Плакала: «Да как же, Катя, ты жить будешь, головушка твоя разве так долго протерпит, всё в ней если держать»? А в школе, как грамоте мы выучились и писать стали, директорша эта сама лично на уроках сидела, парту мою проверяла и следила: списываю — или нет. Невероятно, ей казалось, что всё до точки — до запятой, как в учебнике, у меня выходит. Глаз с меня не спускала. А я чуть не плачу — так мне перед всеми стыдно, вот будто про меня думают, что краду я — а я и не брала ничего. Так она меня и не любила за то, что разоблачить ей во что бы то ни стало меня хотелось, да я ей вроде не давалась.

...Потом уже наших детдомовских после семилетки в

ФЗО отправляли. А мне за эту способность исключение сделали, на полное среднее образование оставили. Вот в классах старших дадут мне на спор любую страницу прочитать. Потом отнимут — и пальцами водят, следят. А я, понимаю-не понимаю,— всё равно перескажу и не запнусь ни разочка. Многие моей памяти дивились. Я только не понимала: зачем же способность эта особенная мне такая далась и для чего? Ведь если что человеку дается — не просто же так оно дается? А для чего-то!

Теперь только вроде и поняла, для чего...

Вечерами участковый Булалаев думал о том, что такое порядок и как помогать соблюдению его по долгу службы на собственном участке и во всем людском мире.

Четыре года назад, на второй весне обучения по специальности, ему казалось, что порядок на свете совершенно возможен, как возможен он в его молодой ярко цветущей курсантской жизни. Про ярко цветущую и молодую жизнь писала ему в поздравительных открытках мать, и у Булалаева не было особых причин не доверять ей на этот счет. Присланные открытки изображали тугие бутоны и гроздья соцветий и не вносили никакого несоответствия или разнобоя в мироощущение Булалаева, а напротив, как бы выражали его во всей полноте и яркости.

В начале той весны, когда ломким ледком покрылся сплошь грязноватый городской снег, и когда небо вдруг очистилось от облачных завалов, когда по ночам мелкие и еще по-зимнему холодные звезды высоко и колюче сияли в чистой высокой черноте, и когда каждый вечер, в одно и то же время, а именно в 9 часов 45 минут, небо начинало светлеть с краю, потом оказывалось наполовину белым, а наполовину — черным, и когда оранжевые и желтые концентрические светящиеся круги беспрепятственно расходились по всему небосводу так, будто кто-то с земли, расшалившись, забросил плоский камушек в неподвижную гладь небосвода, тогда, 1 марта в 9 часов 45 минут, в комнату их милицейского общежития вошла девушка Тата с широкой талией и с темными неровными пятнами по всему скуластому удивленному лицу. Она поставила чемоданчик-балетку на пол перед ногами и стала смотреть на Юру, своего брата, лежащего на железной койке под картинкой. На картинке мужчина в шляпе с перьями поднимал длинную, как самоварная труба, рюмку с наполовину выпитым красным вином. Мужчина с рюмкой и женщина, которую он придерживал свободной от спир-

того рукой за поясницу и которая сидела у него на коленях, и даже неощипанная одноглазая птица с красным клювом, угнездившаяся посреди подноса на их столе, смотрели втроем на стоящую у порога девушку Тату, Тата смотрела на Юрия, а Юрий оцепенело смотрел на широкую талию сестры. И по тому, что Юрий не поднимал полуопущенных век, казалось, что он подремывает, напряженно сдвинув надбровные шишки. Девушка Тата смотрела на Юру и плакала, отодвигая балетку ногою все ближе и ближе к стене...

Сестру Юры, Тату-музыкантшу, просватали на праздник урожая за лейтенанта из воинской рижской части, присланной на уборку хлебов в их деревенские края. А когда хлеба были убраны, лейтенант уехал в Прибалтику. Просватанная Тата-музыкантша написала любовное письмо лейтенанту, но письмо вернулось назад, а на ее собственном конверте было написано чужим легкомысленным почерком, что такой воинской части в Риге нет. Тогда Тата бросила свою дирижерскую и хоровую работу в деревне и поехала в Ригу на розыски. И написала оттуда Юре и родителям, что получилось сначала недоразумение, что теперь это недоразумение прекратилось.

— Что это с небом? — спросила Тата, всхлипывая.

Но Юра молчал, не поднимая век, а курсант Булалаев ответил Тате:

— Это испытания.

— ... Кого испытывают? — равнодушно спросила Тата и немного посмеялась сквозь слезы. А будущий участковый задумался: действительно — кого?

Тата утиралась привычным машинальным старушечьим жестом,— все запястьем, запястьем,— смотрела мимо светящегося кругами окна и говорила Юре:

— Я испугалась, круги какие-то. В глазах, что ли, плывет, думаю. Испугалась прямо.

— Садись,— сказал Юра с кровати.— Он тебя бросил? Не ври больше, Татка. Бросил или нет? А?

— Женатый он,— сказала Тата от порога и облегченно вздохнула,— он ее не бросил.

— А зачем там жила, если женатый?

Тата ничего не ответила,— пошла к стулу и села, смахнув со стола рассыпанную табачную крошку и рассеянно понюхав ладошку.

— Я там кружок вела. Теперь уволилась. В общежитии жила. Он приходил. Не ругай его, Юра, он просто слабый человек.

— Домой поедешь?

— ...У тебя сначала поживу. Не поеду. Никуда. Напиши маме, что я жива. У меня не выходит. Начинала писать — не выходит.

Будущий участковый Булалаев пошел к вахтерше уговаривать ее нарушить порядок и оставить сестру с братом в одной комнате на ночлег. А потом, вместо того, чтобы спать, маялся и размышлял, устроившись на полу, на тонком одеяле в соседней комнате. Он думал, что вокруг этой Таты слишком много получается всякого беспорядка на каждом шагу, и конца этому в ее жизни не видно. Он размышлял долго, часа три кряду, про то, как теперь быть музыкантше. А когда закончил думать, то выбрался из-под курсантской шинели и пошел в свою комнату, чтобы позвать Тату замуж за себя. Дверь стояла незапертой, света там не было. Булалаев постоял, посмотрел, как спят Юра и Тата; Юра — на его, Булалаевской кровати, а Тата — на Юриной, под картинкой, освещенной из коридора узкой желтоватой полоской,— мужчина и женщина словно услышали его шаги и обернулись, и теперь не сводили припухших глаз с Булалаева. Только птицы, сидящей на столе, не было видно издали.

Следующим вечером Тата и Юра где-то долго ходили, а когда вернулись, то оказалось, что Тате от усталости тоже хотелось порядка в своей жизни, только она посомневалась, исполнилось ли Булалаеву восемнадцать. Молодую пару быстро расписали, учитывая положение невесты, и в общежитии отвели отдельную угловую комнату для семьи. Булалаев был счастлив, как может быть счастлив человек, ощущающий себя разумным и очень сознательным. По вечерам к ним заходил Юрий и говорил при Тате:

— Зря женился. Дурак.

Булалаев ему не верил.

— Она выше тебя. И старше,— добавлял Юра и уходил, будто боялся, что скажет еще чего-нибудь про булалаевскую глупость.

— Юр! Мы ребенка Федей назовем! — говорил ему вслед Булалаев.

Тату увезли в больницу раньше времени, вернулась она оттуда одна и рассказывать о ребенке ничего не захотела. Только похварывала еще долго. Булалаев ухаживал за ней и радовался, что она его не бросает. Но Тате было скучно смотреть все время, как Булалаев занимается с книгами и тетрадями, а если говорит, то только про то, что вот скоро они вдвоем поедут сначала к его родителям, а потом — к ее и Юриной матери.

Приближались экзамены и лето. Ночами сквозь сон будущий участковый чувствовал на себе прикосновение ее губ и рук. Он просыпался и просил ее:

— Тата, я нервный, я щекотки ужасно боюсь. Не надо, а то я со сна как бы не ударил тебя нечаянно, слышишь? Я во сне ничего не соображаю... Спи!, Тат!

Иногда Тата плакала рядом, на своей придвинутой вплотную железной койке. И Булалаев, стараясь не заснуть из последних сил, гладил ее макушку с жесткими, коротко стриженными по рижской моде волосами, и вытирал ее слезы пальцем, на ощупь, но все же непростительно и крепко засыпал, пока его снова не дергало, будто от тока, от щекотливых прикосновений. Вскоре Тата передвинула свою койку к стенке и стала называть Булалаева Балалайкой. А по имени больше уже не звала, и танцевала по вечерам. Она танцевала в одних колготках, смеялась и говорила: «Тошно как, Балалаечка...»

Булалаев, чувствуя мгновенно выступавшую испарину на лбу, пугливо запирал дверь на ключ. А Тата лениво смеялась, одеваясь.

Когда Тата уехала навсегда, пришел Юра и опять сказал:

— Дурак, что женился.

И тогда Булалаев возразил ему:

— Не дурак!

— Не дурак...— повторил будущий участковый, глядя на расходящиеся по темному небу концентрические круги.— Она мучилась там, в роддоме, с законным ребенком. Ей теперь не надо скрывать про ребенка ни от кого. Когда женщина замужем, в ее молодой жизни все равно будет больше порядка, даже если она ушла от мужа. Она считается замужем, я ее люблю. Может, вернется когда-нибудь. Только не скоро, наверно. Под старость вернется. Обязательно, Юр. Я подожду пока до тех пор.

Потом уже Булалаеву больше не казалось, что наводить порядок легко. Он сразу начал много и с надеждой думать о старости, но ему все равно верилось, что в оставшиеся до Таткиного возвращения десятилетия он разберется во многом и все же создаст его на свете хотя бы отчасти. Тем более что вахтерша, жалевшая Булалаева незаметно и знавшая всю их историю с Татой, прощаясь с ним, сказала:

— ... А чего доброе сделал — никогда не жалей. Не кайся. Потому что — закон есть.

Она говорила и обмахивалась от жары мужским носовым платком.

— Какая статья? — приостановился Булалаев.

— А такая! Такая, что за страдание — понимапье человеку большое дается. Вот тебе еще чего-нибудь одному откроется... Иди!.. Иди.

Платок она свернула и сунула комом в рукав. И стала листать амбарную книгу в сером дерматиновом переплете, вычеркивая фамилии выбывших курсантов. А потом прикрикнула:

— Иди-иди! У тебя жизнь впереди, оглядываться-то на меня чего? Прощай, не стой.

Он попал по назначению в местность, располагавшуюся через речку от города, в котором учился. В общежитии вагоностроительного завода участковый обосноваться не захотел, потому что от общежития до рабочей его территории было далековато. Чтобы видеть в любое время, как течет жизнь участка по своему непрерывному закону, он снял комнату-боковушку у полуглухой старухи Барановой, и никогда об этом не жалел потом. В комнате той умещался покрытый ватным одеялом сундук с горбатой крышкой, на котором Булалаев приноровился спать, хотя в горнице у старухи Барановой была отведена ему высокая кровать с блестящими шишками на металлических спинках, с периной и провисшей под нею сеткой. На кровати спать можно было только согнувшись, почти сидя, а на горбатом сундуке — выгнувшись. Но на сундуке участкового не душила перина и не скрежетали под ним при движении металлические кольца и пружины. Хотя, когда потряхивало землю от недалеких испытаний на полигоне, на гребне сундука удерживаться было трудно. И тогда всякий раз Булалаев просыпался и думал в ночи о многовековом пути человека на планете.

В боковушке умещался высокий дощатый стол, закрывавший половину низкого окна, и высокий же табурет, на котором сидел участковый по вечерам, словно на насесте. Он смотрел отсюда на узкий, как коридор, проход меж двумя высокими заборами, ведущий к калитке и к курятнику — нехитрому сооружению из плетня, обмазанного желтой глиной, обвалившейся кое-где с коричневых ребристых прутьев. Глядя вдоль двух заборов на этот курятник и на калитку, Булалаев думал о том времени, когда он пройдет по заборному коридору и выйдет однажды для того, чтобы встретиться с лейтенантом жены его Таты. Воображаемый лейтенант был похож на всех сразу — и ни на кого в отдельности, и лишь умел казаться слабым для того, чтобы Тата жалела его и бесконечно прощала. Он

был чертовски умен в представлении Булалаева и чертовски и вежливо циничен, а потому умел всякую мерзкую свою выходку объяснить так возвышенно, что был в этой выходке только прав, а виноват — пострадавший. Когда он, участковый, постигший первооснову всеобщего порядка на Земле, встретится с лейтенантом, накопив много знания и понимания, то именно ему первому докажет необходимость введения новой, изобретенной Булалаевым, статьи, предписывающей скорее всего в качестве долговременного наказания за нарушение гармонии чужой жизни разлуку с Землей и пребывание на околоземных орбитах для раздумий в летательных аппаратах с зарешеченными иллюминаторами... Участковый боялся всех умных и циничных, и в особенности — Таткиного лейтенанта, но неизбежность встречи с ним заставляла Булалаева копить умственные и душевные силы, потому что не встретиться с лейтенантом означало потворствовать беспорядку во времени и пространстве...

Порученный же ему участок жил потихоньку, и старуха Баранова варила участковому по утрам перед службой два яйца, а к обеду напаривала в печи горох и картошку и, собирая на стол, рассказывала Булалаеву, какая зеленая — «ажно купоросная» — росла в прежние времена вдоль по улице трава, а теперь трава стоптана под корень и земля уезжена, как каменная, и не дышит, и какое в прежнее время было яркое, непродырявленное ракетами небо — «ажно купоросное», а теперь небо выгорело напрочь, будто некитайский сатин.

Старуха печально смотрела на темный экран неработающего телевизора, стоящего напротив печи и темнотою своего экрана чем-то похожего на темный печной зев, который старуха забывала закрывать заслонкой, и бормотала еще про речку, ушедшую в землю возле полигона, про пересохшее русло ее с мертво осыпающимися берегами сразу за зоной испытаний...

Булалаев кивал часто, чтобы старуха не разгонялась на длинный разговор и чтобы не очень мешала ему познавать все вокруг.

И, стыдно сказать, как попали мы с Олей по разным по детдомам, мне и не до нее было, а сильно я рада была, что перловкой в детдоме кормят. Так этой перловки жду, а про Олю не думаю. Маленько погодя вспоминать я ее стала, жалеть, тосковать стала — да все не подолгу, а так — мелькнет в уме, сердце посаднит, да и ничего...

Вот до десятого класса я дошла. Письма по разным детдомам писала, а что Оля не находилась, я про то так рассуждала: школу закончу — разыщу обязательно, не долго уже осталось. Да в десятом-то классе и пошло — с каждым днем тревожней да тревожней мне про Олю вспоминать, совсем маленькая она у меня в памяти осталась. И так лицо ее мне часто видеться стало! И все нехорошее всплывало: как я ее бросала да убегала от нее, и как она плакала... А тут в младшей группе, в детдоме у нас, воспитательница молоденькая появилась, едва ли не мне ровесница. Девчонка рыженькая, и косички корзиночкой уложены. Сначала я так же косы стала заплетать да корзиночкой, как она, укладывать. А потом и вовсе. Как минутка свободная, я к маленьким бегу. Одна я среди всех в детдоме взрослая, и ровесников мне нет. Ну и подружились мы с этой воспитательницей до того, что как она в вечернюю смену работает, да как начальство домой уйдет, она мне и говорит: «Побудь за меня, погляди за ними хорошенько, я домой сбегаю, у меня Сонька, сестренка, одна дома сидит, как бы чего не натворила, да как бы голодная спать не легла».

Родителей у них куда-то на Урал, на завод перевели, и скоро, значит, и их двоих забрать должны были, как с жильем обустроятся. А прибежит — опять: вот Сонька так сказала, да эдак сказала — все и пересказывает мне. Все время за нее, за сестренку-то свою, тревожилась. А я как лягу спать — да и думаю: Оля, Оля, а за Олю мою кто переживает, кто ее побережет? Ну и довела себя, воспитательницу-то эту слушая, до того, что едва-едва с ума не схожу. Взрослая уже, считай, была, понимать кое-чего начала; одна ведь я у Оли моей на всем белом свете. Тут дело к весне идет, к экзаменам выпускным,— а мне Оля все заслонила. И так вбила я себе в голову, так я в это уперлась: не учиться мне надо, а Олю скорее искать! Вот вроде беда какая-то над ней, а я сижу да об учебе только забочусь своей... Ну и ушла. Во всем детдомовском,— никакой силы у меня не было десятый-то класс докончить; под вечер с узелочком потихоньку вышла — да скорей, скорей, ровно погоня за мной, на вокзал: поеду! Была не была!

И начались тут мои дороги, без конца и без края, из детдома да в детдом. А раньше, чем к начальникам пойти — всех девчоночек во дворе догляжу, всё казалось — вот я Олю сейчас и узнаю, увижу. Как я в этих дорогах не сгинула, не пропала... Кто на вокзале покормит,

кто в поезде спрячет, кто мимо проводника изловчится — проведет. А то и проводники хорошие попадались Как скажу, что сестру ищу, всякий и норовит пособить, как может, да еще кусок какой-нибудь впрок сунуть. Жалели! Ну и померзла, поголодала, конечно...

А через полгода, ездила-ездила, и вовсе я как побирушка стала. Да чего уж «как побирушка» — побирушка, вот и все. Тут осень, холода пошли. Кофтенка у меня — с чужого плеча. И обувь чужая — старушка какая-то калоши свои в поезде из сумки вытащила. «На-ко,— говорит,— совсем ты босая»...

Вот раз, помню, гляжу я, как мужик с сумкой брезентовой в буфете вокзальном вдоль столов ходит. Пожилой да обросший, а борода — красная, как огонь! И кто чего не доел — в сумку потихоньку собирает. А я стою, да так уж ему завидую, что не могу я тоже подойти и со стола недоеденное взять: есть-то ведь как мне хочется. Ну, он меня, видно, и заприметил. «Хочешь,— говорит,— пряничка? Совсем целехонький пряничек». Я головой мотаю, вроде отказываюсь, а сама уже беру и ем. Он мне и говорит: «Я в вагонах пою хожу. Ты петь-то, часом ли, не умеешь? А то бы со мной ходила. Иногда хорошо дают!» «Нет,— говорю,— не умею...» «Жалко... Вот если бы умела чего. Я бы тебя как дочку с собой водил. А ты подумай — может, смогла бы чего? Вдвоем-то все повеселей». Съела я пряник. «Одно,— говорю,— только я умею. С газеты либо с книжки наизусть читать». «Как так?» — «А вот так...» Ну и в ту же минуту несет он мне газетенку старую из зала ожидания. «Покажь-ка»,— говорит. Прочитала разок про себя, отдала ему и он по газете смотрит, а я — без запиночки. И про завершение строительства социализма, и про восемнадцатый съезд, и про Жданова, и про то, что морально-политическое единство трудящихся окрепло. И он только просит: «Погоди-погоди, потише тараторь. Ну, девка, ну — голова! Да неужели ты с пониманием все запомнила?» «Нет,— говорю,— без пониманья. Я теоремы все назубок в школе знала, а как решать начну — хоть плачь: едва-едва решу. Сочиненье только легко писала и правила отдельно знаю — а пишу без единого правила все равно». «Ну и дела...— говорит.— Вот кабы с пониманьем ты была... Походили бы мы с тобой по вагонам, денег поднакопили, я бы тебя учиться определил». «Нету,— говорю,— пониманья, память одна есть». «Ну, все равно, идем».

И вот он глаз один подвяжет, да запоет жалобно:

«Болят мои раны...» А там и попросит в вагоне: «Граждане-товарищи! У кого газетка любая имеется или журнальчик? Вот дочка моя взглянуть желает. Она взглянет, а вы её проверьте. Проверьте, проверьте!» Целый день с ним по вагонам ходим. А к вечеру щей в столовой наедимся — всегда я по две тарелки съедала. А он себе еще и водки возьмет. Ночуем, ясное дело, по вокзалам.

И раз как-то в столовой много он водки выпил. «Праздник,— говорит,— у нас. Рожденье мое нынче». Да начал меня за коленки хватать: «Я тебя, девка, и без пониманья выучу. Ученые-то, они, думаешь, с пониманьем все? А пониманье, оно со временем приложится». И коленку все жмет. И так он тогда напился, что стыдно мне с ним ужас как было. Я от него и убежала. До первого поезда все пряталась, из-за угла глядела, как он меня, пьяный, ищет да ругается. И сердце бьется-бьется — так я его боюсь. А как в вагон вскочила да из тамбура глянула — сидит он на земле у стенки и плачет. Один сидит и не ищет уже... Лохматый, страшный — и плачет.

И до самого того города, где Тарутины жили, я доехала. А думки у меня никакой про них не было. Уснула на вокзале, на скамейке, да поспать скорее стараюсь — тогда милиция часто уже меня задерживала, но везло до поры до времени,— скажут, что на работу устраиваться сначала надо, да и отпустят. Сплю, пока милиционер не подошел да не согнал. Да все же увидела перед тем, успела; два парня молодых, помню, напротив меня сидели, нехорошо так поглядывали, посмеивались: нищенка. И один-то, помню, себе пуговицу на китель белый пришивал, сидел. Пиджак такой вроде кителя.

Уснула я, слышу — по спине вроде чего-то ползает, а уж не шелохнусь. Намучилась. Очнулась когда — нету тех парней. Я в туалет вокзальный умыться пошла. А вытиралась кофтой, изнанкой. Умылась, кофтенку-то снимаю, тащу с себя — никак она не снимается, и платьишко мое, детдомовское еще, на спине вроде треснуло. Обернулась к зеркалу-то, над раковиной которое, глянула, а они мне, эти двое-то, по всей спине — крест-накрест кофту к платью пришили. Ради смеху, наверно... И вот распороть — не достану со спины, стежками зашили крепко. И так мне тут обидно стало. Не слабая на слезы была, да, видно, устала от всей такой жизни, отошла к окошку забеленному, и с белым-то крестом на спине гляжу в него — в белое-то. И так я заплакала!.. Так прорвало, что и остановиться не могу и не хочу. А в груди, под ребра-

ми-то, плачу — и все только пуще ломит, и не отходит. Зачем я родилась? Для чего? Все-то я припомнила. Да ведь не Тарутин-то если бы, может, и не мучилась бы я теперь. Ничего бы этого, никакой жизни не было бы. И так мне сладко было думать про то, как если бы меня не было,— ничего будто лучше этого и нету, как не жить, да не быть на свете вовсе. И вот тут в голове-то у меня — постой: Тарутины-то ведь здесь, неподалеку где-то. Может, совсем рядышком, Тарутины-то наши, в двух шагах, может.

Специально из вокзала вышла, на вывеску гляжу — города у меня уже путаться стали, и соображаю плохо, а как чего соображу, долго себе потом не верю: правильно ли, нет ли? Гляжу — точно. Этот город. Ну и сразу: вот и не одна я на белом свете. И ничего мне не надо стало, а только бы на знакомого бы своего человека, не на чужого, взглянуть — а там уж что будет, то и будет. Голова от слез да голода кружится, а уже и легче. Горько, не вздохнуть — а и легче.

Да только весь день, с шести утра, ходила по городу без толку. Сначала прохожих спрашивала. Тарутиных не знает ли кто. Ну — где там, пустое это дело вышло. И не слыхал никто про таких, и на меня как на полоумную глядят. Потом сообразила — по больницам пошла. И вот под самый вечер уже в одной больнице мне и растолковали, как Аркадия Ильича разыскать. Родственница, говорю, я ему. Не сразу медичка сказала. Подозрительный я человек,— так, вижу, ей показалось. Ну а как про детдом помянула да расплакалась — всё она мне тут же на бумажку записала, как искать... Только эти слезы мои — нехорошие уже были. Перед медичкой-то которые я лила. И в самом деле плакала, а вот... вроде блаженную из себя строила. В больничный скверик как вышла — стыдно. Рукавом-то их, слезы эти,утираю, уж и лицо сухое — а я все тру. Стыдно.

Ну и полетела, ног не чуя. Открывает он мне — господи! — старичок совсем. Только глаза знакомые светятся, да свет из них ласковый, свой идет. Тут только я и сробела: что пришла-то, зачем? Чего скажу? А он:

— Погоди,— говорит,— погоди...

Да к свету меня развернул, руки у него вздрагивают.

— ... Катюшка, Катюшка Анохина...— говорит тихонько, сам себе говорит.— Спасительница. Катя...

Ох, и вспоминать про то не могу, так сразу по глазам до сих пор режет, как вспомню это. Вот так я к нему,

с крестом-то белым на спине, и вошла, к Аркадию-то Ильичу!

— Хлеб,— он говорит,— черствый у меня, горе-то какое, черствый. А консервы есть!

И все на стол скорей, да роняет — из рук у него все падает. Торопится, а сам отвернуться норовит: переживает. Такой уж у меня, видно, наверно облик ужасный был...

— Ешь скорей,— говорит. А сам уж на керосинку таз с водой ставит.

Гляжу: комнатенка — три шага туда, три сюда. А кроме книг и нет ничего,— все на полках привесных широких в два ряда стоят. Две койки железных — узкая да широкая, стол между ними. Бумаги он на столе разгреб, меня сбоку на койку усадил. А у порога — ведро помойное. И полка над умывальником, на полке той три миски алюминиевые, три кружки. А больше и нету ничегошеньки, только больницей в комнатенке сильно пахнет.

— Авдотью Павловну мы,— говорят,— семь лет назад похоронили, угол снимали — там она и умерла. Эту комнату мне от больницы дали. А на кровати той,— на широкую показывает,— Леня с Павликом спали. Да они ведь приезжали вместе! — два месяца как уехали. Павлик в аспирантуре, аспирантском общежитии комната у него. А Леня в прошлом году в университет поступил, вот бы раньше ты приехала, на Леню бы посмотрела. Павлик-то не очень, а Леня тебя помнил. И я помнил. Я и в смертный свой час тебя не забуду. Нет, не забуду.

И говорит, говорит, я ем — а он говорит. Чтобы расспросами, значит, меня не тревожить, да от еды не отвлечь, да чтобы чего не так не спросить, наверно.

— Вот,— говорит.— Тут спать будешь, Катя.

Таз нагрелся, поставил он его на свободное, между койками, местечко, сам по полу на четвереньках ползает, тычется, то один чемодан выдвинет, то другой,— тряпки перебирает. И все торопится, торопится.

— Держи,— дает мне,— рубаха твоя будет, Лёнина. А вот,— говорит,— шаровары его тебе подойдут, может. Подойдут, я думаю. И барышня ты у нас будешь — ничего. Мальчики-то мои, мальчики-то, пока у меня были — все мне перестирали!

Смеется тихонечко на полу, а с четверенек едва-едва встал.

— Мойся,— говорит,— Катя. Мыла у меня земляничного кусочек есть, а я к соседу пойти обещался ненадолго.

Поела я, да прежде, чем раздеваться да мыться, дверь тихонько приоткрыла. Гляжу — стоит он в коридорчике,

Аркадий Ильич, за лестницу держится, и вот ведь как задумался!

Помылась я, да в чистое обрядилась. Вышла.

— Аркадий Ильич...— зову потихоньку.

— Всё, Катюша? — голову-то поднял, глаза опять и осветились.

Зашел, да пол, который я забрызгала, сам подтереть норовит, а тряпочка маленькая, замызганная. Спорола я нитки с кофты, кофту в таз с водой сунула на стирку, а платьем своим подтирать стала, Аркадия-то Ильича уж насильно усадила. Сидит он и все головой качает, вроде с тем, про что думает, соглашается.

— Разыщем, Катя, твою Олю. Теперь вдвоем-то, глядишь,— разыщем. Только не ездить — писать надо, я знаю куда и как писать. А тебя — на работу пристраивать, вот я в больнице поспрашиваю...

Так мы и зажили. Только работу я сама себе искать пошла. А как рассудила? С жильем мне работа нужна. Мне ведь еще думать надо, как Тарутиных не стеснить. Он и договорился, чтобы нянечкой меня взяли, да без жилья отказалась я устраиваться.

Хожу — работы всякой много, и на фабриках, и на заводах, а как до места в общежитии дойдет — тут мне и говорят: «нет». Или — «через месяц зайдите». Ну все равно летаю с утра до ночи — как на крыльях, прямо свету будто в меня кто вдохнул.

Ну и бегу, бегу из конторы — опять мне «нет» сказали, да на девку молодую и налетела. И вот ведь чуть с ног ее не сшибла, в дверях-то. Так швабра у нее из рук и грохнула. Она мне и кричит в сердцах:

— С ума, что ли, сошла?

А я и отпираться не стала.

— Да почти что! — говорю.— Работу я с жильем ищу, тороплюсь — вот и совсем ненормальная стала.

И точно, ненормальная — гляжу, как она перепугалась, да как глаза-то на меня таращит, и смеюсь во всю глотку; смешно мне. Она швабру свою подобрала.

— Тебя как,— говорит,— зовут? Меня — так Пелагейка,— говорит. — Уборщицей тут работаю. У меня брат дурак. Мы его все любим,— и мама, и я.

Присели мы с ней у конторки на лавочку, поставила она ведро пустое на землю. И разговорились что-то — без умолку, да наперебой. Она мне теперь:

— Погоди-ка! Вот чего. У меня тетка на складе работает сторожихой, там каморка есть прямо при складе,

а тетка-то ведь — на пенсию уходит, к дочери своей уезжает! Вот бы тебя туда взяли! — да и призадумалась.— Только это не в городе,— говорит.— А за городом, тридцать минут от города езды, через речку ехать надо.

А я:

— Вот уж печаль великая, что не в городе! Только бы взяли!

И вот так мы с Пелагейкой задружили, и она меня вечером же сама к тому складу привезла, и у тетки ее в каморке мы посидели. А на другой день я уж у начальства была и насчет работы договорилась. Так все удачно у меня с этой Пелагейкиной руки пошло! Правда, тетка пенсию выправляла не день, и не два, а месяцев около трех, наверно. После нового года только я устроилась, да все равно хорошо все вышло, и с Аркадием Ильичом я прямо свет увидала. Читать-то люблю, приберусь в комнатенке — два раза тряпкой махну: готово! — и на кровать широкую, читать. Он над книгами сидит, в тетрадку все чего-то записывает, а уж я не шелохнусь: не мешаю. Все тело, помню, занемеет, заломит,— полежи-ка без движения! Читаю, а сама краешком-то глаза караулю: как зашевелился маленько — значит, всё! Соскочу, чайник — на керосинку, а он бумаги да книжки с уголка отгребает, и кружки алюминиевые — на стол.

И так-то нам уютно да хорошо! Начну, бывало, спрашивать:

— Аркадий Ильич! Вот вы все читаете, выписываете. А зачем, для чего? Толк-то из этого какой будет или нет?

Тут он в кружку свою засмотрится с чаем, да и говорит.

— Странная это штука,— говорит,— Катюша,— положительная, благая идея. Так вот я все над чем думаю: как же она, идея-то благая, когда в жизнь претворяется, как же она в свою крайность, в свою противоположность переходит? Идея — да в антиидею. Ведь что получается: высоконравственная идея христианства, которая вся — на жертвенности да на всепрощении, в жизнь-то воплощаясь, доведенная до крайности своей в этом воплощении, в инквизицию перешла, в противоположность свою. Где это воплощение притормаживать надо, чтобы не было такого?

Нравственность человеческую, Катя, возьми. Как пойдет человек в чистоте души своей совершенствоваться, так еще в такого деспота для близких своих превратится, всё в угоду чистоте душевной подчиняя, что страх глядеть. А ведь идея-то сама тут — положительная, Катя. Да ты ведь про ад-то слыхала, что сам ад — на благих намере-

ниях стоит. А вот в масштабе государства что? Хорошее решение какое принимается, начинают его в жизнь проводить,— в жизни уж непременно до такой крайности оголтелой оно доводится, до абсурда, считай, да с плюса-то — до самого противоположного знака, до минуса скатится, и результат, конечно, уже прямо противоположный давать начинает. Я вот, Катюшенька, все думаю: умели бы люди улавливать тот самый момент, когда воплощение благой идеи уже на минус пошло, и на минус работать начинает — много зла на земле поубавилось бы. Может быть, самый-то корень всего зла земного — и есть благая идея, доведенная до крайности.

А вот возьми, Катюша, любовь, любовь благословенную между мужчиной и женщиной. Что прекраснее может быть на свете и выше этого? А и любовь — свое начало имеет, многими иллюзиями опьяняющее начало (и хорошо это — иллюзии, хорошо! Закономерно, Катя!..) Имеет любовь пору зрелости — и пору спокойного угасания, переходящего в благородную и трогательную привычку. Это — когда она людьми не изуродована, не обезображена. А как ее изуродовать легко! Я говорю теперь уже о другой любви, о той любви, которая, взвинченная людьми до предела, до оголтелости, опять же в противоположность свою переходит, в ненависть, в антилюбовь. Страшно это. Так ведь с любой благой идеей, как с любовью, точно так всё. И вот, если бы людям научиться в себе этот момент улавливать, в своих отношениях, да регулировать как-то — тогда бы, глядишь, и в масштабе страны ли, планеты ли больше было бы шансов на разумное. Ведь то, что в мире происходит,— все это с души нашей копия, Катя. Одни в душе человеческой — и в мире всеобщем — законы действуют. Не мир плох, нет. Мир-то из людей соткан, из движений множества душ, наших душ...

Да вон сними-ка ту книгу, Катя, Анатоля Франса сочинение, «Таис», да погляди. Как там христианин, блудницу-лицедейку в христианство обращая, язычника-то в благом порыве по лицу хлещет, себя не помня. Чтобы язычник ему не мешал добро творить да чтобы душу блудницы к свету вывести и спасти? И до того он себя в рвении своем к святости доводит, до того себя доводит в усердии своем, что — окружен демонами становится!.. Вот ведь он, этот закон. А ты почитай, возьми, почитай.

... Так всё с ним, с Аркадием Ильичом, и сидим. Только уж как на работу я устроилась, то редко к нему приезжать стала; и надоесть ему вроде боюсь,— а то время не выберу.

Свои синтетические палатки цыгане разбили три дня назад в пристанционной роще — палатки были оранжевые и голубые. С какой целью остановились цыгане в пригороде, Булалаев не знал. И время шло, а он еще только готовил себя для служебного разговора с ними. Сначала он собирался выяснить, откуда берутся у бродячего племени средства для повседневного существования. Но потом решил, что этого недостаточно, а самый главный вопрос, который следует задать табору, это — что есть воля и свобода отдельной цыганской личности в современном человеческом обществе, и как думает табор совместить это свое представление о свободе в дальнейшей цыганской жизни, которая должна слиться с жизнью государства и с выполнением народно-хозяйственных совместных планов. Перво-наперво участковый пошел в читальный зал и долго искал в книгах какой-нибудь научный труд о формировании цыганской души. Там он терпеливо прочитал Фейербаха — сначала про всеобщую связь Вселенной, бесконечность и разнообразие органической жизни, потом — про способ взаимной связи и общения между монадами. А «Смысл предустановленной гармонии» дочитывал уже у себя в кабинете, потому что такую же точно книгу нашел в библиотеке и взял с собою. Однако и в этой главе у Фейербаха руки до цыган не доходили, а занимал его все больше один человек — Лейбниц. Но Булалаев сердился на Фейербаха не долго, потому что приноровился подразумевать цыган под словом «монада» и даже начал кое-что про них понимать, как вдруг, в самый обеденный перерыв, в кабинете громко зазвонил телефон. Звонку участковый обрадовался — бдительное его пребывание на службе в эту пору как будто не имело смысла до сего дня, а теперь сразу его обрело. Тонкий голос в трубке принадлежал председателю колхоза «Путь вперед».

— ... Вы там разберитесь у себя, товарищ участковый, ваши цыгане — больше некому. Один около табунка похаживал. Большой такой и матерый. Особые приметы? ... Рубаха навыпуск! Синяя. Шпагатом подпоясанный. Да. Обыскали все. Нет кобылы. Угнал... Сначала с табунщиком разговор заводил, отвлекал. И гипнотический сон затем напустил. Да, табунщик говорит, что гипнотический сон на него напал и сморил. Разберитесь.

Булалаев пошел в рощу сразу, по жаре, не евши, и, не дочитав главы о смысле предусмотренной гармонии. Теперь он ругал себя за то, что не побывал в таборе сразу, а позволил Фейербаху отвлечь себя от действительности.

Продать украденную кобылу колхоза «Путь вперед» в пригороде было некому. А значит, она,— семилетка гнедой масти, без пятен,— находится в таборе. Но кобылу могли уже зарезать на мясо — тогда участковый Булалаев найдет улики в виде костей, зарытых в землю неподалеку от палаток и прикрытых поверх почвы дерном, травою и прутьями... Роща была молодая, сильно прогретая солнцем и пока что безлюдная. Лишь мелкая птица летала над Булалаевым до тех пор, пока не испачкала его рукав белым. Отметину Булалаев оттер кленовым листом, не сбавляя хода.

Но на месте стоянки он увидел лишь вытоптанные бестравные пятна от палаток — табора в роще уже не было. Булалаев не сразу решил, что же делать ему теперь: обследовать ли местность — или попробовать догнать цыган. Он громко свистнул, постоял, прислушиваясь и оглядывая недвижные деревца, и бросился бежать к вокзалу.

В малолюдном зале ожидания пассажиров цыганского происхождения не отыскалось ни единого. Лишь на перроне, в очереди перед лотком, Булалаев высмотрел кудрявую голову мальчишки лет десяти, а может, только девяти лет. Цыганенок сразу стал часто оглядываться на Булалаева и даже сунул деньги продавщице не сразу. С бутылкой лимонада, прижатой к голому грязному телу под распахнутой курткой, мальчишка победно прошествовал мимо Булалаева, оскалив в диковатой ухмылке белые крупные и кривые зубы, не сводя с участкового нарочно вытаращенных, бессмысленных глаз. Насторожившийся Булалаев понял, что мальчишка готов удрать в любую минутку, если участковый сделает хотя бы шаг в его сторону. Отвернувшись и выражая спиною полное равнодушие, Булалаев стал напряженно разглядывать гуляющих по перрону людей. Довольно скоро он обернулся, но цыганенка на перроне уже не было, лишь знакомая куртка как будто промелькнула под вагоном товарняка. Булалаев отер испарину, выступившую на носу, кинулся под вагон и едва перелез через рельсы, как товарняк громыхнул, заскрежетал — и тронулся. Мальчишка лениво бежал в сторону дощатой конторы контейнерной площадки, запрокидывая голову и отпивая на бегу лимонад.

В узкий и душный коридор конторы Булалаев и мальчишка вошли почти одновременно. Крепко топая босыми пятками по дощатому полу, цыганенок отбежал к окну и вскарабкался на батарею, все так же прижимая бутылку к голому животу в мокрых липких разводах. Цыгана

Булалаев увидел сразу — тот, в синей выгоревшей рубахе стоял первым в очереди изнывающих от духоты людей у высокого барьера.

— Гражданин!.. На минуточку,— удерживая сердцебиение, козырнул Булалаев.

Цыган обернулся — и не удивился. А только осклабился в такой же, как у мальчишки, холодноватой усмешке:

— Погоди, мил человек, бумагу заполняю. Немного совсем подожди!

— Куда, говорите, отправлять! Нельзя без улицы! Не положено! Это документ! — ломким от нетерпения голосом закричала невидимая женщина за барьером.— Не приму груз!.. Улица, номер дома!

Цыган лег грудью на барьер, и, вздохнув, указал темным пальцем вниз.

— Пиши, ладно... Так пиши: «улица-посадка, дом-палатка».

Булалаев ждал, и стоял так близко к цыгану, что ощущал запах его немолодого жилистого тела — запах был древесный, похожий на запах дубовой крепкой коры, нагретой солнцем.

— Посадка-палатка! — хмыкнула женщина за барьером и встала, мотая от усталости желтыми крашеными волосами.— В наше время — неграмотные! Счастья своего не понимают... Бесплатно же учат! Всех! Дети вон, поди, неграмотные растут...— укорила она, взглянув на цыганенка, болтающего ногами.— Ездите, ездите! На месте вам не сидится.

— Не говори, зря, сестра. Он в первый класс ходил. Учился осенью немного.

Женщина посмотрела на цыганенка с сомнением и прищурилась.

— Какая буква? — ткнула она ручкой в плакат «Прячьте спички от детей».— Вот эта. Знаешь?

Цыганенок перестал болтать ногами.

— Знаю, конечно! — баском ответил он.— Бэ эта буква. Она! Бэ!

— Чэ! — нравоучительно произнесла женщина, усаживаясь за стол.

— Вот зараза, как за два года изменилась! — равнодушно изумился цыганенок, вглядываясь в букву безо всякого интереса.

Булалаев все стоял за спиной цыгана — тот старательно отсчитывал деньги из кисета, сухо поплевывая на большой широкий палец.

— Ты здесь, начальник? — не оборачиваясь и не пе-

реставая считать и поплевывать, осведомился он.— На улицу пойдем выйдем, тут бумагой пахнет — тут бумажная жизнь кругом. Пойдем!

Булалаев потоптался — двинулся первым, но цыганенок, вихляясь и подпрыгивая, обогнал его.

— С табунщиком вчера говорили? — переступив порог конторы, сразу спросил Булалаев.

Цыган обошел его кругом и встал, щурясь на солнце. Он долго чесал под бородой, соображая что-то, и спросил сам:

— А про что с ним говорить?

— Так говорили или нет?

— Нет. Не стал. «Плохие ваши лошади»,— сказал.

— ... И всё?

— И всё! — заверил цыган благодушно.

— А он что? Табунщик? — нервничая, Булалаев принялся колупать ногтем едва приметное пятнышко на рукаве, не до конца вытертое кленовым листом.

— А он? — недоуменно переспросил цыган.

— Он! Он!

— А он говорит... На, цыган, выпей, говорит.

— А ты?

— Я не стал... Полстакана только налил мне! Я говорю: за полчеловека меня считаешь? Не буду, говорю. А он сказал: не хочешь — не больно надо.

— Значит, табунщик сам выпил эти полстакана? — допытывался Булалаев.

Цыган задумался, опустив коричневые веки.

— Разве я сказал — он выпил? Нет! — степенно ответил он.— В руках держал. А чтобы выпил — не видал я такого, врать не хочу... Он в траву вылил, наверно!

— Так вылил — или не вылил?

— Вот, начальник, знал бы, что спросишь,— поглядел бы я. Наверно, вылил! — повторил цыган доверительно.— Если человек на службе — выльет, конечно.

— ... А куда кобыла из табуна делась?

Цыган живо глянул на Булалаева:

— Какая кобыла, начальник?

— Гнедая, без пятен, семилетка.

— А-а... У гнедой брюхо вислое,— разочарованно махнул рукой цыган.— Жеребец чалый там был неплохой только. Остальные одиннадцать — плохие лошади. А я смотрю — лошади, дай подойду, думаю!..

— Вот вы подошли — а лошадь пропала.

— ...Не уводил! — со вздохом сожаления сказал цы-

ган.— У меня, начальник, свидетель есть, все видел! Спроси у него!

— Какой свидетель? Фамилия?

— Фамилию не спрашивал, высоко свидетель был.

— Что за свидетель?

— А вертолет, начальник, пролетал. Пока я от табуна шел, низко летел, видал все сверху. Без кобылы я шел — он видал, спроси.

— Мальчика вам не с кем оставить? Мне вас задержать придется. До выясненья.

— А зачем оставлять его? — спокойно рассудил цыган.— С нами пойдет, пускай учится, молодой еще... Далеко идти?

— Далековато вообще-то...

— Далековато не надо, начальник! — цыган опустил руку на пыльную голову мальчика.— Со станции позвони — спроси людей сначала. Там телефон был три дня назад!

— Со станции? — переспросил Булалаев.— Ладно. Пойдемте.

И снова в комнату милиции на вокзале цыганенок протопал первым и сразу стал с нетерпением смотреть на серый телефон, стоящий посредине стола. До председателя колхоза «Путь вперед» Булалаев дозвонился сразу.

— Какой участковый? У меня совещание! — возбужденно откликнулся председатель.— А, да, да! Кобыла!... Сама пришла! Откуда — не знаем, у нее не спросишь. Закрыт вопрос, ага!..

Цыган понял все по лицу Булалаева и смотрел теперь на участкового с сочувствием.

— Вот и хорошо. Что обошлось все — хорошо...— потерянно вздохнул Булалаев.

— Молодой ты, начальник...— покачал головою цыган.

— Я, кстати, недавно читал... начал было участковый нерешительно и с печалью, но тут приоткрылась дверь и пожилая цыганка уверенно вошла и встала у стены.

— Вот от книг у тебя глаз нехороший. Неспокойный глаз,— сочувственно заметил цыган. — Мысль не одолеешь — она тебя одолеет, задавить совсем может... Взаймы ум из книжек берешь — своего не наживешь тогда, начальник.

— ... А его наживешь? — негромко и с надеждой спросил Булалаев.

— Чего хочешь, начальник, знаешь?

Цыганка в нетерпенье переминалась с ноги на ногу и молчала.

— Знаю... Всеобщего порядка.

— Порядка душа твоя хочет! — весело откликнулся цыган.— А жизнь среди беспорядка прожить хочешь? Зачем? Мучиться будешь. Ты в армию иди, начальник! Строем ходить будешь! Доволен будешь!

Цыган усмехнулся холодноватой своей усмешкой, оскаливая зубы, подтянул шпагатную веревку на поясе и толкнул дверь плечом. И цыганенок, выбегая следом, прокричал что-то Булалаеву по-цыгански и засмеялся. Цыганка вышла последней.

— Что? Отпустил? — спросил спустя время дежурный сержант — он застал Булалаева сидящим за столом в полной закаменелости.

— ... Не понял он меня. Я ведь ему иносказательно про гармонию хотел..!

— А-а! — перебил его сержант.— Бывает. Все бывает! У нас вон три дня назад телефонный аппарат утащили, срезали прямо из окошка. У окошка стол стоял! Нет, с ними про гармонию — нельзя!

Сержант поглядел на окошко — и переставил телефон на дальний угол стола.

На перроне Булалаева кто-то схватил за руку. Пожилая, все та же, цыганка заговорила тихо и быстро:

— Хороший ты человек, вижу — хороший, наших отпустил.

— Да... Да...— замялся Булалаев.

— Бесплатно тебе помогу,— озираясь, проговорила цыганка и зашептала в самое ухо: — Повторяй на ночь себе: рыба с водой, а жизня со мной и здоровье со мной, кукарашка парес!..

— Чего? — громко спросил Булалаев.

— Кукарашка парес! — со значением подняла брови цыганка и быстро пошла прочь, гортанно окликая кого-то в толпе.

...Мы тогда с Пелагейкой как задружили-закружились, так и пошла у нас жизнь такая, что и не до чего нам; платья из ситца шьем, на танцы бегаем, то в город поедем, а то — в наш клуб, который возле склада самого. Каждое воскресенье мы с ней вместе — такая она бойкая, и все вокруг нее — ладно да складно. Тут и женихи какие-то вокруг нас закрутились. Только у меня все не всерьез, я что-то с ними и разговаривать не умела. Как мне кто немножко понравится, так я и замолчу, и брови сведу. А Пелагейка: «Что ты такая сердитая становишься? Так на тебе никто не женится никогда!»

А около нее парней много было! И все по-настоящему влюблялись, в Пелагейку-то, вроде. Прямо отбою от женихов нету... Только все женихи ее, Пелагейкины,— до порога. А как домой приведет да как глянут они на ее братца, который все на окошке сидит, да мычит только, слюни пускает, ну и всё на этом: больше тех женихов днем с огнем не сыщешь. И я через два года замуж вышла, а она все в девках так и сидела. И вот ведь как по-чудному я вышла.

Пошла я в воскресенье в баню — баня от склада да от каморки моей через дорогу: вот, думаю, намоюсь да и поеду в город к Пелагейке, мы с ней в клуб заводской сговорились в кино сбегать. Над тазом в этой бане казенной стою, голову мою. А пару много, видать плохо. И тут старуха какая-то:

— Дочка, потри-ка мне спину...

Я волосы в узел замотала, давай старуху мыть. Мыла эту старуху, мыла, натерла ее — крепкая старуха: дышит тяжело, а терпит и «хватит» не говорит. Все равно тогда мою. И вот только когда до скрипа ее натерла, Ксенью-то Петровну, да горячей водой докрасна нахлестала, тут она и говорит:

— Ох, спасибо, дочка, сроду меня так хорошо никто не тер, сразу как мне легче и лучше. Дай бог тебе, красавица, жениха — наилучшего, хорошего,— довольна старуха.

А я возьми да и созоруй.

— Жениха-то хорошего я и сама себе найду. А вот кто бы мне свекровь хорошую нашел!

Она встала. Глядит. И скупываться перестала. Да и говорит:

— Не знаю, какую тебе свекровь, доченька, хорошую надо, и где ее, хорошую, искать — не знаю тоже. А вот если такая никудышная, как я, тебе подойдет, то пошли ко мне после бани, на Володьку моего взглянешь. Я ведь тут прямо, за баней живу, близко — вот и хожу в казенную на неделю по три раза. А у Володьки моего нынче отгул. Он дома. Идем. А не понравится тебе мой Володька, тоже беда не большая, чаем тебя напою со смородиновым листом. Даром, что ли, ты меня так намыла?

Тут — куда все мое озорство подевалось: раздумалась — стыдно,— я и ни в какую:

— Ксенья Петровна, да как же я к вам приду — и не знаю, зачем. Нет. Неудобно.

А она смеется:

— А ты ведь ко мне не просто так. А за вязельным крючочком зайдешь.

Ну и зашли. Распаренные, волосы мокрые. Чаю попили, посидели. А парень-то какой да веселый оказался! И сроду потом я не видала, чтобы Володя мой заугрюмился, да думу бы на себя какую важную напустил. Нет! Легкий был человек!.. Да ведь и я не из последних была.

Вот вышел он меня до калитки проводить; Ксения Петровна вроде кастрюльками своими занялась, и сильно ей будто некогда стало. За руку меня взял да и говорит:

— Приходи еще.

А я модничаю:

— Зачем?

— Как «зачем»? — смеется.— За вязельным крючочком. Приходи.

А дом этот — на два входа, на два хозяина, и двор таким низеньким заборчиком надвое перегорожен, что перешагнуть эту загородку можно. Ну и видно, все, конечно, что на той половине делается: так же крылечко низенькое во двор выходит. Слышу — кто-то тихонечко на том крылечке захныкал-захныкал. Да и кричит:

— Му-ра! Му-ра! Иди домой! Мамочка тебя поругает. Опять ты, Мура, в крыжовнике лазишь. Вот попадет тебе, Мура, не боишься ты ничего!

И старушонка смешная на крыльце стоит, крошечная, в чепце с оборкой, и по лицу видать — сильно переживает. Пригляделась я — другую старушонку в крыжовнике увидала. Та — голову в куст спрятала, и только юбки разноцветные из крыжовника торчат: затаилась. Первая с крыльца все переживает и кричит:

— Вижу тебя, Мура коварная! Не велела мамочка! Вижу!

Тут другая от куста идет, недовольная.

— Не говори мамочке! — велит.— А то ябеда ты у нас, Нюрочка, сейчас расскажешь, а я только одну крыжовинку сорвала.

Я и засмеялась. И говорю Володе-то:

— Старые, а про мамочку толкуют. Это что же мама у них? Столетняя, поди-ка.

Володя и говорит:

— Чудные они люди, а — хорошие. Девы старые. Не вредные они. А матери их — точно, восемьдесят будет. Они за ней ухаживают, все моют, и друг дружку мамочкой пугают. А мать-то и не ходит уже. И я даже не видал, не слыхал, чтобы она разговаривала или бы их ругала.

И тут сразу он мне, этими словами, сильно понравился.

Другой бы на его месте ведь как бы сказал? «А, из ума выживают, чего на них внимание обращать!» А он — нет. И взгляд у него такой хороший, мягкий,— желтоватые глаза какие-то. Вроде — светло-карие... А Володя мне:

— Придешь? — и за руку снова взял, да и покраснел, отпустил сразу.

— Приду,— говорю,— Володя. Приду!

Тут я и от Пелагейки понемножку отбилась, и в город меня уже не тянет — все Володя на уме, а Володя — вот он, через две улицы живет. Да и он в мою каморку захаживать стал: с самого первого взгляда не боялась я его, и ничего с ним не опасалась. Такое у меня к нему доверие было, что и капли мне не страшно! Только Ксеньи Петровны стала стесняться больше; чем с Володей мне проще — тем перед ней неудобнее мне. Ну, а в декабре мы и поженились уже, я из каморки своей к ним перешла, и работу свою ночную, сторожевую, ясное дело — бросила уже; Володя отговорил — «дома посиди, а там видно будет». А это ведь уже сороковой год был... Ох же и старалась я Ксенье Петровне угодить во всем! Да и она меня не пилила, как другие-то свекрови, а чего не так у меня получится, она только одно скажет, бывало: «Ничего! Сорок лет вот как стукнет — так все будешь уметь!» И грубоватая она с виду была, да и на слово часто грубоватая, а — терпеливая ко всем. Добрый человек, что и говорить. Не прогадала я тогда, значит, в бане казенной, когда меня ровно кто за язык потянул.

Осенью-то Нюра с Мурой мать свою похоронили, ну и еще чуднее стали: за ручки возьмутся, по улице в магазин идут — хнычут, из магазина идут — хнычут. Да каждому встречному:

— Осироте-е-ели мы! Ма-а-амочка у нас умерла!

Ну их так вскоре по всей улице и стали звать: сиротки.

И к нам каждый божий день ходить наладились. Только дело к вечеру — смотришь, держатся друг за дружку, через заборчик лезут. Ксенья Петровна шторку отодвинет, глянет:

— Ох, разъязвило бы их, опять прутся...

А сама дверь им навстречу скорей откроет, усадит. А они с самого порога уже плачут:

— Осироте-е-ли... Мамочка наша...— зальются обе.

И только одно спасенье было — тряпочки они любили. Где какой лоскуток пестренький валяется — так они на него и заглядятся: охота им сразу эту тряпочку, и плакать забудут. А отдашь — на другой день, смотришь, или у

одной, или у другой та тряпочка на чистом подоле, или на кофте, или чепце уже нашита.

А Володя мой на заводе большом работал, ремонтником, вставал рано, чуть свет — в город ехать ему на смену. Наворочается на заводе гаечными ключами, а ключи у них — пудовые прямо были: подъемные краны их бригада ремонтировала. Уставал сильно — а всегда веселый. И там, на заводе, им целые вороха выдавали тряпья со швейной фабрики. Да ветоши всякой — ключи протирать да руки, если в масле машинном. На выброс, в общем, эти лоскуты. И вот никогда он не забывал лоскуток поярче да побольше выбрать — для сироток несет, и впрок эти лоскутки для них у Ксеньи Петровны в шифоньере уже лежат. Вот даст им Ксенья Петровна маленько похныкать, чаем напоит, да и несет лоскуточков пару. Ну и сироток наших под Володиными-то лоскутками уже и самих не видать было: все в оборках, в заплатках — глядеть рябит. Нравилось им так ходить, нарядно казалось.

Сейчас думаю: как хорошо ведь с Володей жили. Будто мне в окошко кто счастье подал — да и отобрал сразу. Всего полгода до войны прожили...

В середине января, помню, сидим с Ксенией Петровной, в сорок третьем-то году, радио слушаем: «Прорыв блокады Ленинграда!..» Радовались мы с ней, радовались — а в феврале уже похоронка на Володю пришла. «...при прорыве блокады Ленинграда, 17 января 1943 года... Награжден орденом Красной Звезды посмертно». Так я и паспорт на его фамилию сменить не успела...

Ксенья Петровна после похоронки совсем смирная стала. Ничего не говорит, и плакала — от меня потихоньку и редко. Немножко она Володю пережила. Только день деньской по избе ходит и ладонью по стенке — хлоп.

— Моль,— говорит,— летает, моли у нас сколько...

Глазами водит, и все вроде ловит: руками — хлоп! А я ей и не говорю, что моли никакой — нету... Да еще сироток она в это время так полюбила, прямо души в них не чаяла. И только сиротки придут да начнут про свою мамочку хныкать, она их усадит, и тут уж вместе с ними вот как наплачется! Смотрю — полегче ей становится. И несколько дней, глядишь, про моль она не вспоминает уже. А как их нет, старух,— она их ругать:

— Что дома сидят, эти обезьяны две чертовы. Не насидятся, не належатся за всю жизнь; пролежни, поди, належали...

Ну я уже и знаю, что делать. Вроде с ведром выйду, золу вроде вынести, а сама через заборчик да к сироткам:

— Не замерзли вы, что ли, в холоде-то? Идите к нам, у нас теплей, погрейтесь, посидите.

Они и рады-радешеньки — за ручки возьмутся, бегут, спотыкаются. А Ксенья Петровна скорей за чайник — кипяточку им нальет.

— Погрейте-ка животы-то,— говорит. А у самой уж и глаза на мокром месте.

Года она после Володи не прожила. Второго января умерла... Ну и я опять на склад свой устроилась, кладовщицей меня взяли. На складе холод — лед толщиной в ладонь на окнах намерзал. С работы приду, и дома тоже — холод, пусто.

А Пелагейка тогда на военном заводе работала, приезжала, если два раза в год к нам, то и хорошо. А на Володины годины все же подгадала, на семнадцатое января. И селедки, помню, четыре штуки привезла. Ну и две мы съели с ней,— она и ночевать у меня, спасибо ей, осталась,— а две селедки сироткам в тот же вечер отнесли. Да вязанку дров им прихватили. Помяните Володю.

И опять — на работе холод, дома — холод. Холод да пустота, вот и вся моя тогдашняя жизнь. Не знаю, как бы я эту зиму перезимовала, если бы не сиротки.

Вечером вернусь, сижу-сижу, ни раздеться не хочу, ни топить не хочу. Как во сне сижу. Да себя — стукну по коленке: «Катерина! Что сидишь?» И дело придумаю: к сироткам забежать.

— Керосин-то есть у вас? Или весь вышел?

А они тут — наперебой:

— Два дня назад кончился. А ты, Катя, не несешь. А мы ведь мамочку похоронили, как плохо нам теперь без нашей мамочки...— все канючат.

Да уж одно то, что люди живые у тебя за стеной живут, и что — сделай шаг, и вот они, перед тобой, сердцу и теплее. Послушаю-послушаю, чего они городят,— и тоска, глядишь, маленько этим перешибется. А то ведь так и стоит она вокруг тебя, стоит — и душу мертвит; не уходит, не уходит, не отступится никуда.

И вот помню, принесла им керосина поллитровую баночку, а они чего ведь удумали.

— Катя-а! Мы тебе решили нашу половину дома продать,— хнычут.— Чтобы не чужим людям, а тебе, Катя-а.

— Господи! — говорю.— А сами-то вы куда на старости лет подадитесь?

— А мы,— говорят,— т а к будем жить.

Тут я маленько в себя пришла:

— И за сколько же вы продать половину-то свою удумали?

Друг на дружку глядят, молчат. Да и в один голос:

— Мы не на деньги, мы на карточки продаем. На три месяца карточки чтобы, до весны, Катя-а.

Тут я засмеялась:

— Ладно,— говорю.— Покупаю. Я и на картошке не пропаду, а хлебом, может, когда вы со мной и поделитесь. А то пополам их отоваривать будем, да и тогда уж шесть месяцев у нас с вами выйдет, а не три.

Ну и продовольственную карточку свою на февраль выложила.

— Купила ваш дом! — говорю.

— Да кто это у вас,— говорю,— надумал домом-то торговать?

Опять чепцы друг к дружке развернули, глядят друг на дружку да молчат.

— Мура-а, Мура-а...— старшая-то затянула.

А Мура — побойчее:

— Нет, это ты, Нюра, а на меня ябедничаешь! Ябеда ты, Нюра.

— Как «я»? Ах ты... коварная! Вот мамочка не слышит! Влетело бы тебе, Мура, сей же час!

Мура — в слезы, сидит, мокнет. Гляжу я на них, да на их чепцы-юбки — все Володины тряпочки, которые он домой носил, на них нашиты.

— Ладно,— говорю.— Продали — и ладно. И хорошо.

Теперь Мура утерлась, посветлела, да и говорит:

— Катя! Теперь весь дом — твой. Мы его ремонтировать не будем. Ты, Катя, теперь будешь. Мы с Нюрой так решили. У нас крыльцо сломалось, и в раму дует. Вот ты завтра ремонтируй, а мы не будем. У нас, Катя, руки мерзнут, а то бы мы и не продали нашу половину, Катя!

— Ну и ладно,— говорю,— я так я. Чего же, раз купила, то и делать все мне. Только сегодня темно, да стужа вон к ночи какая выдалась, вздохнуть нельзя на морозе-то. А завтра время выберу, чтоб не по темноте, да и приколочу вам, чего надо.

И такие уж они довольные сидят, что умнее меня оказались да ловчее! И мне на них глядеть хорошо. А у меня — уже забота, уже дело появилось: приколачивать обещала. Уж на это мысли-то мои идут: когда, да чем, какой дощечкой им крыльцо залатать, чего с окошком придумать. А то сама-то так и сидела бы сиднем да стыла!

И вот один раз, весной уже, в апреле наверно, вдруг вроде очнулась я. И ясно так подумала: ведь у Тарутина-то Аркадия Ильича я, считай, почти два года не была. На

войне у него оба сына, переживания сколько у старика, а я только со своей бедой нянчусь: Володю убили. И только одна у меня думка: чего же я к людям пойду, печали у каждого своей полно, кому я с горем-то своим нужна, добавлять еще. А тут и спохватилась: да старик-то — то ли живой, то ли нет, а я, орясина здоровая, сижу и проведать его не выберусь. Вот как: за своим горем и про людей забыла. И на сироток-то сержусь уже, со злом про них думаю: заморочили мне эти старушищи всю голову, весь свет своими причудами заслонили! Как будто в чем они виноваты... Вот как человек-то устроен; как нам охота виноватых скорей найти, а свою вину — от себя отвести.

И все равно, не сразу я после этого выбралась, а только перед маем самым.

Приехала, по лесенке по знакомой поднимаюсь — дверь незаперта: толкнула ее — она и растворилась. И старичок мой, пальтишком накрытый, на койке своей спит, и будильник рядом, на самом краешке стола стоит, да криво,— того и гляди упадет.

Сразу от шагов моих Аркадий Ильич заворочался. Глядит на меня, глядит — засмеялся. Обрадовался. Смеется тихонько, слабенько. Поднялся — кашлять стал, рукой мне машет:

— Не опасно это, Катюша, не пугайся,— и опять кашлять.

— Меня,— говорит,— Катя, по неделям не бывает, я в госпитале ночую. Думал: Катя приходит, а меня нет... Раненых много, последние дни из Крыма везут — там, Катя, уже Крым освобождают. Как ты меня застала удачно!

А я — будто меня кто ключом завел:

— Что от Лёни? Лёня как?

Ни про Павла не спросила, ни про Аркадия Ильича самого; мол, как живется, да здоровье как — кашель вон какой у вас. Нет — сразу: «Лёня как?»

Поглядел он на меня, поглядел, голову в ладонях зажал, сидит, качается.

— Понял я,— говорит,— Катя, как называется идея, доведенная в жизни до самой крайности своей. Она называется ф а ш и з м. Ф а ш и з м о м, Катя, она называется.

А я опять:

— Лёня-то как?

— ...Павлик у меня в Крыму,— говорит.— Вчера письмо от него пришло. Бои там, везут и везут оттуда...

— Лёня что? — кричу ему, как глухому.

Поглядел он на меня. Глаза сухие, ясные глаза.

— Летом,— говорит,— Леню убили. При наступлении убили. Под Орлом. В августе два года будет,— спокойно так говорит, разумно.— Может, тебе, Катя, бинтов надо? Или йоду? Я еще летом позапрошлым, в августе, принес бинтов и йоду флакончик. Думал, вот если порежусь вдруг, чтобы было, чем перебинтовать, прижечь. Так у меня без надобности, без толку все уже два года припрятано там, на полке. Отдать мне все кому-нибудь хочется. Зачем мне, старику?.. А я — нет, не порезался ни разу. На что мне? В августе Леню убили.

И пузырек непочатый да бинтов пару мне в сумку сует, в уголок половчее пристроить норовит, укладывает.

А я сижу молчком, слов никаких сказать не умею. Двадцать два года мне, от глупости, от молодости своей не соображу, чего делать, и про Володю своего молчу. Пониманье всё мое куда-то делось.

И разве же знала я тогда, что в старости своей доведется мне эту Лёнину смерть всю, как есть,— вроде как на ладони увидеть доведется? Что через нечистого время вспять обратится — и все мне да Пелагейке откроется? Как с нечистым-то мы свяжемся... Что через него и увижу все?

И сначала неясно так — вроде слякоть, дорога размытая, вечерняя, и народу же на той дороге! Лошади пушки тянут, и перед глазами по грязище — все сапоги, сапоги. И только разговор вдруг услышу,— двое разговаривают.

— Тут укрепляться надо. А дальше пойдем если, под свою же артиллерию, под обстрел попадем.

А другой голос:

— Так ведь пехота впереди еще!..

И тут ровный свист пошел какой-то тонкий-высокий. И не поймешь, то ли мне мерещится, то ли там у них этот свист, как нитка, натянулся — а не рвется, не понижается. И в этом свисте опять первый говорит:

— Нет, нам здесь укрепляться надо, а задним прекращать бы огонь, да следом за нами двигаться. Совсем близко попадание ложится, под него идем. А что там пехота впереди — совсем непонятно. Беги к лейтенанту, чего они думают.

И тут со спины я их вижу, а на плечах у них у каждого — по две чушки здоровенные: снаряды вроде, в брезент замотанные,— в плащ-палатки, может.

Вот на обочину оба сходят, и снаряды-то своим в

чертополох мокрый тяжело так свалили. И один бежать было — да другой кричит:

— Погоди, Степа! Давай я!..

И только они местами-то поменялись — и замерли что-то оба, назад глядят.

— Да что они там, недолет, что ли, у наших...— быстро, негромко один сказал. А тут побоку и рвануло! И Лёня — он! Леня! — как стоял (хорошо тут его лицо мне вдруг видно стало, будто совсем рядом с ним), как стоял, так дернулся, да вроде поворачиваться вокруг себя стал... И пустота, темнота одна, и свист оборвался, как срезали его. И в тишине да темноте кромешной огонь с неба светлый сошел столбом.

Для того, чтобы не прерывалась односторонняя связь Булалаева с жизнью иных стран из-за безголосого, незрячего телевизора старухи Барановой, участковый купил себе транзистор. Темные бабочки ночи слетались на пульсирующий тусклый свет приемника — Булалаев в кромешной ночи крутил ребристую ручку, ища во внешнем мире помощи для понимания всеобщих законов бытия. Потому что во внутреннем мире участка законы эти проглядывали едва-едва, и стройность их никак не хотела четко вырисовываться сквозь хаос, помехи и разноголосицу будней. А гигантская работа участкового по наведению порядка в масштабе нескольких улиц, которая должна была способствовать наведению всеобщего вселенского порядка, удручающим образом сводилась пока к разбирательству вялых склок насчет неправильной огородной межи между соседями. Булалаев продирался сквозь заросли малинника, чертополоха и крыжовника, продирался с рулеткой в руках, полдня вымеряя метры и сантиметры земельных площадей, но соседи мирились раньше, чем добирался он до пограничных линий, и хорошо еще, если они не забывали о нем за своими разговорами, а вовремя сообщали про мирные внезапные решения. Между тем Булалаеву необходимо было рано или поздно написать товарищеское письмо однокурснику Юре о своих первых достижениях по должности. Товарищеское письмо его пока не складывалось — то самое, которое Юра бережно сохранит и покажет состарившейся Тате в часы будущего ее одиночества. Оно не складывалось, а значит, и не могло побудить старую Тату кинуться разыскивать на склоне лет законного мужа Булалаева, адрес которого она прочтет на конверте. Действительность упиралась в вялые склоки и

плохо поддавалась осмыслению. И тогда измученного, исцарапанного растениями Булалаева, медленно погружавшегося в скорбь по поводу непостоянства человеческих отношений, могла прельстить всякая классическая музыка на легкомысленно подвернувшейся длинной или короткой волне, лишенной всякой информационной нагрузки целых двадцать пять минут. Шкала транзистора бледно мерцала средь бела дня в рабочем кабинете участкового, и при первых же звуках музыки на пороге возникала ладная фигура Фирсова, молодого и хорошо выспавшегося пожарника, слоняющегося после суточного дежурства по улицам и проулкам участка. Фирсов смущенно задавал вопрос участковому, и уходил, не дожидаясь ответа.

— Я раньше считал, что Кузбасс — это национальность,— говорил Фирсов.— Ты не считал так в детстве тоже? Никогда бы не подумал, что это бассейн.

Фирсов уходил раньше, чем участковый успевал поинтересоваться, что же думал пожарник в своем детстве насчет Донбасса, но на следующий рабочий день, едва раздавалась транзисторная негромкая музыка, в кабинете звучал новый вопрос Фирсова — произошло ли слово «революция» от слова «револьвер» или нет,— звучал негромко и никого не принуждал к ответу. И однажды Булалаев выключил транзистор прежде, чем пожарник прикрыл за собою дверь. Но не успевший задать вопроса Фирсов одобрил это дело — против обыкновения он прошел к столу и даже сел на краешек стула без промедленья и топтанья.

— Я тоже не могу,— сказал Фирсов.— Не могу, когда скрипка. Она смычком по горлу ходит, давит... Есть выносливые люди и терпят. Никогда бы не подумал.

— Что случилось, что происходит? — спросил Булалаев, чтобы подчеркнуть свою государственную занятость, и разложил стопку чистой бумаги надвое.

— А? — удивился пожарник, привыкший оставлять вопросы без ответов, и пожал плечами.— Да ничего...

И он задумался насчет подозрительно долгого отсутствия пожаров, а потом сказал:

— Происходит драка. Случилось, что Кравченки дерутся.

— Сильно? На почве чего? — Булалаев задвигал ящиками стола, но перестал это делать, чтобы к нему вернулось всегдашнее профессиональное спокойствие.

— Да нет... Не сильно! Проходил мимо — дерутся на Гошкиной пьяной почве. А Кравченко-столяр, он Чернышевского читал. Никогда бы не подумал...— от сильного уважения у пожарника скосились было глаза: от уважения

то ли к Гошке, то ли к предмету чтения, но разошлись сразу же, и теперь выражали только привычную рассеянность и мечтательность.

— В какой стадии драка, Фирсов? До жертв и крови не дойдет?

— ... Не дойдет,— покачал головой пожарник.

— Не дойдет больше. Потому что дошло уже.

Фирсов устроился поудобней, чтобы сподручнее было стряхивать уличную пыль со штанин, и занялся этим, стараясь стряхивать аккуратно. Но Булалаев стал заставлять его покинуть кабинет и даже сени, в которых Фирсов захотел было постоять без дела.

Участковый побежал вдоль улицы — для большей оперативности он всю дорогу бежал очень быстро. Но во дворе свежесрубленного дома-пятистенка с верандой, резными наличниками и широким слуховым окном было тихо. Булалаев, не улавливающий звуков драки, огляделся. Из лаза узорчатой, резной, конуры на него молча и умно глядел крапчатый сеттер.

Когда Георгий Кравченко не пил, он строил, вырезал по дереву растительные орнаменты, и был хорошим хозяином, до тех самых пор, пока не задумывался о смысле жизни своей жены. Жена его любила приобретать и перепродавать женскую одежду, говорить о ней каждый день, а еще напоминать Георгию Кравченко под горячую руку, что в человеке должно быть все прекрасно,— и платья, и юбки, и чулки...

Булалаев все же вскочил на высокое фасонное крыльцо, но двинуться дальше не мог. Потому что дверь распахнулась, не скрипнув, на хорошо смазанных петлях,— в дверях стоял хозяин Георгий Кравченко на четвереньках, низко опустив стриженную бобриком голову с комком засохшей крови на макушке. Не поднимая головы и жмурясь от дневного солнечного света, Кравченко протягивал Булалаеву флакон одеколона «Киевский каштан» и просил:

— Плесни. Дезинфицируй. Чтобы не проникала в кровь это... мещанская зараза. Плесни. Она меня скамеечкой ударила.

Булалаев торопливо отвинтил пластмассовую прохладную пробку и стал лить на кровяной комок одеколон дрожащей и пахучей струей, прерывающейся то и дело, если встряхиванье было недостаточно сильным. Он тряс пузырек, а Кравченко вжимал голову в плечи, гнул ее к порогу и говорил:

— Вфа. Вфа.

Потом Кравченко сел на ступеньку, похожий на напарившегося в бане и уже одетого человека, и замолчал. Помутившийся взор его прояснился в ту минуту, когда во двор вбежала Кравченко Светлана.

— Скорую вызвала. В эл-тэ-пэ уведут,— кротко-кротко и обреченно сказал Георгий Кравченко, но исчез в сенях с неожиданным проворством и заперся изнутри на два оборота.

Светлана даже не стала колотить в дверь. Она только бессильно опустила кулаки перед нею и сказала:

— Все. Уйдет. Как его достанешь теперь? — жена столяра посмотрела на Булалаева с надеждой и ожиданием.— Он через чердак уходит,— добавила она для ясности.

— Гражданка Кравченко, ответьте для протокола на ряд вопросов,— кашлянул в кулак Булалаев.— За что вы его ударили скамеечкой. Ответьте.

— А-а-а...— махнула она рукой, усаживаясь на крыльцо, и, неудобно повернувшись, начала смотреть на крышу.

— Все же! — настаивал Булалаев.

— Я ему пить не давала,— небрежно отвечала Светлана, не поворачиваясь к участковому.— Я его в доме задержала вопреки намеренью встретиться с друзьями. А он без спиртного алкоголя пьяный оказался. После разговора с товарищами-собутыльниками через запертую дверь и на отвлеченные темы. Он даже босиком перед дверью стоял и мою бдительность намного притупил. И затем вернулся с запахом алкоголя, сильно напившись.

— Посредством чего? — попытался уточнить Булалаев.

— Посредством соломины и замочной скважины...— рассеянно договорила Кравченко, вскакивая с крыльца и отбегая на середину двора, чтобы лучше видеть крышу.

Крапчатый сеттер вышел тоже и стал смотреть в ту же сторону, что и Светлана.

— Перечислите для протокола фамилии собутыльников,— пошел за нею следом Булалаев, но встал ближе к сеттеру, а не к ней.

Светлана оживилась и указала пальцем вверх.

— Лезет! — возбужденно сказала она участковому.

Из слухового окна выбирался полуголый Кравченко, придерживающий одною рукой брюки, но уже потерявший на своем пути наверх клетчатую рубаху. Он вскарабкался на конек крыши, уселся верхом, обхватив обеими руками деревянного резного петуха, и стал оглядывать окрестности без суеты, на незагорелой широкой груди его синела крупная, в две строки, татуировка «Не Забуду Эстетику Чернышевского».

Пожарник Фирсов и машина скорой помощи подошли к распахнутой калитке бесшумно и одновременно, и выбравшаяся из кабины толстая, унылая женщина в белом халате стала заманивать Кравченко в машину, называя его снизу Гошей. Она обещала не отправлять Кравченко в эл-тэ-пэ. Кравченко не верил и сидел.

— Пожарку вызовем! Снимем! — закричала женщина-врач.

Но Кравченко стал смеяться, указывая пальцем с крыши на Фирсова, отгоняющего от себя шипящего гуся.

— Уедете — спущусь,— объяснил Кравченко.— Мне участковый рану «Киевским каштаном» обработал. Без бинта мне лучше. На ветру подсыхает уже.

Кравченко потрогал затылок и стал сидеть спокойно. Босые ступни его раскачивались едва приметно.

Женщина взглянула на часы, села в машину и уехала. Светлана заплакала навзрыд — она просила не писать протокола, а крапчатый сеттер медленно прошел в конуру и лег там хвостом наружу.

— Потом Булалаев возвращался к себе домой под равнодушным Гошкиным взглядом сверху. Он обошел по пути пожарника Фирсова — парень стоял спиной к Гошкиному дому, разглядывая единственную на сухой улице, но глубокую лужу и не отвлекался от этого занятия.

Старуха Баранова собрала на стол еду. Булалаев посидел за столом в странном и сильном потрясении, не пробуждавшем ни единой мысли. О транзисторе, оставленном в кабинете, участковый не вспомнил. Ему сильно захотелось сразу осмыслить происходящее, но от этого заломило виски и на выставленную старухой пищу не было сил смотреть.

Старуха опять рассказывала про речку, ушедшую под землю, и про прежний старорежимный травостой и сенокосы. Стараясь говорить погромче, он попросил у старухи таблетку от головной боли. Старуха долго молчала, вглядываясь в Булалаева с состраданием. И тогда он снова попросил таблетку.

— ...Какую котлетку? — насторожилась старуха и отодвинулась.

Не убирая со стола, она начала ходить от телевизора к комоду и от комода к телевизору, торопливо поправляя скатерки и салфетки, и шевелила сухими губами, беззвучно разговаривая сама с собою и пожимая плечами в показном недоумении.

...А потом и получилось, что дожили мы до самой

победы. Эшелоны стали приходить, солдаты с фронта возвращаются. Все на вокзал, в город, нарядные,— там музыка, поют, плачут, на гармошке играют. Ну и я — платье довоенное, креповое, надену, наряжусь и вдоль состава пробегу, всех перегляжу. Нет, не сильно я верила, что, мол, ошибка вышла и Володя вернется; знала, что нету уже Володи... А так, бегу да гляжу — чего все делают, то и я. Никакой надежды у меня нету, а дома сидеть не могу. Вот с народом на вокзале и толкусь. Ну а эшелонов все меньше да меньше.

И вот раз уже и люди все разбрелись. А всегда я с перрона последняя, считай, уходила, подолгу одна стояла. И вдруг подходит ко мне мужчина молодой, приличный, глаза умные, не очень высокий. Темно-русый такой... И внешность у него не особенная — много таких людей бывает. Видно, что ладный, приличный человек, а больше и зацепиться не за что — взгляд соскальзывает, и в памяти мало чего остается. Разве только, если приглядеться-то, ногу одну тяжелее немного ставит: и не то что прихрамывает, а видно, что не прихрамывать трудновато ему. Вещмешок сильно чем-то набитый. Опустил он его. Да и говорит.

— Гражданочка, может, вы знаете, как мне эту улицу разыскать? Улица такая-то, дом номер такой-то. Родных товарища моего погибшего разыскать я должен.

Я говорю:

— Чего-чего? А фамилия какая?

— Тарутины мне нужны,— говорит.— Такая у них фамилия.

Я ему:

— Здрасьте-приехали! Я вас сама сейчас же к ним отведу!

И так мне радостно — вроде ждала-ждала я каждый день попусту, а тут кого-то и дождалась. И по дороге разговорилась — все как есть ему рассказала: так вдруг легко мне стало говорить! Незнакомый человек, а я ему и про покойную Ксенью Петровну, и про вязельный крючочек, и про Пелагейку!.. И уже знаю, что остановиться надо — да про себя рукой махнула; пускай, будь что будет, дальше тараторю. Ну дурочка и дурочка. А день солнечный, ветерок вьется, сады отцвели, и за окошками — то в одном месте, то в другом, слышно: гулянки. А то в садах народ за столами сидит и песен много поют.

Пришли — дверь у Аркадия Ильича запертая: дома нет никого. Он мне говорит, Степа-то:

— Вы идите, я во дворе поброжу-дождусь. Если старик, конечно, никуда не уехал. Задерживать вас не могу.

И смотрю я — в чужом городе человек, знакомых, ни родных нету, а сам усталый, вещмешок у него тяжелый...

— Ну еще маленько я с вами посижу,— говорю.— А если не дождетесь Аркадия Ильича, то, давайте, я вам запишу адрес мой. Некуда деться будет — так приезжайте.

И опять на лавочке посиживаю; где воевали, мол,— а про Леню, как Леня-то погиб, ничего не спрашиваю. Боюсь, что тяжелый разговор сейчас ему не нужен, наверно, Степе-то. И лучше этот разговор ему на один раз говорить, до Аркадия Ильича оставить... До вечера и прождали! Тут я помялась, помялась — да и была не была:

— Вот чего, Степа, давайте сейчас ко мне вместе поедем. Отдохнете маленько с дороги-то. А сюда можно и завтра вернуться, когда-никогда Аркадия-то Ильича и застанете, не завтра, так послезавтра.Он еще в госпитале, бывает, и ночует. Куда вы сейчас, с дороги да с мешком, в госпиталь на ночь глядя пойдете? Тоже не очень хорошо и так получается: вдруг разойдетесь...

Доехали мы на автобусе, а к калитке моей и совсем уже в сумерках со Степой подошли. Теплые сумерки выдались, хорошие. Сиротки на крылечке своем в потемках сидят, только чепцы да юбки белеют. И я — глазом не успела моргнуть, как они обе через заборчик-то перемахнули, да к Степе на шею.

— Володя-а! — плачут.— Володя-а приехал!

А Степа не поймет, что за чудные такие старушонки на него накинулись, аж попятился, и лицо у него такое... вроде убежать бы ему скорей сейчас лучше.

Отступают, гляжу, старухи. Испугались маленько.

— У нас мамочка-а...— это Нюра-то захныкала. Да и поджалась: сердито на них Степа смотрит.

Ну, развернулись старушонки мои. Через заборчик в своих юбках перелезли — сидят на крылечке тесно, прижались друг к дружке, чепец к чепцу, и ни гу-гу.

Завела я Степу за перегородку, где Ксеньи Петровны комнатенка была — располагайтесь! На стол собрала:

— Вы есть, наверно, до смерти, Степан Викторович, хотите?

— Ох, как хочу, Катя! — он мне.

За столом сидим,— вот и у меня праздник! И уж много не болтаю, а все спрашиваю. А он... вроде и ответит, да так, что от ответа его в голове у меня ничего не остается.

— Ты сам откуда же будешь? — спрашиваю.

А он:

— Да мне тут работу присмотреть хочется. Нравится мне тут.

Ответил, называется...

— Давайте получше, Степа, уж до конца с вами познакомимся. Анохина моя фамилия. Екатерина Изотовна.

— Как? — говорит; бровь поднял, есть перестал, подумывает чего-то.

— А ваша-то как фамилия? — спрашиваю.

Помолчал.

— Одинец. Степан Викторович.

Я даже вскочила.

— Погоди! — говорю,— Погоди-ка! Да не александровский ли ты будешь? Степушка? Ты ведь на Степку похож!

— Александровский?..— спрашивает, да с оттяжкой как-то.— Даже интересно,— говорит, а сам вроде недоволен чем.

Тут я и завиноватилась:

— Деревня у нас по соседству была, Александровка, так там... И фамилия такая же. Как ведь мне показалось, что вы на Степушку похожи! А ведь теперь-то смотрю — и вовсе нет!..

Умел он так делать, что человек, прав не прав, а оправдываться перед ним начинал. И вот хочу я у него спросить про Лёню,— так хочу, а уж затомился Степушка за столом, и болтовня моя ему не нравится. И взгляд у него на меня — небрежный: незначительный я человек для него. «Тяжело вам, наверно, про Лёню вспоминать...» — совсем уж я сказать хотела, да язык прикусила. И только говорю:

— Сколько вы всего навидались, поди. Смертей-то сколько на глазах у вас было. Когда рядом с тобой человек, и знаешь ты его — а и мертвый уже человек... Как же тяжело это. Страх-то, поди, какой!

Усмехнулся он.

— Ребенок вы, Катя,— говорит.— Не страх это. А, может быть, радость...

И лицо у него тут старое стало, да гордое какое-то, вроде совсем я дура перед ним сижу.

— Да как же так...— не верю я.

— А так! — вроде как осерчал он уже и вроде кричит: — Так, что этим осколком тебя бы сейчас шарахнуло!.. А вот не тебя — а его на этот раз. А ты — уцелел! Вот и радость! — и тарелку от себя так двинул, что чуть о сковородку не расшиб.

Только спохватился сразу.

— Нервы у фронтовиков, Катя, ни к черту, не слушай ты эти слова мои. Совсем я не в себе,— говорит.— Спать пойду. Что-то я у самого себя из-под контроля ушел. Плохо это. Спасибо за хлеб, за соль...

И за перегородку сразу подался к кровати постеленной.

— Пожалуйста...— говорю,— Пожалуйста...— А у самой что-то губы трясутся.

Долго я в тот вечер еще сидела. «Прямой, простой человек,— думаю,— откровенный, не постыдился, как оно есть,— так и сказал!» А у самой слезы в три ручья: не всхлипываю, чтобы ему не слышно было, а слезы не уйму. За Володю да за Леню так обидно стало!.. За перегородкой кровать скрипнет — опять тишина. А я хорошо наплакалась, будто горечи много, которая застоялась, из меня в тот вечер вышло. И будто перед Володей да перед Леней я через слезы те чище стала. Сильно я около Степы суетилась, и от суеты этой своей вроде нечистая уже перед Володей сделалась. Да и перед Леней тоже... А тут и смыло все.

На другой день Степа как ушел с утра, так вечером только воротился. И я думала, что к Тарутиным он ездил; нет, по городу бродил.

— В себя мне сначала прийти надо,— говорит, хмурый сам.

За перегородку ушел — я и не тревожила его. Только уж спать мне ложиться — он из-за перегородки говорит:

— Катя, сможешь с работы часов в двенадцать отпроситься? Вместе бы завтра к Тарутиным съездили.

— Отпрошусь! — кричу.— Я много сверхурочной работы делала. Отпускают меня пока что. Раиса Петровна меня любит! — говорю.

Ну и застали Аркадия Ильича на другой-то день. Дома он. Да по дороге Степа-то подговаривать меня начал. Чтобы я зачем-нибудь вышла, да чтобы он с Тарутиным про Леню вдвоем без меня поговорил. Я и перечить не стала. «Ладно»,— говорю.

И как вошли — так мне за Аркадия-то Ильича страшно стало: будто усох он весь, а сам до того светится-лучится, что вот будто внутри у него сейчас что-то перегорит. Страшно за него.

Я прямо с порога:

— Ой, Аркадий Ильич! В магазин сбегаю! Тут у вас на углу, недалеко. Я мигом.

А он мне:

— Павел, Катюша, в магазин пошел. Вчера вернулся, из самой Германии.

Я и подумала тогда: ох, думаю, горе еще пережить можно, а вот радость иную тяжелее горя перенести бывает.

— Навстречу вашему Павлу пойду! — весело так говорю.— Может, узнаю его! Вы вот со Степаном Викторовичем потолкуйте!

А Степе мигаю: поосторожней, мол, расскажи.

Долго я по улицам разным ходила: вот не по себе мне — хоть в петлю лезь. Бывает же так! Шарахаюсь с одной стороны улицы да на другую, а то встану и не соображу, где я. И только помню, старушонка кругленькая одна, когда я, поди, в пятый раз мимо нее проходила, меня и остановила:

— Ох, девка, как ты туфли-то не жалеешь! — на лавочке сидит.

А я не пойму:

— Да жалею вроде, бабуль.

— А что же ты их битый час по шоссейке бьешь? Это ты их за один день износить хочешь, вот и ходишь бегом.

Тут я и думаю: пора. Вернусь — ух, все вроде хорошо. Стол у них накрытый, консервы, бутылки стоят. Павел-то — в орденах, в военной форме: капитан! — на койке сидит со Степой в обнимку. И Аркадий Ильич — ничего, улыбается. Только очень уж смирный какой-то, вот такой смирный, что против воли я Ксенью-то Петровну вспомнила, какая она после похоронки по избе ходила да моль хлопала. Поговорили, значит,— вижу: поговорили.

Налили мне рюмку, Павел подает:

— Катя, я, как ни старался, никогда тебя припомнить не мог. А вот ты, оказывается, красавица какая. Вот за знакомство и выпьем.

А я только засмеялась: тому, как он мне нравился в девчонках, да какая я парализованная становилась, как его завижу. Засмеялась, а про то молчу; выросла — а все так же признаваться-то стыдно, это ведь подумать только!

Выпили — опять я на Аркадия Ильича гляжу. И так мне хочется его головушку прижать, погладить!.. А он вот все равно — как почуять-то умел, чего на душе творится; нет-нет, очнется немножко, на меня глаза поднимает да тихонько головой трясет: «Ничего, Катя, ничего...» Ты, мол, не тревожься, не переживай, не надо.

— Ничего...— говорит.

А эти двое, Павел-то со Степаном, как начали — один про 114 дивизию свою, другой — про гаубицы, и наше дело с Аркадием Ильичом, ясно, что только молчать да слушать. Тут я и увидела, как Степушка-то ладно говорить может.

Только и вышла тут у них размолвка про немецкую машину. Я начала толком не слыхала. Но все равно поняла. Рассказывает, значит, Павел, как машина эта трофейная немецкая на покатой дороге стояла. А солдатик-то наш один подошел — и плечом навалился. Прислонился сзади. Машина-то с места и катнулась. А солдатик механик был, удивился да и говорит: «Эх,— говорит.— Какие у них машины легкие. Это они металл берегут, молодцы, додумались. Как у них головы насчет техники хорошо варят. А н а ш у д у р у вдесятером только с места и сдвинешь». Подивился — да и ладно.

— ...Так какая-то сволочь,— Павел говорит,— что же ты думаешь, донесла! Парня-то, механика, золотые руки, через военный трибунал — да к расстрелу. За восхваление вражеской техники.

И расстроился Павел-то,— вспомнил солдатика, расстроился.

— Сколько,— говорит,— смертей нелепых, никому не нужных. Парнишка этот — барометр какой-нибудь немецкий — сейчас минутку выберет, разберет: как делают, глядит. Приемник ли какой попадется — опять он в него лезет. И карманы у него все запчастями набиты, да бумажками со схемами перерисованными: домой думал везти, мастерить чего-то там...

Гляжу я на Степушку — хмурится Степушка. И осторожно так и говорит:

— Как посмотреть...— говорит.— Что же, Павел Аркадьевич, если один вражеским восторгается, другой восторгается — что же будет? Ненависти к врагу ведь поубавится.

— Да он до Берлина дошел!..

А Степушка — ладонь к столу жмет, и будто не слышит, свое гнет:

— ...А тот, кто рядом стоял, да не доложил бы — сегодня он про механикову пропаганду вражеского превосходства не доложит, а завтра что? Завтра и про что другое, похлеще, подметит — а смолчит. А ну-ка это другое — для страны опасное? А?

Павел тут и ворот расстегнул:

— Кто вправе отнимать человеческую жизнь из-за четырех слов? Кто? Это шельмой, мерзавцем, человеконенавистником надо быть, чтобы за эти слова мальчишку к стенке толкнуть. Ну — поговорили бы как-то с ним — это я еще пойму. Жизни-то хорошего солдата за что лишать? И кто больший урон нашей армии нанес — тот,

кто четыре слова сказал, или тот, кто солдата советского уничтожил?

— Э-э-э...— спокойно так Степушка говорит.— А ведь тот, кто доложил, может, тоже так думал, что поговорят с механиком — да и все? Не он — к расстрелу-то приговаривал. А власть. По законам военного времени. Военный-то трибунал — власть? Или нет?

— Власть разумной должна быть...— уже вроде остывает Павел-то.— Я бы понял, если бы тот, кто донес, взял бы его за грудки: «На врага тем самым работаешь!»... Так ведь тайно, тайно сбегал — и доложил. И уж знал, что тому парнишке за это будет! Не разговор с убежденьицем ему будет. Хорошо знал!.. Всегда это было и есть — паскудство.

— Не ему об этом думать, не ему механикову судьбу решать.— Его дело — доложить. А не расправляться да самосуд чинить. Сам он, кто сигнализировал, может и не разобраться, как тут быть,— мягко так Степушка говорит.— А трибунал для того и создан — разбираться. И один человек собою его подменить не смеет. Да он ведь, тот, и права-то такого не имел, решать, что с механиком делать: за грудки ли взять — или «молодец» ему сказать. Его решать никто не уполномочивал. Так? Это дело не его. А его дело — услыхал, так и доложи: без тебя разберутся.

— Без тебя! Без меня! Без нее!.. Без народа, выходит! Да не рабы же мы, чтобы с нами — чего хочешь, то и делай! — закричал Павел и кулаком — об стол.

А я гляжу на него — на Лёню как похож...

— Собою власть подменять — кто же это позволит? — на своем Степушка стоит.

— Мы — власть и есть.

А Степушка ему и сказать не дает.

— Это, Павел, в теории мы — власть. В теории, брат. А в жизни под власть лучше голову не совать: оттяпают. Сам знаешь: там — ни тебя, ни меня, никого слушать не станут... А если бы и стали слушать,— говорит,— то и это не лучше, когда всех да каждого слушают и по большинству голосов как сделать. Тоже ничего хорошего, а еще страшнее может быть. Выдающихся умов мало бывает, выдающиеся — они всегда в меньшинстве. А большинство — усредненного ума люди. Так вот эти усредненного ума люди, они еще дадут всяким выдающимся-то прикурить. Под свою мерку сообща подгонят, а не умещаешься под мерку — вот выдающуюся твою голову и укоротят, большинством голосов. Толпа ведь Христа на Казнь, на Голгофу послала, большинство его на смерть

послало, а Варавву — освободило. Вот и посуди, так ли это хорошо, когда ты, да я, да она решать начнем. А для чего я весь этот спектакль разыгрываю, Павел Аркадьевич,— для твоей же сохранности. Другой на моем месте знай бы поддакивал, а завтра еще неизвестно, как и чем для тебя это обернулось бы. Для того разыгрываю, чтобы ты эту историю еще где не рассказал бы. Брат.

— К черту!.. К дьяволу такую сохранность! Что ж теперь — и жить в безгласном состоянии в рабском? Фашизм победили — а раба в себе не победим, и только кивать будем, что бы ни делалось?

— Не победим,— твердо ему в глаза Степушка смотрит, не мигает.— Да и зачем побеждать раба-то в себе? Напротив, его в себе еще и ценить, и воспитывать надо. Коли жить хочешь. У тебя,— говорит,— эйфория от победы, вот ты и храбрый. А храбрым быть вовсе не умно. А надо желаемое не выдавать за действительное, а всю ситуацию просматривать надо. И больше того, что ситуация позволяет, не позволять себе, и даже не помышлять о том. Ты знаешь, что с теми стало, кто позволил себе больше. Такая порода — не выживает, отбор идет. Давно идет. И не умно этого не учитывать.

— Да ведь...— Павел-то растерялся.— Племя холуев вырастим. Мы и вырастим! Этого же потом десятилетиями не вытравить, рабства в душах! На генетическом уровне раба сформируем и взрастим, думать отучим, а значит, и болеть, и действовать, и созидать отучим! Спохватимся, скажем им через полсотни лет, новому, выращенному нами племени: думайте! болейте! созидайте!! Они и засуетятся, взращенные нами люди, да по-рабски засуетятся: чего изволите? Потолкутся, потолкутся, новые позы принимая — а действия-то от них, самостоятельного, осознанного, здравого, и не добьешься. Вот тогда и увидим, чего натворили!

— Не волнуйся! — Степушка по чарке налил и не удержался — зевнул.— Там, наверху, тоже головы есть.

— Ну, дай-то бог,— Павел буркнул.

Тут Аркадий Ильич рюмку отодвинул. А мы втроем выпили. «За тех, кто в земле...» — выпили.

Смотрю — каждый в свою сторону глядит, про свое думает. И Степушка тут засмеялся, тихо так засмеялся.

— Я ведь и сам, Павел, как ты, думаю. А воли не даю себе так думать. Потому что невозможно это сейчас, так думать. Брат.

— Поживем еще...— Павел без охоты говорит.

— Вот что,— я встала.— Ехать ведь пора.

Поднимаюсь — и Аркадий Ильич поднялся. Сидел, словечка не проронил, а тут шагнул ко мне, с тревогой взглянул.

— Иди,— говорит,— Катя.

Да и перекрестил вдруг меня. Медленно так перекрестил.

И так мне странно после того стало, вот на улицу вышла — и говорить даже ничего не могу.

Только на автобусе когда мост через реку переехали, попросила я Степушку:

— Давай здесь выйдем, пешком доберемся.

Вот и все мои слова были. А как вышли — так землей да водой, волей обдало. И день к концу серенький идет: нахмурился день к вечеру. Река тускло светится, кусты пасмурные к лесам уходят — и землей да водой пахнет. Сняла туфли, иду — далеко видно, и до самого неба кругом покоя много, а в травиночке каждой, в веточке — тоже печаль спокойная, недвижно все... И в душе так же. И только простору душе надо этого, неяркого да тихого, ничего больше... Иду-иду — остановлюсь: земля кругом большая какая, да строгая земля, тихая,— до морей, поди, самых земля лежит. И вроде тыщи лет денек этот белый стоит. И я вроде в покое своем тыщи лет вот так вот иду да иду. А Степушку и не вижу: чисто в душе — это и берегу.

Домой-то вернулись, уже спать бы ложиться, да я посуду в тазу перемываю, не тороплюсь.

— ...Что же, Степан Викторович, и жены у вас нет, и возвращаться вам некуда? — спрашиваю.

— ...Было,— говорит,— куда. Возвратился... Плохо меня там ждали.

Поднялся да на крыльцо вышел.

...И не знала я одного — что Павел-то тогда за Аркадием Ильичом приезжал. Потом уж, через много лет, Павел мне рассказал... Как про Лёнину смерть сообщение на фронте получил, так сразу и решил, что, если живой останется, как отвоюется только, так сразу за отцом поедет. Не хотел он старика одного после Лёниной смерти оставлять. Да не уговорил он Аркадия Ильича. А тот ему так сказал: вот пристроишься, женишься, тогда и видно будет, ехать ли мне. А сейчас, дескать, не неволь. Там видно будет. С тем Павел и уехал пока.

А уж после того, как от Тарутиных мы приехали, на другой день, наверно, Степушка мне и говорит:

— Мне с тобой, Катя, потолковать надо по серьезному делу.

То все про Павла мы с ним говорили. Я, мол, вот умные какие Тарутины, и Павел аспирантуру свою перед войной окончил, а сейчас вернется — капитан, так на работу хорошую, должно быть, устроится. Далеко он, говорю, пойдет.

А Степушка:

— Если не остановят,— говорит,— только.

Да чего-то раздумался. И приговаривает все:

— Пусть идет... Пусть идет...

А потом и сказал:

— Мне с тобой поговорить надо по серьезному делу.

Думаю: чего же это такое? Стол кухонный протерла, сели.

— Мне документ о высшем образовании нужен, Катя. Говорю тебе все как есть. На ближайшие пять лет для меня важно. Значит, с места на место, с квартиры на квартиру мне дергаться не резон. Хороший диплом нужен мне. Учиться заочно думаю, вуз присмотрел. С квартирой осталось обустроиться, с работой. Чтобы работа была поблизости от квартиры.

— Да зачем же вам квартиру искать, живите, Степан Викторович...

— Только сразу предупрежу, Катя,— квартирант я буду не богатый. Работу присмотрю неденежную. Надрываться с учебой и работой не намерен. Война силы отняла. Устроиться я думаю так, чтобы и о здоровье своем подумать.

— Да думайте о здоровье,— говорю.— А платы мне никакой не надо. Вы с Леней Тарутиным воевали. Какая плата еще может быть?

— А вот и ладненько. Договорились, значит. Не горюй, Катя, чем смогу помочь — помогу. Тяжело тебе одной, бедненькая...

И слова у него такие — а глядит жестко, внушительно так глядит.

— Да чего же «тяжело»? Не семеро по лавкам...— говорю.

И только после этого он ковер, из Германии вывезенный, на стенку повесил в комнатенке за перегородкой, где Ксенья Петровна спала. Над ее кроватью. Длинный ковер, до полу самого,и — тонкий какой-то, ковер-то. А на ковре такая картина чудная — лес, как настоящий, утес над лесом, и два оленя с олененком на вершине самой. А внизу-то — и яминки-ущелья, и кусточки всякие — все,

как живое, до самой мелочи, до кочечки все изображено. Я прямо подивилась — сроду такой работы тонкой не видала. Да и подумала про женщину, к которой он с войны возвращался, и которая его «плохо ждала» — не оставил ей ковер, с собой, значит, взял... И ну себя ругать: может, ему там и мешка-то развязать не дали, а ты, Катерина, уже соображаешь, что к чему; твое будто это дело. Досада у меня на себя.

Ну и на той же неделе в библиотеку он работать устроился, и лампу настольную из магазина принес. И пошло — книжки, да книжки на столе. Разных принесет, подолгу перебирает,и четыре полочки приколотил на стенку, напротив ковра своего.

А в выходной Пелагейка прилетела — глазами-то зырк-зырк, развеселилась сразу.

— Вот и жених тебе в руки прямо с неба упал! — говорит.

Только я ее сразу окоротила: не мели, чего не положено.

Да еще к Пелагейке с ночевкой и уехала. А дальше — больше повадилась: чуть только работа в субботу к концу — я прямо со склада, и домой не захожу, в город еду. И то к Аркадию Ильичу, а то опять с ночевкой к Пелагейке. Думаю, будет он еще тут гордиться-ходить, Степушка-то, а я ему буду в глаза заглядывать, как же!.. А сиротки — напрочь заходить перестали. Вечерком когда забегу к ним:

— Живые, что ли?

Чепцами трясут. А мне уж и скучно с ними, как они хнычут, слушать. Я и не долго у них засиживалась; крутнулась — и пошла. На огороде тоже возилась, но без вниманья все, кое-как — будто чего хорошего жду, а хорошего этого нет как нет. А еще в голову что́ взяла,— самой двадцати пяти лет нету, а я думаю, что старуха я и жизнь моя вся позади. Так думаю, горюю, а душа-то мне самой не верит, ждет чего-то. А я еще на это сама же и сержусь.

Зато на складе хорошо я работала, когда уж кладовщицей была. Секцию нашу расширять стали, и на полках у меня всегда порядок: сама мету, сама мою, где и не просят меня. И с документами аккуратная была, и с товаром — отпускаю на магазины, глаз не спущу. И не то что не доверяла, а из старательности. Ну Раиса-то Петровна, начальница наша, за то меня и любила.

— Я тебя, девка, старшей по секции сделаю. На тебя надеяться можно,— так говорила.

Толстая, рыхлая тетка была, Раиса-то Петровна, в башмаках растоптанных ходила. На складе у нас шептались: мол, для виду такие носит, чтоб не заподозрили ее. Да я сплетни не слушала, потому что ничего плохого такого за ней не знала.

А тут учет у нас начался. Раиса Петровна меня в помощницы — я ловкая была, быстро понимала. И с накладными разбор, и с товаром. Все мы с ней вдвоем. На складе чайник поставим, когда возиться с Раисой Петровной устанем,— напьемся и в сухомятку поедим чего-нибудь, я дома и ужинать не хочу. И один раз так я после работы — уж к полночи дело — прихожу да без разговору сразу в койку от усталости. Другой раз так же поздно пришла... Толкнула дверь — закрыто изнутри. Степушка открыл, ничего не спросил, а внимательно смотрит, сам думает чего-то. А мне и не до разговоров, голова от цифр гудит. А на третий-то день домой возвращаюсь — тоже поздно,— а ночь интересная какая-то. И небо темное, и земля темная, а дорога сама — глиняная, укатанная, в темноте-то желтым светом каким-то отливает. Бледный свет от нее, тоскливый. И присмотрюсь — бугорок ли где глиняный, обрывчик ли вдоль дороги,— светится глина. И такая тишина во дворах, что и собаки не лают. И я по этой дороге бегу, и так мне тоскливо, жутко, от света этого да от тишины, что и ног под собой не чую, а лишь бы скорей домой добежать. Вот прямо не страх на меня. А калитку едва отворила — и свет этот земляной везде померк, и темнота — саму себя не вижу. Только тут крыльцо заскрипело, и шаги навстречу ко мне, тяжелые. А меня прямо жуть взяла. «Степа?!» — кричу. А сама уж и не надеюсь, что это он. Тут он меня обнял.

— Я это...— говорит.

И целует. Совсем я его не вижу, только руки ласковые слышу, у меня и ноги подкосились. А дальше — ну как в лихорадке какой. Да вдруг на одних его словах вся лихорадка и кончилась. Среди ночи уже говорит он мне, плечо гладит и говорит:

— Катя... Я чего сказать тебе хотел... Если человек хороший понравится тебе и замуж ты решишь выйти, я тебе мешать не буду. Я рад за тебя только буду.

Вот тебе и раз, да что же это такое, думаю. Как в прорубь меня окунули... А, вон чего,— ждешь, как я сейчас тебя отговаривать буду: «Нет, да никого, кроме тебя, мне и не надо!» Только не дождешься ты этого, вот я твоих слов этих будто не замечу и будто не слыхала я их! Так

и решила, а на душе-то все равно нехорошо, мутно на душе стало. И думаю: да что же это ясно да чисто людям не живется?

Отошла к окошку в темноте, шторку отдернула — ничего на улице не видно, хоть глаз выколи. Только огонечек слабенький один-одинешенек сквозь ставни пробивается в домушке, что напротив. Чудная избушка — сроду-то по ночам огонечек в ней светится. И кто в той избушке живет — никто толком не знает. А среди ночи, не спится когда, глянешь ненароком — и уж легче — теплее на свете жить. Вот будто как в девчонках, дома, при матери, при отце, от сна страшного проснешься — а в доме-то тихо, темно, только лампадка граненая, синего стекла, в углу висит-горит. Капельный огонек живой дрожит, светит, и спокойно оттого. Стою да и думаю: как же я-от страха чуть не померла в темноте, когда с работы бежала, а на избушку, на огонек этот и не взглянула? Где мои глаза тогда были, если только и видела, как глина одна страшно светит?..

Ну и так у нас никто разговора о том, чтобы пожениться, и не заводил; ни я — ни он. А жизнь-то все равно уже по-семейному идет, и на работе я ничего никому не доложила, конечно, а все равно все считать стали, будто замужем я. И Раиса Петровна так стала говорить,— придет в секцию, сядет, ноги в башмаках растоптанных вытянет, уставали у нее ноги,— отдышится маленько, да и пригорюнится:

Смотри, Катюша, сглазят тебя. Вон счастье-то твое — все на лице написано. Ты скрывай его маленько. Мало ли какой глаз есть, приметят — да и позавидуют. Ты похитрей будь!..

А я и не пойму: про какое такое счастье она мне говорит, когда у меня все перепуталось, и не понимаю я, хорошее ли что со мной творится или плохое, и печалюсь я от неразберихи той — все во мне будто глубоко-глубоко печаль колышется и забыться не дает. Уйдет Раиса Петровна в башмаках своих тяжелых, выну я зеркальце да изо всех сил в него смотрю: что это такое на лице у меня она углядела? А лицо и вправду чудно́е: глаза не поверху, а изнутри блестят, румянец как у чахоточной какой, и выражение поглупелое какое-то стало, суматошное... Да-а, думаю, если это люди счастьем зовут — то и подумаешь еще, хотеть ли его, счастья-то, или без него лучше как обойтись.

А в осень Степушка уже учиться стал. Книжки читает,

подчеркивает чего-то, и всегда мне интересно, чего он в них наподчеркивал. Уедет он в институт или в выходные выйдет куда — я скорее, на цыпочках, к его столу, листаю, да там, где он отчеркнул, читаю скорей; думаю, глупая, что через то лучше его пойму. И что замечала,— были такие книжки, от которых он ну ровно сбесится. Вот прямо швырнет, ходит по комнатенке туда-сюда. Или ко мне на кухню явится, а сам — злой, прямо и не знаю, что! Вроде успокаивается сидит. Да я потом по его же пометкам эти места и отыскивала, да по нескольку раз перечитывала, назубок их все знала. И вот в книжке написано:

«В мировом концерте все века, прошлые и настоящие, составляют оркестр и играют в одно и то же время».— На полях вопрос жирный карандашом нарисован, с нажимом прямо и восклицательный знак: дескать, да как это может быть такое?!

«Каждое мгновенье для умеющего слушать — это хор голосов всех существ, начиная с новорожденного и кончая только что умершим; голоса эти обвиваются, подобно жасмину, вокруг колеса времени. Нет надобности, чтобы проследить путь человеческой мысли, разбирать папирусы. Они здесь, эти трехтысячелетние мысли, они вокруг нас. Н и ч т о н е г а с н е т...» — и тут уж сбоку всякого понаписано: «бред!», «чушь!»,«безобразие!».

А я не понимаю одно только: если не нравится тебе, чего же ты это читаешь да злишься,— зачем тогда и читать? Книжку перевернула — Ромен Роллан... А по мне, так все там вроде, как надо, написано. Чего бы это Степушке из себя выходить?

И вот ночами бывало так, что засыпать-то сразу жалко, ну что-провалишься в сон и будто хорошего не было ничего, и чтобы подольше это время длилось, я возьму да и спрошу чего-нибудь:

— Степа! Ведь не умру же я? Я ведь всегда была! И всегда буду. Кажется мне так... Даже если умру, все равно буду, правда же? — и светло мне, беспечально так думать. А он вдруг и осердится.

— Умрем и сгнием,— с удовольствием прямо говорит.— Мертвые — мертвы. Их — нет! Мертвы!

А я слушаю — да не верю: как же так их уж совсем-то нет? Не понимаю я тут чего-то. Чтобы совсем-то ничего не было — не представляю. А он прямо подожмется весь, слышать, мол, такие речи не хочу. Я и понимаю тогда, что лучше мне сейчас на свою койку уйти. Да так и делать стала — у себя больше спать ложилась: гляжу — ему так-то и лучше. Ну чего же тут поделаешь?..

И, наверно, с полгода мы уже тогда прожили, если не больше. Но тогда сам он говорил о чем-то, к своим же словам и сказал:

— ...Смерть. Тлен. Прах. Вот наше светлое будущее. Вот и весь наш жизненный итог.

И так эти слова во мне больно отдались. Я и заплакала вдруг чего-то.

— Какой повод нашла слезы лить? — он меня спрашивает. Спрашивает — а сам не шевельнется. А у меня, и сама не знаю, чего это вдруг с языка сорвалось:

— Ребенка я хочу, Степа.

Тут он с постели встал, оделся и на кухню ушел. Сидит там в темноте. Я долго одна лежала, потом думаю: схожу все же. Потому что чувствую — будто я боюсь его. А вот если пойду — то вроде и не боюсь. И тогда ему видно будет, что не боюсь я.

А он вроде только этого и ждал:

— Вот что, Катя, задачи-то у меня другие. Я не для того своих бросил, чтобы...

— Степа! — в темноте ему кричу.— Степа! А как же я?

А он засмеялся, меня обнял. Смеется тихонько, по спине гладит:

— Мало ты любишь меня, Катюша. Если бы любила, того же, что и я хочу, хотела бы. А не поперек того.

Голос хороший у него, жалеючи вроде говорит.

— Ты не плохой, совсем не плохой, ласковый ты, только прямой очень, вот трудно мне с тобой,— тихонько ему говорю,— Ты себя как в железо заковал этим «надо», да «не надо», а жить-то когда? Степа? Самому тебе ведь трудно так...— молчит он, а я и решилась, осмелела.— Мальчика я,— говорю,— во сне видала, мальчик лет пяти-шести, беленький, в большую теплую кофту закутанный в женскую, да платком шерстяным обмотанный, по длинному белому коридору за тобой бежит да тебя вслед спросить торопится: «Ты вернешься?.. Ты куда?» А ты будто, как вот приехал тогда, как на вокзале ко мне подошел, с таким же вещмешком уходишь... Только трудно тебе уходить. И ты на руки мальчика подхватываешь, а в лицо ему не смотреть стараешься. И назад его в комнату несешь, вроде в коммуналке комната, уговариваешь: — Посиди здесь. Мама придет, жди ее. Вернусь я... А я будто и есть его мать, да меня не видит никто, только я сама себя вижу. И не такая я, как в жизни, совсем не такая — худая, маленькая, светловолосая такая, вроде девчонки, а в годах будто...

— Она на шесть лет старше меня была...— быстро вдруг он проговорил.

А я тороплюсь, продолжаю:

— ...И закрываешь ты за ним дверь, а у двери вроде замок, что ли, не запирается, возишься ты с дверью, чтобы закрыть, уходишь опять, а мальчонка снова бежит: «Ты куда?..» И эхо от его голоса такое сильное под потолком ходит, высокий потолок в коридоре...

— Я восемь месяцев прожил с ней, когда он появился, когда родился. Она говорила, что мой он...— как во сне Степушка говорит.— Добрая она была, слишком... Все могло без меня быть.

Да будто опомнился:

— Хватит! — говорит.— Черт знает что ты говоришь...

И дверь настежь открыл, глядит в темноту, на пороге стоит.

— Пусть по этим дорогам идут все они! — говорит.— Все другие. Пусть о н и идут. По дорогам, на которых н и ч е г о н е т.

И бормочет:

— Ничего там нет. Кроме подозрений, нищеты, недоверия, бессмысленного труда, кроме кабалы. На это что ли единственную жизнь положить по мягкосердечию? Смешно!.. В этой жизни самому себе верить нельзя. А другому человеку — и подавно... Раз и навсегда это отбрасывают. Я по таким дорогам не ходок. Ради чужого ребенка — да свою жизнь псу под хвост... Нестрогая она женщина была, я шкурой почуял, как вошел,— не так она меня ждала, как надо...

— ...Да что же, если тебя одна обманула, с ребенком-то, так уж и никому верить нельзя?

Тут он обернулся.

— А почем это ты знаешь, что она меня обманула? — спокойно так спросил.— Она меня — не обманула. А только пока я сам ребенка не захочу, своим я его — не назову! Поняла? Хорошо пойми это.

— ...Поняла ты,— говорит,— чтó значит чужой-то? Мой — он только по моей доброй воле рожденный моим может быть.

И опять жестко так засмеялся: мол, тут и рассуждать-то смешно и не над чем.

А я не сильно опечалилась тогда: поживем — увидим, думаю. Мало ли чего люди говорят! А жизнь возьмет — да на другое вырулит. Сейчас ты такой — а может, и оттает душа твоя; время, оно всякое с человеком делает. И хоть трудно с ним, со Степушкой, а погляжу вокруг — вдов-то да одиноких сколько: и такого у других нет, как Степуш-

ка-то. Чего же еще, после войны-то, привередничать сильно?! Раз доля такая — значит, такая она тебе положена, вот и все... Да, вспоминаю теперь — перед самой весной это было. Потому что вскоре мы со Степой уже Аркадия Ильича с Павлом на вокзале по весне насовсем в Москву провожали.

День ясный, прозрачный выдался, тополиной смолкой, помню, сильно пахло... И воздух легкий, теплый. А в вокзале духота. Ну и вышли мы все на перрон с вещами. И Павел со Степой стоять остались — Степа такой уж прямо хороший становился, когда с Павлом разговаривал! И понимал он Павла вроде во всем — а свою линию когда гнул, то через эту линию всегда видать было, как он о Павле заботится и как за судьбу его тревожится. Хорошо мне в эти минуты было на Степу смотреть. Умный. Да только по Аркадию Ильичу поняла я: старику-то Степа сильно не нравится. Виду Аркадий Ильич никакого не показывает, а — не любит его. И вот они вдвоем на перроне — Павел со Степой — разговаривать остались, а меня Аркадий Ильич далеко в сторону отвел, да за угол какой-то. И там лесенка железная, солнышком нагретая, снаружи у стены была, села я, значит, сразу на эту лесенку. А Аркадий Ильич перильца гладит — вздрагивает рука у него:

— Вот что, Катюша,— говорит.— Неприятно тебе, может, это слышать сейчас, а все же слушай: станет невтерпеж, и если обижать он тебя станет... И доживешь ты с ним когда до той поры, что свет белый не мил будет, в эту самую минуту остановись — и меня вспомни. Богом прошу. И вот эти мои слова в ту минуту вспомни: бросай все как есть — не бойся все бросить тогда. И приезжай. Павлу накажу, снохе накажу, я умру — они примут. Такое мое завещанье им будет. А тебе — наказ мой такой на самый черный твой день. Дай мне слово сейчас, что выполнишь ты его. Без этого твоего слова твердого, без обещанья твоего не будет мне покоя, Катя.

Я засмеялась, рукой машу:

— Что вы, Аркадий Ильич...

А он:

— Нет, Катя. Слишком серьезно это, чтобы смеяться. Я тебя не смеяться попрошу. А повтори мне то, что я сказал тебе, чтобы я знал, что запомнила ты мое слово.

Ну я — с пятого на десятое:

— В самый черный свой день...— говорю.— Остановлюсь, вас вспомню. Все брошу и приеду. Обещаю.

А он мне — как подсказывает:

— ...Когда выхода никакого перед собою уже не увидишь...

— Когда выхода никакого уже не будет, обещаю.

— Ну и вот тебе еще,— конверт ненадписанный протягивает.— Не смотри сейчас,— велит.— А домой придешь — посмотришь. Ладно... Оставайся с богом... Попрощались мы с тобой.

А уж когда поезд показался, то и Степе он свое слово на прощанье сказал:

— Успеха я вам не желаю, Степан Викторович. Потому что вы и без того сами добьетесь... того, что успехом считаете. Да, несмотря ни на что, добьетесь! Такой силы, наверно, и нет, которая вам помешала бы. У вас, молодой человек, хватка. Упустить — ничего не упустите вы. Прощайте.

И к вагону пошел. Пиджачок на спине порыжелый морщится... И не обернулся ни разу. Так я его и запомнила. И больше уже никогда не видела. Последний то́ наш разговор был — на лесенке-то железной. Только Павел с подножки помахал...

А когда дома конверт тот ненадписанный распечатала, а в конверте — еще один конверт, распечатанный уже, и по штемпелю выходит, что утром Аркадий Ильич его получил. Вынула я бумагу — и вот что в той бумаге было:

«...Следы Оли Анохиной потерялись при эвакуации Люберецкого детского дома. В эшелонах с детьми, прибывших на место эвакуации, Оли уже не было...»

От руки письмо написано, почерк женский, а подпись неразборчивая...

И не знала, не думала я тогда, что день-то мой черный совсем недалеко и что приглашение тарутинское мне тут не поможет...

Старуха Баранова прихворнула на ночь глядя и потому взялась стирать в корыте тяжелые половики. Она торопливо мочила их, свивала столбом на свободном от корыта табурете и не хотела отвечать Булалаеву, что именно у нее болит, а только ругалась со своим организмом:

— Камфорного масла хочешь? Думаешь, растирать тебя буду? А вот шиш тебе в нос. Работай! Не дождешься! — глухо ругалась она, тыча кулаками в мокрый ком и теребя его.— Хворать тебе охота, в тепле лежать-вытягиваться!.. Ишь ты, чего тело-то у меня вздумало! Это чтобы я над ним тряслася да ухаживала бы. А вот тебе!.. Каплями бы я тебя поила, а ты бы пуще выпряглось!.. Как же!..

Старуха выглядела плохо. Участковый жалел ее и уводил от корыта. Но старуха толкала Булалаева локтем и сердилась еще больше, крича через силу:

— Оно у меня что отбой дает? От работы отказаться ему надо да под одеяло залезти под теплое. Вот оно под одеяло залезет теплое да помрет скорей. Отдыху хочет покойного, а — не дождется!.. Не дождется, сказала! — и сильно топала, темнея лицом.

Старуха забрызгала на участковом выношенный за время учебы и жизни в общежитии тренировочный костюм. Она забрызгала обвислый костюм мелкими хлопьями мыльной серой пены и еще раз толкнула Булалаева острым локтем в живот. Тогда Булалаев оставил ее в избе одну биться со своей хворью и пошел меж двух заборов к низкой калитке, слабо видной в ночи.

Конец августа был холодным. Под вечер сквозь плотные облака пробивались столбы солнечного света и достигали земли. Тогда всякому стоящему внизу казалось, что он живет на дне пасмурной реки, закованной льдом. И что в ледяной небесной крыше там и сям кто-то прорубил неровные лунки, сквозь которые хлынули на дно жизни воздух, тепло и солнце. Только лунки-проруби были высоко над людьми и быстро затягивались холодными непроницаемыми облаками, и тогда сразу забывалось, что солнечные столбы только что были и падали на дома, высвечивая бледные древесные линии на струганых досках, которыми обшиты срубы. Они падали отвесно на тихую землю, высвечивая редкую кудрявую старую травку и белые тончайшие корешки, вылезшие зачем-то из земли наружу и нервно вьющиеся у подножья былинок. Ночи же были безлунные, темные, плотные, и разве что в очень далеком небесном далеке две-три звезды, сгрудясь, проглядывали сквозь случайную прореху в черноте, но неверно и недолго.

Булалаев облокотился о калитку, стал смотреть перед собой в темноту и дышать ночным воздухом, пахнущим студеной речной водой и студеной тиной,— ветром тянуло со стороны речки Боярки, уходящей теперь под землю у самого полигона, но все равно терпеливо бегущей сейчас где-то в темноте к земляному неизбежному провалу, в черноту негаданных подземных пазух.

Если участковый вышел со двора и двигался бы в своем выношенном и негреющем тренировочном костюме все прямо, пройдя вдоль улицы до конца ее, то вышел бы на темный пустырь и уперся бы в кладбищенские ворота —

речка Боярка огибала кладбище справа по пустырю. Но Булалаеву не хотелось уходить от жилья.

Законы бытия и всеобщего порядка так и не открывались Булалаеву, давно переставшему слушать транзисторные передачи. Он уже хорошо знал почти всех жителей своего участка и многих упросил под тем или иным предлогом записать на бумагу пережитое, чтобы увидеть, как развивается цивилизация на участке хотя бы в последнее время. Заводские уважительно слушали Булалаева — но не хотели вести записи и объясняли нерешительно, что работа на вагоностроительном заводе не позволяет им тратить свою силу на воспоминания. Им надо копить ее — копить для дома, для воспитания детей и для самой же заводской работы на другой день. Пожилые говорили, что до запуска спутников и взрывов на полигоне можно было написать много чего разного,— в те времена в рабочих людях скапливалось меньше усталости и она легко проходила, но теперь времена везде изменились и от этой жизни никуда уже не убежишь. А молодые молча соглашались с ними и равнодушно глядели на Булалаева, втолковывающего, что радиация в их местности пока в норме и что за этим следят особо ответственные люди.

— Может, они за радиацией и доглядывают...— согласился один из них, Петр Ильич, живущий от старухи Барановой через два дома.— А ну как взрывы да запуски-то другим, значит, образом влияют? Вот то-то и оно-то, что всего не знаем... А трава вон — плохо терпит, никнет. Хоть и далеко от полигона. Может, и до людей чего долетает такое?.. А уезжать, конечно, толку нету. Там свинцовый завод... Там — цинковый... Там — серный. А дальше, поди-ко, новый полигон строят. Оборону-то надо держать? Надо. Раз такая жизнь вся пошла, куда же от нее?

Георгий Кравченко согласился отразить свою историю в письменном полном виде. Но спустя неделю признался, что записывать тяжело, потому что, во-первых, его все время «сшибает на просветителя Чернышевского», а, во-вторых, потому: что Светлана Кравченко контролирует его записи, самовольно вписывает всякое хорошее про себя, а про Георгия — плохое, и каждый день принуждает его к записям, чтобы он не пил. А по принуждению он, Кравченко, ничего на свете не может. Кравченко волновался и был недоволен собой, но твердил все равно, разводя руками и вздыхая: «От принудиловки душа у меня напротив топырится. Топырится, и саднит ее. Так саднит, что дождаться бывает невозможно, когда магазины заработают...» — и страдальчески морщился.

Булалаев вспомнил это, а потом начал расхаживать вдоль двух заборов от калитки и курятника — к крыльцу, от крыльца — к калитке, чтобы согреться и чтобы лучше и быстрее проанализировать слова Георгия Кравченко.

— Во-он-он чего!..— изумленно бормотал он, приостанавливаясь и имея в виду осенившую его догадку.— Во-он-он чего!..

Булалаев приседал, притопывал и даже бегал от охватившего его возбуждения. Догадка же была совсем простая — что порядок на свете возможен. Всеобщий порядок на свете будет действовать скоро — тогда, когда законы его будут внушены людям не принудительным путем. Участковый пока не знал лишь одного — каким непринудительным путем искренне вдохновляется человек идеей соблюдения порядка в жизни. Он не знал пока этого. Но чтобы не забыть на будущее отправную точку своих рассуждений, он твердил одно и то же, бегая вдоль двух заборов по узкой тропе.

— Каким-путем-каким-путем...— быстро и как во сне проговаривал для себя участковый, успокаиваясь понемногу.

У Булалаева к тому же оставалась еще надежда на рослую пенсионерку-уборщицу Анохину.

— Может, и будет вам писанина, какую вы от меня хотите...— как будто пообещала она.

Участковому на ветру уже давно было холодно. Он зяб, несмотря на всю свою беготню трусцой, однако все равно не шел домой, а стал глядеть от калитки в сторону кладбища и полигона, потому что вспомнил о двух людях на своем участке, с которыми он никогда не говорил. И один из них был кладбищенский сторож. Вечную же бабушку он даже и не видел никогда, хотя и не верил, что никому на свете ту бабушку увидеть не удавалось. Бабушку называли по-разному — кто Ссыльной бабушкой, кто — бабушкой Вечной, потому что-де жила она всегда. А жила она вроде бы всегда, потому что имела в своей домушке, не числящейся ни в каких документах, Книгу Жизни, которую читала и которой никому на свете больше не прочесть, потому как в ней все небесные знаки, а не обыкновенные. Булалаев слушал каждого, но не верил, а только ждал теперь, когда бабушка эта попадется ему на глаза сама добровольно. Раза два он даже стучался в избушку, на которой не было прибито номера. Он стучал, держа в руках наготове книжицу служебного удостоверения, дверь была заперта изнутри, и никто ему не открыл...

Кладбищенский же сторож внушал Булалаеву нечто похожее то ли на невнятный страх, то ли на робость,— тем, что пропалывал разбитые у самой ограды кладбища, вдоль могил, грядки лука-порея и редиса, а иногда даже срывал этот порей и ел не разгибаясь. В утреннем свете оградки и памятники, выкрашенные голубым и белым, нарядно сияли, и издали все это ухоженное кладбище на длинном пригорке напоминало странный городок, весь хорошо видный в прозрачном и легком воздухе. Кладбищенский сторож, пригнувшись, пропалывал грядки и быстро и сосредоточенно срывал и ел между делом лук-порей, а рядом с грядкой стоял криво завалившийся и ушедший наполовину в землю старый памятник белого мрамора с давно отколотым углом. На одной стороне памятника было высечено «Девица Любовь Соколова, убиенная 18 лет отроду». На другой — «Прости, Господи, вольная и невольная ея прегрешения». Булалаев долго стоял тогда молча перед кладбищенской оградой, пораженный немотой, и не сразу сумел преодолеть её. А когда преодолел, то сказал работающему сторожу: «До свиданья». И сторож сразу выпрямился и ответил Булалаеву вслед с неприятно-радушной улыбкой и как бы с особым значением: «До сви-дань-я!» И неровные неулегшиеся волосы его космато торчали над ушами.

«...Вольные и невольные ее прегрешенья»,— проговорил Булалаев вслух. Он как будто враз перестал зябнуть у калитки, и ветер затих над ним. Как вдруг едва приметное движение земли под ногами почувствовал он,— и небо за кладбищем высветилось наполовину. В световых бесшумно и широко расходящихся по небосводу кругах одно лишь единственное мгновение Булалаев видел бледное, огромное лицо Таты до мельчайших его подробностей, до темных, неровных пятен над губами, так и не сошедших после рождения неживого ребенка, до легкого прищура ее глаз. Он вгляделся получше в безмолвные светящиеся круги — и ничего больше не увидел в небе, кроме нехорошего сияния и тьмы.

Булалаев вернулся в избу. Там было тихо, и только вода капала на половицы с плохо отжатых половиков под табурет. Старуха Баранова сидела на стуле лицом к двери, сложив мокрые руки на коленях, и безмолвно плакала.

— Помру, наверно, скоро...— сказала она Булалаеву детским голосом.— Больно уж охота, чтобы мне сказочку кто рассказал... Вот ровно маленькая я, прости господи...

Старуха утерлась и выключила свет. А потом долго всхлипывала в темноте, ворочаясь на своей узкой стару-

шечьей койке. Булалаеву тоже не спалось на горбатом сундуке. Он вдруг подумал, что если бы ребенок Таты по фамилии Булалаев был жив и жил бы теперь с ним, то ни единой сказки не смог бы рассказать ему до конца участковый. От мысли этой стало так нехорошо, будто он вновь застал себя врасплох на неготовности своей к настоящей жизни. Но тут смутно вспомнилась одна-единственная — про девочку, помогающую то яблоне, а то печке. Про хорошую, много страдавшую девочку, взбивавшую снежную перину в глубоком колодце.

— ...Законы жизни — без принужденья... Вроде по вдохновенью? — спросил Булалаев неизвестно кого и уже хотел встать и объяснить полуглухой старухе Барановой про моральный кодекс, спрятанный в сказке и сказкой прививаемый.

«Вот тебе — уваженье к старости... Вот тебе — к труду тоже... Благодарить не забывай. Вот... Вот... Основа основ всеобщего порядка...» — быстро пронеслось у него в уме. Но он только вздохнул с огромным облегчением, поднял в темноте палец вверх и громко произнес:

— Миф! Миф — хранитель!

Тогда старуха Баранова, переставшая плакать за перегородкой, но еще не уснувшая крепко, замычала протяжно — и вскрикнула. И проговорила в темноте немного погодя робким голосом:

— Ох, будто в яму валюся...

Но легонько и сразу захрапела после этих слов. Вода с половиков, свитых столбом, все так же размеренно капала в ночи, словно глухо отсчитывала время жизни людей, растений и предметов.

Больше года, наверно, прошло, только стали мы со Степой сильно не ладить. Вот нету у меня с ним надежности никакой, будто по тоненькой жердочке идешь — а под ней пустота, и только и ждешь, как она подломится. И так я устала по той жердочке шагать, что пусть бы она и подломилась скорей: какая-никакая — а известность все же.

И не то чтобы он чего не так делал — я сама поперечная какая-то стала. Ну прямо сама себя не узнаю. И день ото дня только злее становлюсь, как цепная, ей богу! А вот терпи, думаю, никуда ты, Степушка, не денешься, а и денешься — один конец, все равно это не жизнь. Он мне слово — я ему десять, и сладу со мной никакого нет. А тут как раз перед ревизией Раиса Петровна мне говорит:

— Двенадцать тюков у нас неучтеных на складе, кабы беды не было. Пускай недельку они у тебя полежат, Катерина, я раньше, чего неучтеное, на такой случай к себе брала, да у меня в доме теперь ремонт, полы крашеные.

Я и не раздумывала ни минуты — знала, что ремонт: вместе за шпатлевкой с Раисой Петровной ходили, я и себе тоже шпатлевки брала, да только в зиму ничего делать не стала. Спросила я, правда:

— А как же товар-то неучтеный получился?

— А,— говорит,— накладные Павла Анисимовна не оформила, а сама в командировку укатила. Вот приедет — подпишет. Да ревизорам пока это все докажешь — еще неизвестно, на какого нарвешься.

Я и не поинтересовалась даже, чего в тюках,— с шофером нашим отвезли да в комнате моей свалили. Ну со Степой про то поговорили; объяснила я ему, что да как. И тюки эти лежат, а мы — нет-нет да и опять схлестнемся: понравилось мне смотреть, как он из себя выходит, и я нарочно его каждый день пугаю.

— Если я родить захочу,— говорю,— никто мне тут не указ.

Он уж и по-хорошему со мной пробовал.

— Тебе же я добра,— говорит,— желаю, Катя. Из чувства ответственности, можно сказать. Другой бы тебе наобещал с три короба, а как ты ребенка на ноги поднимать будешь — и не подумал бы про то. А у тебя вся жизнь впереди, что ты ее ломать себе будешь, если я тебе не помощник в том, что ты задумала. Я потому и не обнадеживаю тебя понапрасну.

Только от меня все это — как горох от стенки отлетает:

— Я сама право имею, как мне надо — так и решу,— вот такая поперечная стала.

Он один раз не выдержал, да и сказанул в сердцах:

— А это еще доказать надо, от кого ты родишь, если родишь только.

А я ему:

— Чего-чего? — а у самой слезы из глаз брызнули и по сторонам гляжу; ну, думаю, что-нибудь под руку подвернется — убью так убью. Психованная я что-то совсем была тогда.— Да что ты за человек такой, что никому поверить не можешь?! — кричу.

Тут он и совсем из себя вышел.

— А кому,— кричит,— я верить должен? Кому?! Я мальчишкой в дом забегал, а чужой мужик моей матери в углу подол задирал. Пока отец с артелью плотничал. Красная, смеется... не отбивалась... У меня в глазах это

всю жизнь стоит. Кому? Кому верить? Тебе, что ли? Ты — мужа своего долго помнила?

Я — только руками всплеснула. Не обиделась даже. А вроде пожалела его:

— Да что же ты нехорошее-то про мать помнишь, разве же хорошего — не больше было? Степа! Не прощать — как ведь это больно, Степа! Как ты с такой болью живешь? Ненавистью изойдешь весь, если за людьми плохое помнить. Человек — он разный, а хорошее ты что же за ним не видишь, не ценишь?

А он засмеялся, нехорошо засмеялся:

— А с чего это ты взяла, что больно мне и что исхворался я прямо весь? Да стоит ли это боли-то моей? Я не разжалобить тебя хочу, а только сказать, что знаю — знаю, что почем на этом свете и чему какая цена. Знаю я эту цену...

— Да ты-то тут при чем, если я сама для себя только про ребеночка решаю, а тебя — и в расчет не беру. Ничего от тебя не надо. Переживаешь-то чего? — да тут чудная какая-то мысль мне в голову пришла.— Вон что!..— говорю.— Поняла я, Степушка, для чего тебе это так надо — плохое-то помнить. Когда ты хорошее в человеке видишь — то вроде в долгу ты перед ним. А плохое увидал, да только про плохое думать начал — вот ты от этого человека по всем статьям уже и свободный, и ты — чистый, и ничего не должен никому. Вот ты плохое-то и видишь. Потому что — тебе выгодней оно.

Он смотрит — как в рот воды набрал, остолбенел прямо.

— ...И про ту женщину, от которой ушел,— говорю,— тебе нужнее плохое было про нее думать. Сильно же ты хотел, Степа, чтобы она тебя не так, как надо, ждала. А если бы и точно знал, что она по чести-по совести тебя ждала, так все равно не поверил бы ты ей. Вера — она ко многому обязывает. А неохота тебе обязанным-то быть. Потому тебе и легче, и перед собой самим выгоднее, нужней тебе — плохое видеть, вот чего, Степа.

Тут он к себе уйти хотел. Да приостановился, и лицо у него бледное:

— А не боишься,— говорит,— Катя, что лишнего ты мне сейчас наговорила, и что не твоего это ума дело? Уйду я ведь после этого от тебя.

И всматривается, ждет, чего я скажу. А я улыбаюсь только со зла-то — вроде как я верх над ним одерживать научилась, и от этого во мне торжество нехорошее, недоброе. Молчу, улыбаюсь — нарочно молчу.

Ну и опасаться он стал после того ко мне подходить, я — на свою койку, он — на свою. Да поздно он спохватился. Ничего я ему не сказала про свои дела, только руку на живот себе положу — и хорошо, спокойно мне: не одна уже я. Картошку на огороде просушенную собираю, в погреб ношу — ведра неполные насыпаю и работаю полегоньку — берегусь.

А он все придет поздно — и один день, и другой, и третий — буркнет:

— Квартиру я подходящую искал, неудачно пока. Потерпишь немного, я думаю.

— Потерплю! — говорю, и опять — с улыбочкой.

А тут что-то и искать перестал. С работы придет — поест молча, лежит целыми вечерами, думу свою думает, и книжками уже не занимается. Не знаю, может, решил, что вот-вот образумлюсь я? Только где там! — он молчком, и я молчком. А однажды еще взяла да и посмеялась назло:

— А если ребеночка-то рожу...— так еще и женишься на мне, не денешься никуда!

И сроду у меня этой мысли в голове не было — удерживать-то ребенком его около себя, а только так уже — смеялась над ним и нарочно озоровала. Специально вот, можно сказать, смеюсь.

Тут уж внимательно он на меня посмотрел, ничего не сказал. И зрачки у него — сильно холодные стали.

А через три дня приходят ко мне с обыском. Ну и все. Забрали меня... Только перед очной ставкой Раиса Петровна успела, шепнула мне:

— Отпирайся от всего, как знаешь, а то всем хуже будет только.

И шофер на нее показывает, что ее распоряжение было, со склада тюки с шубами из натурального меха вывозить, а она на своем стоит:

— Шубы не с нашего склада, у нас по документам полный порядок. А что вас шофер путает, я не знаю. Вот вы того, кто вам сигнализировал да кто анонимку писал, найдите,— тогда и разберетесь, кому это надо все на меня свалить.

И я следователю твержу, что и не знала, чего в тех тюках было, а он мне:

— Как же не знали, гражданочка Екатерина Изотовна Анохина, если все тюки, которые мы от вас вывезли, еще и подпоротые были. И где вы их взяли? С неба они вам свалились?

Все я понимала, что отпираться надо. Да как отопрешься, когда тюки-то у меня были.

...Домой меня до суда не отпустили уже. И Степу только раз на свиданье ко мне ввели, пока под следствием мы были. Я ведь думала, что не придет. Пришел. Смирный.

— Чего,— говорит,— Катюша, принести тебе? Из еды чего, из одежды?

— Ничего мне не надо из еды,— говорю.— А соли ком большой принеси мне. Я полижу ее, чтобы пить. Пищу глотать не могу я что-то совсем. И тряпья какого-нибудь ...ненужного.

Ну, мне только соль в камеру и передали. А уж вместо тряпок подкладку на пальто рвала; как забирали меня, я что-то зимнее пальто не глядя с вешалки сняла и одела впопыхах, ну и пригодилась подкладка... Не выдержал ребеночек-то мой... Не знаю, как и выжила.

Плохо помню про суд — мы с шофером как сообщники шли, и я уже ничего перед собою не видала: кругом будто туман сплошной, голова сильно кружилась. В январе как раз нас судили... Так до тех самых пор, пока в пересыльной женской тюрьме под душ нас, заключенных, не отправили — все туман в голове стоял. А как только вода полилась — вот под душем и опомнилась я. Запахи чуять опять стала — как прелым да ржавым сквознячком обдает. Дальше все уже хорошо помню: и как везли нас, и распределитель помню, и лагерь общий, и бараки... Высоко от полу окошки маленькие, и всю ночь в них прожектора бьют... И только одна у меня думка была: хорошо, что мамонька мертвая, и нет ей из-за меня горя, и хорошо, что Оля, если живая, не нашлась, да ничего не знает про меня — сестру.

На всякий народ я там насмотрелась. На нарах поначалу такое место мне выпало — блатные одни кругом. Да с одной воровкой я и сошлась было — высоко она себя ставила, Кира эта, высоко понимала. Только перешла я на место похуже, к двери ближе,— к самому месту отхожему. К тетке Калинке перешла — Калинко фамилия ее была. Гляжу — сидит женщина пожилая. В красных чувяках сидит, за живот держится и все-то плачет. А Кира-то, соседка моя, поначалу со смехом про нее:

— Небось,— говорит,— как с сыночком своим поросенка с фермы вертонула — так штиповая была. А как Гапка их накрыл — так с того момента и утирается, не перестает. Она со своим сынком-кугуном, с колхозником этим, в жизни своей больше косули и денег-то не видали.

Городушница она считалась, Кира,— воровка магазинная.

— Я не отвертница какая-нибудь, которые с прилавков тянут. Я с кабурщиками работала. А они — хоть стенку, хоть крышу разберут, а то и подкоп выроют...— так про себя объясняла.

Да только была там одна, которую и эта самая Кира, сдается мне, побаивалась. Худенькая, ладненькая женщина, молодая, и глаза — страшные, необыкновенные, до души самой достают. Характеру-то в ней, видно, много было. Про ту Кира, помню, громко и сказать боялась, а шепотом только:

— ...За ней чертова рота не год, не два по Москве бегала,— шепчет, оглядывается.— Клюквенница жгучая, известная — храмы да церкви оббирала. И шушеры всякой тут полно, а таких-то уркаганок — мало на свете.

И все-то эта женщина одна была; уж совсем бесшабашные блатные, а и те от нее подальше держались, так, что теснота на нарах, а возле клюквенницы-то — и место свободное по обе, значит, стороны.

Ну и оказалось, что все правильно про тетку Калинку Кира мне рассказывала: сын ее свинью с фермы украл.

— Ой, бес попутал, бес попутал,— плачет.— Да как же ж я ему, дураку, говорила: зачем ты ее домой припер? Тащи, Витька, назад, голова твоя садовая! Тащи, пока не рассветало! «Эх! — говорит.— Зря что ли я ее месяц дрессировал? А завтра на мясокомбинат сдавать. Она у меня в мешке даже не хрюкнула, а рада была, что я ее к себе забираю». Вот полюбил эту свинью на свою голову, и она за ним — по пятам ходит. А утром и милиционер чуть свет в окошко стукнул. Я Витьке-то: «Иди отворяй! Напакостил — сам и ответишь!» А все же — сын, жалко мне его. Пока он там с засовом-то возился, так я эту чертову свинью — поверишь-нет? — одним махом тем времечком через забор и перекинула на улицу прямо. Перекинуть-то со страху перекинула, а подорвалась с тяжелого подъему, грыжу себе и заработала. Визгу свинячьего много было, а толку никакого. Как ненастье на дворе — уж так она у меня, грыжа, ноет, так болит, что спасу нету. И не взялась бы я за ту свинью — лежала бы сейчас на печке, а так выходит, что сыну пособляла воровство скрывать. Вот ведь чего образовалось. ...А свинья та, зараза прирученная, вокруг двора в минуту оббежала, и мы милиционеру во дворе толкуем — «нет никакой свиньи, не знаем, и не было ее у нас», а она, вот ровно черт какой, позади Витьки уже стоит и на милиционера глядит молчком... А грыжа-то — ох ведь как болит, это дождик к утру пойдет.

И вот сколько я писем в зоне теткиной снохе написала,

сколько ей их перечитала, а сама — ни одного не получила, и ни одного не отправила. За все-то время — ни одного. Ночью с теткой Калинкой рядом лежу — она и во сне все пристанывает: нет-нет — да и вздрогнет, и дернется вся,— лежу, в потолок смотрю, и рада до смерти, что никто на свете меня не видит, где я нахожусь, да как дни и ночи арестантские свои коротаю. Так ведь ко всему человек привыкает! Намаешься за день на пищеблоке — на пищеблок меня работать поставили,— и так уж своему месту в бараке рада к ночи я была; и ни духоты, ни вони не замечаешь уже, будто так и надо.

Обращенье с нами всякое было... Старшину одного на всю жизнь я, считай, запомнила: напудренный и губы красил. Так тот прямо зверь был! Никогда просто так мимо не пройдет. А либо ткнет изо всей силы — либо сапогом пнет. А вот и к этому человек привыкает!.. Так привыкает, что, когда из зоны меня на волю вывели, такой страшной мне эта воля показалась! Как там, позади, жить — знаю, притерпелась. А впереди-то что? Вот хоть назад возвращайся: мол, тут я лучше останусь, и жить мне после самой еще ужасней будет, чем срок отбывать взаперти. А ведь как я этой минуточки все время ждала!.. Вышла — кому нужна? Кто меня на белом свете ждет? И разве же сидевшему человеку хорошая там доля припасена?

Ох, и не люблю про то время вспоминать, а вот все же нет-нет — а приходит оно в голову само по себе. Непрошеное к тебе идет, и никуда его из души не выкинешь.

И вот в поезде уже еду, в вагоне-то вольном, на людей гляжу — и одеты они все по-другому, и чужие какие-то все, и побаиваюсь я их вроде... И так мне домой неохота, к той жизни, с боязнью этой своей! Все равно уже все корешки те подрезаны, да разве же их опять все приживишь? Чтобы все как раньше-то побежало? Нет, думаю, не приживить. Зачем еду? Куда-то ехать надо — вот и еду. И по вагону сторонкой мимо людей прохожу — да приметила чего, как женщина одна чуть не всю пачку чая в кружку сыпанула, да пошла кипятком заливать, к титану. Ох, знала я, кто такой чаек попивает. Да что-то прямо как своей ей обрадовалась. Дождалась, когда назад она пошла:

— Гражданочка,— говорю,— извините вы меня, а сидеть не приходилось вам? — тихонько сказала, жду, чего ответит.

А ей кружка руку жжет, она — за платком носовым в карман, пока руку-то обмотала, да перехватила кружку эту, все молчала. А тут глаза подняла, засмеялась:

— А чего так подумала? — говорит.— Что? Наверно, я на такую похожая, которая из ревности насмерть прибить может? Так, наверно? Похожа, что ли?

Боевая бабенка-то,— и красавица: лицо чистое да смелое, глазищи широкие. И статная. Ничего не скажешь. Видная. А — простая.

— Да я вот увидала, сколько вы заварки в кружку ахнули, думаю, может, как у меня судьба-то закрутилась.

— А едва-едва,— говорит,— так она у меня именно чуть было не закрутилась, судьба. Вот от нее и бегу. Я ведь наполовину сейчас не понимаю, чего делаю. Заварку сыплю — а думаешь, вижу, сколько сыплю? Ни черта не вижу.

И стоит, сама над собой смеется.

— У тебя кружечка какая или стакан есть? Давай я тебе отолью половину и кипятком еще разбавим — деготь и деготь получился,— говорит.

Ну и за столиком пристроились, давай чаи гонять — повеселее мне с ней стало.

— От мужа,— говорит,— уезжаю. Митягин. Слыхала? Его тут, по приискам, все знают.

— Нет,— говорю.— Откуда же я про него в зоне услыхала бы, я ведь и не здешняя.

Она плечами жмет:

— Не знаю, как это ты не слыхала, когда весь свет про него слыхал. Мне кажется, его все знать должны. Уж выше и красивей Митягина моего — по всей Сибири нет!

— А что же уезжаешь? — спрашиваю.

А она меня и не слышит.

— ...Вот идет мой Митягин домой — земля под ним дрожит,— рассказывает.— А в дверь два раза — никогда не стучал. Один раз стукнет — в ту же минуту не открою, он — хлоп по двери! — дверь и повалилась. Шибанет — она с петель долой. Вот как... А вошел, дверь на место приладил. «Надежда, встречай!» — кричит... Как я капусту солила — не любил. А мастерица по капусте у нас была бабушка Фролова первая. Утром он не ест, а на лесоповал мимо бабки идет: «Бабка! Рассолу твоего душа просит!» Бабка Фролова сейчас ему банку трехлитровую на крыльцо вынесет, рада, что он ее везде хвалит. Да его все привечают, Митягу-то... Митягой его все зовут — ну и я тоже. Выпил, запел — дальше пошел. Как мы с ним на два голоса поем, из других приисков слушать наезжают.

А я опять про прежнее:

— Бросила-то чего?

— А чего...— говорит, долгая история... Лесничиха у нас овдовела, трое детей у нее. Видала я ту лесничиху,— то

ли татарка, то ли калмычка, не поймешь. Ветром качает, на живую нитку слаженная... И ладно бы баба была, а то — так, немочь бледная. Идет...— а ножонки в валенках болтаются. Маленькая бабенка, худющая — аж мне и то жалко ее, сердечную. Вот и говорят: к лесничихе твой Митяга ходит. А я только смеюсь: чтоб попусту не говорили, давайте мне сани! Отвезите к лесничихиному дому, сама увижу — так поверю и Митяге про ваши слова не скажу. А не отвезете — вот придет, так и выложу все! Все выложу, чего мне наговорили... Нашли мне сани, к лесничихиному дому отвезли, стоим за березками, снег по колено. Гляжу — точно. Идет мой Митяга, валенки веником на крыльце обметает. Ладно, говорю, ваша правда, гоните назад, везите домой... И ничего я Митягину своему не сказала, потому что хоть и сама видала, а — не верю насчет лесничихи, и все жду, как он сам скажет, зачем он туда ездит: уж не затем, зачем люди думают. А мы вместе и посмеемся тогда. И вот проходит недели три — Митяга домой веселый идет: «Надежда! Айда за стол, посидим! Разговор есть!» Бутылку — на стол, да и говорит: «Женюсь я, Надежда!» Я говорю: «Погоди, Митяга! Как же ты женишься, когда ты женатый, а женатый — на мне? Как же ты — мой муж, а женишься?» — «А вот на лесничихе, Надежда, я женюсь». Сели мы с ним, обнялись: «Иди,— говорю.— Живи! Два месяца тебя ждать буду. Поживется там — оставайся. А не поживется — назад придешь». Через два месяца, день в день, идет. «Зараза она,— говорит.— И так, как ты любишь, ей сроду не суметь. И до чего,— говорит, бабенка паскудная! На каждом ведь шагу врет. И хитрее себя самой хочет быть. Такой твари,— говорит,— в жизни не видал. А вот прикипела — к самому сердцу прикипела, змеючка! И назад от нее мне, Надежда, ходу нет. По-хорошему мы с ней не разойдемся, а либо мне не жить, либо ей не жить, Надежда, так она в меня вся влезла. Ведь ногтя твоего не стоит,— а не могу без нее, и все тут!» «Я ведь,— говорю,— уеду тогда. Уехать мне, что ли? Я ведь, Митяга, тебя люблю». «Уезжай,— говорит,— Надежда. Сегодня я к ней не пойду, а с тобой на расставанье побуду. Дороже тебя у меня никого на свете нету и не будет. Одна ты у меня, Надежда, и всегда одна будешь. А тут добра все равно ждать нечего, да увяз я. Напрочь увяз». И вот в первый раз я увидала, как мой мужик плачет,— когда меня на поезд провожал. И это чтобы Митяга-то заплакал! Никто и никогда в это не поверит. «Вся ясная моя жизнь с тобой, Надежда, уходит!

Вся ясная жизнь моя — ты. Туман и смрад впереди. Ужасный, говорит, смрад-туман. А другой дороги — нету».

Ну и что сказал Митяга мой один раз — значит, отрубил: по-другому уже не бывало, надейся-не надейся. Простояли мы с ним на вокзале в обнимку полчаса, считай. А тут и поезд. Ну вот и видишь — еду! Куда еду — сама не знаю!

Тут и я ей свою историю рассказала. Слушала она слушала — да и говорит:

— Ну и куда ты разбежалась? Наплюй ты на избушку свою! К кому едешь? К бухгалтерам, да кассирам занюханным городским, которые по будильнику встают да на счетах в нарукавниках считают? Пока молодая ты — поезжай туда, где настоящий народ! Хоть в Тикси, хоть в Магадан, хоть — в Находку! Свет-то — он широкий, вольный! Да хоть к нам бы поехала, у нас Дом отдыха в двух километрах для геологов — сроду там обслуги не хватает. Я там кастеляншей полгода проработала, пока мне Митяга мой не сказал: сиди дома, чтоб глаза на тебя никто не пялил! Приедешь — скажешь: Надежда прислала... На Митягу моего хоть взглянешь... А то так и помрешь — не увидишь, какие мужики-то настоящие бывают! — да и призадумалась.— Как мне,— говорит,— Катерина, спеть сейчас охота. Так внутри-то наболело, вот спела бы я, чую, отпустило бы. А и спеть нельзя...

Поджалась, сидит. И улыбается: у самой слезы на глазах — а, нет, улыбается!

— Пой! — говорю.— Пой, Надежда, чего тебе рассуждать — «можно» да «нельзя». Все можно. Пой, коли охота.

Ну и запела она, со своей улыбочкой этой запела — а голос-то! Богаче и не слыхала я никогда...

— Наколола ноженьку, да не больно —
Любил меня миленький, да недолго...

И не заметила я, как тут тишина в вагоне наступила и как народ неслышно подошел. И только вижу — у людей с первых-то слов ее — лица какие! Лица какие стали! Как на чудо глядят — а без слез и слушать нельзя, как она выводит.

— ...Наколола ноженьку, да не больно,
Об острую травыньку, о полынку...

Да, один раз в жизни, поди, такое-то слышат... Разбрелся народ. И долго в вагоне потом было тихо... А она ко мне лицо повернула:

— Поезжай к нам, Катерина! Сходи на остановке — и поезжай! Чего тебе та жизнь далась? — быстро говорит, да прямо велит мне.— А Митягу увидишь — поклон мой последний передай!..

— Да ты сама-то куда? — спрашиваю!

— А хоть куда! — смеется.— Так мне теперь все равно — что и разницы никакой нет, куда! Везде не пропаду. Жить, Катя, дальше надо! Вот дальше и поживем! Да привет-то мой — передай!..

И как же долго я потом ее голос слыхала! — уже в Доме отдыха этом самом работала, где она велела,— среди дела ли какого, среди ночи ли — а вдруг ясно так слышу голос ее. Вроде рядом она — руку протяни,— поет, а только саму ее — не видно. Каждое словечко само выпевается — да на половине и смолкнет, как и не было ничего. А там, глядишь — опять поверху зазвучало:

— Об острую травыньку о полынку...

Как отошла я маленько в Доме отдыха-то — кастеляншей меня взять хотели, а не пошла я, материальная ответственность какая-никакая, бояться я стала этого дела, в уборщицы коридорные напросилась, да с тем, чтобы комнатку дали,— как отошла да обживаться маленько стала, одежку завела, с работницами сошлась, поспрашивала я тогда про Митягина ее. Мне и сказали: уехал Митягин с лесничихой, да с ребятишками ее, под Красноярск на прииск. После того вскоре вроде бы, как Надежда-то уехала, Митягин-то вроде и не то, чтобы помешался, а чего-то ему мерещиться что ли стало. Чего-то слыхать он стал. Мужикам говорил по пьяному делу, только никто не понял ничего. Ну, лесничиха-то — его от греха в охапку, да быстрехонько-быстрехонько и собрались, укатили. От этих мест, значит, подальше. Да он уж как вареный, Митягин-то, сделался — чего с ним хочешь, то и твори: под Красноярск — так под Красноярск. Ну оклемается, может, здоровьем бог не обидел,— так рассуждали.

И еще одному я дивилась тогда — вот как чудно человек устроен! Ну в чем и перед кем виновата я была? А работу все лишнюю себе ищу. Так стараюсь, вот будто вина какая на мне. Мало мне того, что коридоры у меня на всех трех этажах, их намываю — еще огромные окна, от потолка до пола, мою. И такая красота передо мной, чистая да белая, будто по самой вольной воле рукой-то водишь; по сопке, да по соснам, в снегу до неба самого, вот какая красота-то в окнах была... А как иду куда — самой же мне за спиной все равно конвой мерещился.

Про вину ту, настало время такое, что сказала я человеку одному; откуда, мол, она, зачем, чего делать-то с нею, если привязалась она? И сказал мне тот человек: а каждый из нас и есть виновный, да не каждому дано чувствовать это. На каждом вина есть. Ну и объяснил все. Пришло такое время.

В зиму геологов много в том Доме отдыха было. Не мелочный народ, конечно, широкий. Что и говорить. А тогда законы новые пошли, с мелким хищением строго судили, и горничная, а лучше сказать, так уборщица по номерам на первом этаже чего-то по судам бегала да оправдывалась — у начальника из шестого номера вроде портсигар серебряный пропал. Он и спросил невзначай у дежурной по этажу, не попадался ли портсигар на глаза? И ни на каком разбирательстве не настаивал, а там уж сама дежурная инициативу проявляла. Вот горничная и бегала, доказывала, что не брала ничего. А номера-то все равно убирать надо — так я сама ей сказала:

— Ольга, свои дела улаживай, поубираю я комнаты твои. Сколько тебе надо будет, столько и поубираю. За это не беспокойся.

И вот с утра, помню, в первый же номер как вошла с ведром, тряпкой да веником — а там беспорядок-то! Окурков полна пепельница, бумаги по столу все в расстил, а одежда рабочая, грубая, как попало свалена. Прогоркло от табака в номере — не вздохнуть, горечь настоенная в воздухе стоит, хоть ножом ее режь. Я — форточки настежь обе, одежду разложила аккуратно, все, что надо, перемыла. И на самом пороге уже тряпку в последний раз отжимаю. А дверь и открылась. Человек, вида робкого, вошел, с висков лысоватый, в очках толстых — таких толстых, что глаза за стеклами ненормальные какие-то кажутся. А лицо нездоровое, серое лицо, и коричневым отдает — у больных да у табачников такой цвет бывает. И морщины жесткие такие. Переступил — ни здравствуйте вам, ни других слов, а только все оглядел, даже и не прошел от порога-то. Да вдруг мою руку мокрую от тряпки отнял одну, да осторожно и поцеловал. С тем я и вышла. Вот как.

С дежурной по первому этажу не сильно мы друг дружку полюбили, но разговор между нами кое-какой бывал все же, хоть сильно и не о чем говорить было: она-то вся нацеленная была, как бы заведующей стать, и все на то наводило, какая старушка-то наша, Вера Сергеевна, непонимающая в текущем моменте и политически ограниченная. А мне, понятно, в это все вникать не с руки,

и я этой дежурной — совсем про другое что-нибудь скажу: вон, мол, дворник хорошо дорожку в снегу прочистил. Ну, она у нас себя за сильно умную держала и вроде бы дурости моей такой не удивлялась. И вот раз она мне, дежурная-то, говорит:

— Не заметили вы,— говорит.— Что вот газеты я свежие только развернула, а наша Вера Сергеевна как шла по коридору, так мимо меня и прошла и не поинтересовалась, чего нового о здоровье товарища Сталина сообщают?

— Разве? — говорю, а сама опять про другое скорее норовлю: — ...А я вот спросить хотела, кто такой у нас в первом номере живет.

Она нос наморщила, подплечник ватный под пиджаком поправила.

— Сумасшедший,— говорит,— живет. Очень подозрительный. Не удивлюсь, если он сумасшедшим только прикидывается, а на самом деле подрывной агитацией занимается, либо в какую организацию входит. Я про это еше в прошлом году думала, как на работу поступила, он тоже в феврале у нас жил тогда. У него там бумажек на столе ты не видела? Он ведь пишет чего-то?

Я вроде задумалась:

— Так,— говорю.— Папиросы у него на столе были,— палец загибаю,— «Бокс» папиросы были... Или не «Бокс»? Или «Север», или «Бокс»...

— Посмотри в другой раз,— говорит.— Чего в них. Не то что из подозрительности, а на всякий случай. Он из поискового отряда, а в поисковиках сброду — всякого. Это тебе не из управления геологического начальство, на десять рядов проверенное. У него народ в прошлом году собирался, и — что я заметила — он никакой не начальник отряда, а влияние на начальника, видно, имеет. Потому что из тех, кто к нему ходил в номер,— слыхала я потом,— двое уже из своих отрядов поисковых в этот отряд его перебрались. Просто так это не бывает, потому что когда никакой агитации человек не ведет, люди с места срываться не торопятся сломя голову. Посматривай, а то выйдет, что не смотрели мы, а тем самым — поощряли. Я бы,— говорит,— и сама посмотрела. Да он ключ никогда не сдает мне. А только либо горничной уборщице, либо другой дежурной, если ненадолго выходит. Тоже подозрительно. Опасается, значит, чего-то. А у Веры Сергеевны я второй ключ просила... И объяснила ведь все,— так она мне, представляешь, не дала. «Не дам»,— говорит, и все тут... Может, и заодно они? Чего бы вот ей ключ мне не давать без причины? Если причины никакой не было бы?..

А я стою да киваю:

— Угу... Угу... Угу...— много таких речей слышишь, так уже и в душе ничего нет; знай кивай да не перечь, да ни во что не вмешивайся. Вот, как филин какой, головой-то и трясешь. Но, опять же, и переугукать боишься. Лоб-то я наморщила, да и говорю:

— Роза Викторовна, вспомнила я...— тут она вся ко мне и подалась.— Вспомнила. «Бокс» папиросы были!.. Точно, «Бокс».

Она плечиком ватным дернула:

— Хорошо, хорошо... Убирай дальше. Где,— говорит,— у нас нитки, чего-то у меня в плече непорядок.

— Ой! — говорю.— Я же катушку с иголкой, которая здесь на столе стояла, в тумбочку прибрала.

— А-а...— она говорит.— А я подшить приготовила, туда-сюда — и не найду никак. Я ее в столе, рядом с ключами держу.

— А я, мол, так целее будет...— говорю, а сама думаю про себя: подальше от них обеих держаться надо. И от Розы Викторовны, и от Веры Сергеевны. Как бы греха какого не было. А вот через неделю сторожа отправят на санях белье в прачечную отвозить, так надо с ним будет напроситься, да в швейной мастерской пиджак себе такой же, как у Розы Викторовны, заказать. Ну и дальше день деньской тряпкой вожу — со шваброй полы мыть так и не научилась: сроду у меня то ручка в стенку стукнется-упрется, то тряпка с палки сползет.

Только недели не прошло — и как же меня эта Роза Викторовна удивила. Идет по коридору Борис Иванович, из первого номера жилец. И ведет с собой кого? — Бродяжку высокого ведет, сутулого. Весь-то бродяжка этот обросший-замерзший, а видно все равно, что цену себе очень понимает. Я и обмерла! Чего этот Борис Иваныч делает — скандалу ведь не оберешься. То она его за ключ только ругала, а теперь и вовсе не пустит она их, выгонит! А она — и ни про ключ ни слова, ни про гостя, а только приветливо смотрит и — молчит! Да что такое, думаю, на белом свете творится? Это здесь что-то не то. Сидит этот бродяжка у Бориса Ивановича и час, и другой — Борис Иваныч только в буфет наш сбегал и со свертком — назад. Да и в ночь тот человек не ушел, а в первом этом номере остался. А Роза Викторовна будто и не видит, будто не знает ничего — в дежурке нашей, где ночные дежурные спят, отдохнуть пристраивается на топчане. Прошла я через дежурку, ведра в кладовку составила, да мимоходом ей возьми и скажи:

— Роза Викторовна, вы про жильца из первого номера спрашивали, а у него почерк непонятный, все цифирки какие-то на листочке...

Говорю, а у самой сердце обмирает: чего же это я делаю? Сочиняю напропалую — и сама не знаю, что сочиняю.

А она мне:

— Там что — второй час ночи уже? Допоздна ты, Екатерина, возишься,— и одеяльцем казенным ноги себе кутает.

Я — и сама не своя:

— Спокойной ночи,— говорю.

— Спокойной ночи,— говорит, позевнула.— Минут двадцать подремлю, опять за стол пойду... А ты, Катя, то, что я тебе тогда толковала про первый номер, забудь. Забудь. Все тут очень нормально должно быть.

Я — с порога, лицо поглупее сделала,— спрашиваю:

— А чего так, Роза Викторовна?

— Обе мы с тобой многого важного не знали,— говорит. — А теперь нам насчет этого человека и успокоиться можно. Он знает, что делает, и зря ничего не натворит.

Топчусь я на пороге, недоумение всякое, как могу, на лице выражаю: вроде сообразить чего тужусь. Тут она мне с топчана:

— А вот,— говорит,— не знали мы, Катя, из какой семьи этот человек, Борис Иваныч наш. А он, между прочим, сын прокурора покойного. Отец его не где-нибудь работал, а по особенной части, не нам чета. Сколько людей через его отца прошло — нам с тобой не снилось. А уж как сына-то вырастил — видишь, не в конторы сын пошел, а на трудный участок, по тайге ходить. Так что, Катя, помалкивай. Я в людях разбираюсь: умеешь ты помалкивать, и тебя жизнь твоя, поди, уж этому научила! Тебе осторожность больша-а-ая в жизни нужна.

— Угу... нужна...— киваю.

Ну и пошла себе в свою каморку. А ночью ворочаюсь с боку на бок, голову ломаю: знает ли тот человек приведенный, с кем он в первом номере сейчас остался, с кем связался, или не догадывается вовсе? Бродяжка-бродяжка — а натуру-то самостоятельную все равно по внешности по всей видзть, и за бродяжку этого я уже переживаю.

И вот на другой день с самого утра я около той двери похаживаю — зайти-зайти бы в первый номер: чего там? Да сама себя ругаю: какое мое дело и чего я тревожусь? Поругаю себя — да другие номера убирать. И вот все их перемыла — и уже пути мне нет, как только в первый этот

номер заходить. В коридоре другая дежурная сидит, журнал листает,— тихо так, в окне снег тяжелый идет косой, поземка, к метели дело вроде, и с утра уже темновато, пасмурно. Поглядела я в окошко, постояла, ведром нарочно погромче забренчала, стучусь. «Войдите!» — слышу.

— Не помешаю я вам, если приберу побыстрее, не положено у нас, чтобы не убирать, но я быстро...— говорю, а сама и глаза не поднимаю.

И слышу голос веселый:

— А что же вы робко так? Вы нам не помешаете. Только сильно не старайтесь прибирать. Не привередливы мы,— это Борис Иваныч, значит, говорит.— А вот не растолкуете вы нам, голубушка, что есть добро? Мы уже толковать устали и не спали почти.

Господи, думаю, этого только не хватало, чтобы говорить меня заставляли. Тряпку в ведро опустила, полощу:

— Зла не делать...— говорю,— добро.

— Значит, вражды между людьми быть не должно, так? — и не меня уже спрашивает, а бродяжку.— Но разве не враждебно мы относимся к злу? А если зло воображает себя добром — и потому враждебно относится к добру, которое злом представляет?

Тут и бродяжка поднял голову.

— Век забыл, что такое любовь,— говорит.— Любя одних, ненавидит век других, любя бедного — ненавидит богатого. Вот тебе источник вражды великой. Век забыл, что такое любовь ко всякому.

— Ну-ну, говори, говори, Сковорода,— Борис Иваныч — ему. А мне объясняет: — Зовут его Игнатий Пантелеевич, только я его Сковородой зову. Потому как все он бросил, перестал механиком по Волге плавать, а пошел по Руси правду искать. «Мир ловил его, но не поймал»! Не дался он миру, а сам раскусить его хочет, да разумом поймать. Говори, Сковорода!

— А я говорил уже. Да и не я один. И до меня говорили. Сохранение жизни живущим, возвращение жизни теряющим — добро,— бродяжка-то ворчит.

Я тем временем подоконники протерла, молчу — а сама и думаю: ох и в точку же ты попал, про сохранение-то жизни: не понравится это, поди, прокурорскому сыну, как бы не донес он на бродяжку-то...

— Любовь... Про любовь говоришь, которая мир спасет...— Борис Иваныч подсказывает.

— Нет! — механик говорит.— Не любовь мир спасет. Мир спасет — вера. Вера в хорошее в человеке. Подлеца в человеке углядишь, неголяя, подонка, предателя — бу-

дешь иметь дело с подлецом, негодяем, подонком и предателем. Поверишь же если в чистую душу его, вопреки всему — в чистую душу поверишь, со всей силой поверишь, на какую ты способен,— и не оставишь ты человеку иного пути, как оправдать твою веру в него. И пусть дойдет до крайнего самого, что ты ему веришь,— а он тебя тем временем уничтожить норовит и с лица земли стереть, а и тогда — верь. Уничтожит он тебя — да и, погибая, верь в хорошее в нем, от его же руки погибая, верь. И страшная это сила — вера в хорошее в человеке. Не может не откликнуться на нее самая злодейская душа, и твоя же вера, вера погибшего от руки его, не даст ему покоя на земле. Сам себя казнит человек, и расправу над собою учинит, коли верили, коли верят в хорошее в нем. И будет он считать — что сам с собою расправился, а только это в е р а его казнила, вера в него же самого. Ни один подлец не вынесет беззаветной и страстной веры людей в хорошее в нем.

Тут Борис-то Иваныч, смотрю, и сощурился. Нехорошо смотрит на механика, на гостя-то своего, на бродяжку.

— С одной исторической личностью не хочешь ли связать все то, что говорил ты сейчас? Уж такой веры в непорочность деяний его, вопреки крови невинных, наверно, и нет нигде больше на земле. Да что-то от веры этой массовой зла не убавляется, а только — напротив...

— Да какая же это вера!..— аж передернулся бродяжка этот.— Страх это — а не вера, рабский страх! А вы... вы смеете называть это верой. Верящий в него, «в одну историческую личность», так говорит: ты сын человеческий, способный на гуманные поступки и власть для того имеющий, для сотворения добра рожденный, творишь ты зло. Ты — способен понять, что не бывает зла во благо,— что творишь ты? Веришь ли ты в лучшее в каждом сыне человеческом, от которого не отличаешься ничем — веришь ли? — И для чего казнишь? Для чего творишь кровавую расправу? — Вот что говорит верящий в него. Каждый верящий говорит,— каждый, видящий его: верю в благое в душе твоей — ты творишь не благое. Так та ли это вера?.. Настоящая-то вера — не знает страха, не знает страха потерь, и страха физического уничтожения. А кивающие, да голосующие, да поддакивающие — «верю в мудрость твою» — это неверующие, неверующие в ч е л о в е к а, а боящиеся и обманывающие. И великий этот массовый обман, настоянный на страхе, на боязни, на н е в е р и и в благое в человеке, и породил — чудище. Там, где неверие — выдавало себя ежечасно — за веру. Фари-

сейство наше взрастило его чудище это, а не вера взрастила. Рабство в душах наших — взрастило чудище. А фарисейство — есть антипод веры. Боялись говорить, боялись быть услышанными — оттого что не верили. Боялись физического уничтожения — оттого что не верили. И за неверие — получили массовое уничтожение и не были услышаны. Добро — это жизнь. А жизнь спасет — вера в человека. Неверие же в человека — погубит жизнь. Пока хожу, не устану говорить это...

А я — давным давно прибралась, и не заметила, как на стуле у порога сижу да во все глаза гляжу на них. А им — и не до меня. И тут Борис-то Иваныч такое сказал, что вздрогнула я. Помолчал, помолчал, и лицо-то его покривилось маленько.

— ... Я говорил тебе, как отец мой... нехорошо... самовольно погиб в тридцать девятом? Одного я не сказал тебе: после чего погиб. После этого самого «верю в тебя» — и погиб...— очки-то снял Борис Иваныч да протирать их стал. И вроде осердился,— сердито так, с досадой говорит: — Последний его осужденный был товарищем его. Вот и верил — до последнего в него, отца моего. Только в тех играх, в которые отец мой... был вынужден заиграться... других правил не предусматривалось.

— На неверии в человека эти игры взращиваются...— устало совсем Игнатий Пантелеевич говорит.— Как болезнь, как рак — на безверии взращиваются... С верой в человека несовместимы они...

И тут в молчании-то полном вдруг Борис Иваныч и говорит мне:

— Ну вот и познакомились мы с вами. Как зовут вас?

А я и не сразу поняла, чего он спросил — сижу, закаменелая, вот будто ступа какая.

— ...А-а-а — говорю. Поднялась, сказала: — Катей меня зовут. Катей...— а сама пячусь.

Ну а к вечеру — как раз только-только Роза Викторовна на дежурство заступила — жилец из шестого номера с портсигаром-то пропавшим к нам бежит, нашелся портсигар. Только Ольге на другой день я так сказала:

— Выручила я тебя, Оля? Давай и ты меня выручай. Ни о чем не спрашивай меня, а до апреля подмени на коридорах, возьми себе мою работу. А я в твоих номерах этот месяц поубираю.

А она от радости сама не своя, что дело ее уладилось — о чем хочешь ее проси, на все она согласная. Только любопытно ей немножко — зачем мне это надо. Ресницами рыжими моргает.

— Приглядела кого, что ли? — потихоньку спрашивает, да мигает мне.

— Нет, Оля, нет...

— Ладно, ладно!..— говорит.— А то я сама не баба, не пойму!

Засмеялась — да так при своем и осталась. А я что? — за этих двоих перепуганная хожу: ведь говорят все как есть — и ничего не боятся! Да это же до поры до времени все, до первых ушей недобрых. И ни в чем я Олю не подозревала, в плохом-то, а только если я в первый номер одна захожу, то так мне за эти буйные головушки две — спокойней.

А метель тогда какая разыгралась — ни земли, ни неба не видать, все гудит, стонет!.. На другой день вроде стихать начало. И Игнатий Пантелеевич так в этом первом номере незаконно и живет. И Роза Викторовна вроде этого не видит. А остальным дела особенного до этого нет. И сильно еще мело, когда мы с Данилычем на санях с узлами бельевыми поехали. Данилыч шапку потуже тесемками подвязал, лицо у него бабье, глаза слезятся. Дорогу всю перемело, но лошаденка бойкая, хорошая. А все равно — медленно едем. Кнутом Данилыч в сторону тычет.

— Разбойничьи места!..— кричит.— Разбойничьи были.

Гляжу в сторону — за соснами едва-едва дом шатровый виднеется в лесу, один-одинешенек, и сараюшка к дому прилепилась. Тут я чего-то и поняла:

— А что за изба это там? — спрашиваю.

— Кордон,— говорит.— Лесник жил, года два назад помер. Трое детишков на женёнку оставил.

— Что за женёнка? — кричу.

— Оса,— говорит,— а не женщина совсем. Или, скажем, муха осенняя. Одно слово — насекомая. Как во что вцепится — то уж ее и больше ничье. Разве что с мясом только оторвешь.

Тут крякнул Данилыч, перекрестился:

— Не приведи бог,— говорит.— Лесник-то рад, поди, на том свете, что помер.

— Останови-ка, Данилыч! Останови! Поближе я погляжу.

— А чего глядеть — не живет там никто.

— Останови!

Он: «Тпру!..» — а я:

— Пускай лошадь-то отдохнет.

Спрыгнула — и по сугробу до первой сосны кое-как

долезла. Ветер со снегом в лицо хлещет, прямо сечет, ни тропинки, ни дорожки к дому тому. Только и видно — окна заколочены, до половины снегом их залепило. И крылечко-то самое все как есть заметено. Ветер в вершинах странно гудит, скрип от сосен-то идет. Нагнула я голову и назад было пошла,— слышу: протяжно, тихонько, да едва-едва разберешь:

— Наколола ноженьку... да не больно...
Об острую травыньку...

Остановилась — нет ничего: смолкло все. Шагнула, скрипит снег,— полные валенки снега у меня уже,— опять:

— Об острую травыньку... О полынку...

И чисто, ясно так!

Да что ты будешь делать: Надин голос, ее,— вроде вьюгой его наносит. А ветер опадет — и нет ничего. Гляжу вверх — где же ему там быть, голосу-то, вот вроде вверху над соснами он плывет, и то ближе, а то совсем далеко. И воздух дневной — а темноватый, пасмурный, и рябь от снега в глазах. К саням подошла — Данилыч сгорбился, сидит, голову за узел с бельем прячет. Села я — а он и ехать не торопится, и не шелохнется. Да глянул тут на меня — вроде не узнает, глаза рукавицей вытер.

— Да-а...— бормочет.— Голосище-то какой сквозной бог дал... Как его наносит!..

— Ты про что это, Данилыч? — спрашиваю.

А он:

— Но-но! Двигай! — да и кричит мне потом через плечо, только что все головой покачивал, а тут кричит: — Старый я, Катерина, стал. У меня давнее-то — на ее-то — на нонешнее наползать вздумало. То наползет — а то и вовсе обгонит. Вот такое кино, что с любого места крутится. Глядишь — на старом месте опять и проживешь будто сызнова. Старость!.. Старость это.

Пока я в швейной мастерской была, Данилыч отвез белье и за мной заехал. Мне в мастерской этой швея горбатенькая говорит:

— Вот черные ткани у нас, выбирайте.

— На что мне черные-то? Мне бы лучше вот из этого материала, посветлее,— из бостонового.

— А-а... Ну глядите. Сейчас у нас заказов на черное больше. А вы как хотите, конечно.

На цыпочки привстает, мерку снимает, губы бледные — пришептывает чего-то. А я что-то волнуюсь сильно, ру-

ки-ноги деревянные — за все-то время первую одежку я в мастерской справляю: а то мы с Ксеньей Петровной кое-чего сами шили, да ее одежду я донашивала, а то в магазине купленное носила. Вот будто через пиджак в какую новую жизнь я что ли войду — так чудилось... А у самой ноги в валенках — мокрехоньки. И ведь вытряхнула вроде снег, как на сани садилась, а по щвейной мастерской где ни ступлю — там и мокрый от валенок след.

Тут горбатенькая говорит:

— Через недельку на примерку вам,— сама нитки с себя оббирает.— Прямо,— говорит,— интересно, как вы фигуру сохранили. Вам побольше тридцати будет? В этом возрасте обычно не та уже фигура бывает. Один ребенок да другой,— вот уже и не та.

— ...А нету,— говорю,— детишек-то. Вот и фигура... Черт бы с ней, с фигурой, а — нету.

Тут она руками-то своими длинными, тонюсенькими взмахнула и на стул села:

— Да как же...! — с жалостью глядит.— Ну ничего, ничего. Я ведь тоже думала, что без ребенка мне век вековать. В двадцать девять уже родила. Девочка у меня. Зиночка. А мама старенькая совсем, вот она с Зиночкой сидит. А уж тревожно, как тревожно! — не случилось бы с ней чего без меня. Я ее от груди три дня, как отняла, и первый день на работу вышла, ваш заказ у меня первый... Вот на крыльях бы сейчас домой полетела, взглянула бы только — да назад. А — нельзя. Да боюсь ведь тосковать! Они, дети, так это чуют! Плакать сразу начинают, если по ним тоскуешь. Так я себя все уговариваю — не тосковать. Все хорошо, все хорошо,— вот так себе и наговариваю...

Я к двери пошла. Не дослушала.

— ...Погодите! — горбатенькая кричит.— Погодите! А завтра к вечеру приезжайте! Я вам за день пиджачок-то наживлю!.. Ничего! Я ведь тоже думала, что одной мне!..— пожалела меня горбатенькая-то, значит.

Тут уж я и сама не поняла, чего делаю. А — поклонилась я ей:

— Простите меня,— говорю.— Вашей судьбе я позавидовала нехорошо,— да ручку дверную нашариваю.— Простите,— говорю...

Вышла — голову к небу запрокинула; пустое небо, холодное.

— Катерин! Батюшки мои! Ты что? — слышу, Данилыч запричитал.

— Чего разохался? — Данилычу пободрей говорю, улыбнуться сама норовлю.

А он:

— Я тут вокруг саней уж четверть часа бегаю, мороз-то, чуешь, какой ударил? А ты выходишь... совсем не такая ты, Катерина.

— Голова,— говорю,— Данилыч, закружилась. Не бойся — ничего со мной не сделается. Насчет того чтобы хворать — не приучены мы этим заниматься. Чего засуетился-то — погоняй!

Едем — а он нет-нет, да с опаской на меня и посмотрит. Обернется — глаза махонькие, красные,— снегом, ветром их нахлестало. В лес въехали, смеркаться стало. Остановил Данилыч лошадь.

— Слушай, девка! — говорит.— Не нравится мне, как ты пеньком-то сидишь. А ну слазь да вокруг саней побегай. Разогрейся маленько. Побегай, побегай! — и с саней меня толкает.— Я тебя в хорошем виде с собой взял, в хорошем и возвернуть должен.

Пробежала я — опять на сани, а он за рукав:

— Бегай, сказал тебе! Что хлянешь, как старуха! — да и покрепче выругал.— Ты,— говорит,— девка, хватит меня пугать!

— Ох, Данилыч, что ты меня тормошишь, покоя не даешь...— и через силу — а послушала его, пробежала еще.

Ну и сглазила сама себя — на другой день едва поднялась. И все номера перемыла, ничего вроде. А как до первого дошла, в глазах уже все плывет. Нету в номере Игнатия Пантелеевича. Один Борис Иваныч в куртку брезентовую кутается. А комнату проветрил уже — выстудил номер-то. Пока убиралась я,— то выйдет он, то войдет: поглядывает, чувствую, а ничего не говорит. Кое-как, не очень-то хорошо, уборку я сделала на этот раз, ушла. Да в каморке своей прилегла, и дежурной ничего не сказала — слабость накатила. Полчаса не прошло — стук осторожный раздается. Борис Иваныч входит, чайник, который я у него видала, полотенцем придерживает, и от пара очки у него запотелые.

— Жар у вас, Катя,— говорит.— А я травами запасаюсь, и перед сезоном попиваю их, чтобы в тайге потом покрепче себя чувствовать. Вот, девясила заварил, горицвета... несколько трав тут. Наука медицинская с ними борется и не признает. А я пью. И вам принес. Попейте, Катя.

С четверть стакана налил мне, подает — выпила я — горечь несусветная.

— Совсем у вас одеяло несерьезное,— говорит.— Я за полушубком схожу. Тепло вам сейчас нужно. А то смотрите — я за врачом съездить могу или Данилычу накажу.

— Да не смейтесь вы надо мной,— говорю.— Какой врач еще? Отдохну я, пройдет.

Полушубок принес он все же. Накрыл. Потоптался:

— Может, надо чего? Так вы говорите, Катя, не стесняйтесь, пожалуйста.

— Ничего не надо...

Ушел. И сразу я в сон провалилась, как навзничь в темное упала. А проснулась,— опять стук в ту же минуту раздался. Борис Иваныч зашел:

— Три часа прошло, пора нам траву пить.

— Да присаживайтесь,— говорю.

Присел, опять столько же отвару выпить дал.

— Игнатий Пантелеевич ваш,— говорю,— что же — верующий будет?

Засмеялся Борис Иванович

— Он себя атеистом называет. Только интересный он атеист,— считает, что без знания мировых религий атеизм — не атеизм вовсе, а невежество, и только. Да я вот тоже, как вы, подразниваю его. Верующий ты человек, говорю. То, что ты говоришь,— религия. По протопопу Аввакуму, при сотворении человека бог дух свой божеский в человека вдохнул — тот дух светлый божеский опять же к богу и возвращается после человеческой смерти. Так если бог не что иное, как добро,— у нас ведь с чем борются — с персонифицированным богом больше, а не с идеей бога, то есть добра,— так, говорю, Игнатий Пантелеевич, ты ведь в этот чистый дух в человеке верить и призываешь! А вот он какой ответ на это дал. Восточные религии, говорит, самые атеистические, потому что как сквозь них проберешься, то и выйдешь к тому, что бог есть Великое и Вечное Ничто. Так если Великое и Вечное Ничто вдохнуло в человека божеское — чистый, светлый дух, который после смерти вернется к богу, то есть в Вечное и Великое Ничто,— то и получается самый настоящий атеизм, Ничто,— говорит, вдохнуло в человека доброе начало души при рождении — доброе это начало после жизни человека уйдет в Ничто. Так почему же в доброе-то время в человеке не верить?.. От скверных подозрений в дурном вся вражда идет по земле.

...Зря я вам это, должно быть, говорю. Устали вы. В общем, я за временем смотрю, через три часа я свежего настоя принесу вам.

Ушел он,— а я думать про него да про Игнатия Пантелеевича нехорошо начала. Зачем человеку всякой выдумкой себя тешить, а не жить просто, как живется и как все живут? Вот, думаю, не дано им такое умение — по-простому жить, концов с концами в жизни своей свести не умеют, вот и надумывают разное. Чего по свету шляться, чего искать, когда дом заводить надо бы человеку нормальному, детей растить, работу исправно делать, а они — вон чего: один, Борис-то Иваныч, до сорока лет неженатый, другой, Игнатий Пантелеевич, от взрослого сына со снохой да от жены по миру ходит, толкует выдумку свою, немытый, неодетый. Чего ищут? Выдумывают чего?.. Да себя и остановила: эх, Катерина, ты, что ли, по-простому жить не хотела? А что же не живешь, если так-то жить надо? Что же ничего не выходит у тебя?.. Доходится, ох доходится он, Игнатий-то Пантелеевич, с ученьем своим... А и сам, наверно, знает, что сегодня ходит — а завтра неизвестно еще где окажется. Упекут его! И голова у меня от этих слов их разных кругом идет. Да и думаю: если она, судьба-то, мне все это показывать задумала,— зачем-то ей надо это?.. Погоди, погоди, Катерина, а ведь... она меня на мое же и вывела, на мое!.. Как ты, Катерина, Степушке-то толковала? «Невыгодно тебе, Степан, хорошее в человеке видеть, вера-то — обязывает она, а коли не веришь ты в хорошее, значит, и свободен от человека, никому ничего не должен, и в любой подлости по отношению к другому человеку — в любой подлости своей перед собой ты прав? Просто же так жить!..» — вот что ты ему толковала. Со зла толковала. А может, то, что натолковала я тогда, пошло все по свету, пошло, закрутилось, да ко мне же и вернулось? Только в виде в другом? А ну как все, чем мучаешься, да думаешь о чем, да что в мир-то выплескиваешь, расходится кругами, обкатывается временем по-разному — и к тебе же возвращается?

Тут страшно мне стало — с ума, с ума схожу. «Ничто не г а с н е т» — так будто подсказал кто вслух. А тут и Борис Иваныч идет — шаги в коридоре тихие, перед дверью приостановились. Вошел. Я и вздохнула. Полотенце нашариваю — мокрый лоб, пот прошиб, утереться бы. А он чайничек этот свой на столе прилаживает, молчит.

— В потемках-то не видать, поди, ничего. За шкафом пошарьте, Борис Иваныч, там свет включается.

Включил он свет.

— Котлеты вам от ужина принес, поесть надо бы вам, Катя. Вон, в свертке том. Как у вас из окна нехорошо задувает.

— Спасибо,— говорю, сама смотрю, как он мне отвару наливает.— В ноги дует, ничего. Я туда головой не ложусь.

Выпила.

— Куда же Игнатий Пантелеевич-то делся?

— На базу нашу поехал, механиком устраиваться.

— Это насовсем, что ли?

— Нет. В лето по колхозам да по совхозам пойдет. А там опять пристроится, вроде сезонника он существует. Руки-то у него золотые. Не пьет и умеет многое. Только он дальше идет. До океана самого так добредет скоро...— засмеялся Борис Иваныч, очки платочком протирает.

— Через неделю и я, Катя, уезжаю.

— А куда же? — спрашиваю.— По снегу, что ли, в тайгу?

— Нет, на базу сначала. К сезону готовиться.

Опять молчим.

— Ну и ладно! — говорю.— Весь век здесь не проживешь!

— Ладно! — говорит, повздыхал, ушел.

А мне и тоскливо что-то стало. Опять вроде я не при деле остаюсь. Уедет — и все ведь. Да только раздуматься сильно не успела — с отвара этого меня в сон так сразу и кинуло, так и швырнуло, помню.

Да на другой день я с лекарства его и встала! Голова ясная, хоть и покруживается. И все котлеты я съела, и черствый хлеб весь, какой был, до крошки. А уж назавтра за пиджаком засобиралась!

И вот Борису Иванычу как уезжать, а я уже в новом пиджаке своем нарядном полы-то мыть вышла. Уж так мне его ловко горбатенькая-то швея та сшила! Нарядилась — как на праздник! Куда, думаю, мне его беречь, куда в нем ходить? И только про Бориса Иваныча отъезд думаю. А не вижу, какие люди-то вокруг ходят. Кучками в коридорах стоят, тревожный народ, перешептываются потихоньку. А потом, прямо нос к носу, на Розу Викторовну заплаканную наткнулась. Тут всех сразу и увидала. Стоит Роза Викторовна, кудряшки обвисли, платочек к носу жмет:

— Как же теперь жить-то? — всхлипывает.

Да что за горе такое? А она всхлипывает:

— Не могу!..— плачет.— Не могу на эту Веру Сергеевну смотреть. У всех траур, а она в светлое вырядилась.

Я так думаю, что и не плакала она, а глаза нарочно натерла, кулаками натерла, да и все. ...Чего же теперь будет? Без товарища Сталина? Как жить-то станем? А?

Тут я и охнула: господи, господи! Вот и свету конец... И какая тревога на меня страшная навалилась! И тут про пиджак-то свой нарядный вспомнила,— угораздило же меня ни раньше и ни позже вырядиться! Побежала снимать, на кровать его бросила, кофтенку потемнее старенькую надела, и руки трясутся у самой — чего делать-то теперь?

К Борису Иванычу бегу. Накурено у него сильно. Тоже и он не в себе, по комнате туда-сюда ходит.

— Садись, Катя.

— Чего же теперь будет? — так эти слова у меня только и крутятся, которые я от Розы Викторовны услыхала.— Чего же теперь делать? Ой, господи, господи!

— Хуже не должно быть,— говорит.— Хотя тревога большая, куда и как все повернется. Тревожно... Тяжело стране сейчас... Когда страхом каждая личность придавлена и к страху этому привыкла так, что уже и забыла, что по-другому жить можно, то без страха привычного ей — еще страшнее. Всем нам без страха-то — еще страшнее.

— Что-то не пойму я вас, Борис Иваныч... Про какой это вы страх?

— Что мне тебе, Катя, пересказывать? Вспомни разговор с Игнатием Пантелеевичем, не так уж неправ он был...

— Погодите! — перебила я его тут,— как вы нехорошо тогда про Него...

Кивает он, невесело так кивает.

— Я-то, дура, сначала ведь думала, что про царя вы какого-нибудь, про тирана. Про кровопивца какого...

— Борис Иваныч! — кричу.— Он не мог!.. Не он это!

— Катя, Катя!..

Я дверью только хлопнула, да и выскочила.

Никуда на другой день Борис Иваныч не уехал. И на третий — тоже. Остановила я Олю:

— А знаешь чего? Забирай свои номера,— отдавай мне мои коридоры,— говорю.

А она мне:

— Как ты, Катя, можешь об этом думать, когда горе такое,— глаза у нее от слез вспухли, так что и ресниц ее рыжих почти что не видно, как щетинка, торчат.— Что у тебя за сердце за такое жестокое. Не зря вас таких за колючую проволоку сажали. Все. Все рухнуло — а она мне про номера да коридоры!..

Тут я и зубы стиснула: молчи, Катерина. Да-а, думаю, когда тебе эта проволока грозила, кто же тебе помогал-то, с сердцем-то жестоким, кто? Ну и как тут в хорошее-то верить, если такое слышишь? Развернулась я, в каморку ушла свою, слова не сказала,— заперлась. Закрыться, в каморке пересидеть — и на глаза никому не попадаться,— одно остается. Ничего я не пойму, один клубок сплошной, а не жизнь, и не распутать его мне.

Только и часа не прошло, Оля в дверь скребется. Открыла я — вошла она, на постель ко мне села. Да вдруг в голос и заревела. Я ей:

— Оля, Оля! Всем же тяжело! Что ты убиваешься? Без царя не останемся!..— мамоньку, видно, я припомнила — ее словечки, мамины, у меня вылетели.

— Не про то я,— плачет,— Катя! Да что же это в душе-то сколько темного всего нарастает, что и доброе уже не помнишь? Чего с душой-то нашей делается? Катя, как ведь ты мне помогла, а я... Нету у тебя от сердца ничего?

— Нету...— по спине ее глажу да и думаю: Игнатий Пантелеевич, прав ведь ты был, когда про веру-то в хорошее толковал. Прав. Откликнется хорошее все равно, если злу своему воли насчет другого человека не давать...

Долго мы с ней в потемках просидели, свет не включаем — каждая про свое думает. Совсем Ольга успокоилась вроде. Я из титана кипятку в чайнике принесла.

— Только до хорошей жизни дожили...— Ольга кипяток прихлебывает, говорит: — Каждый ведь год — снижение цен...

— После войны-то так и должно быть. Восстанавливаемся все же...

— А этот убогонький-то...— говорит.— И выехать не может. С базы машину не шлют который день.

— Ты про кого это? — спрашиваю.

— Да про блаженненького-то! — говорит.— Про этого... Из первого номера!

— Что ж ты, Оля,— спрашиваю,— так его определила?

— Одна, что ли, я его определила? Все так считают. Если ни кола-ни двора у человека... Ну и понятно: какая на него позарится? Завалящий совсем мужичок-то. Это у геологов он работник головастый считается, потому что, кроме работы, ему ничего и не остается. Он и здесь-то все корпит,— видала, за ночь бумаг сколько все исцарапает? Совсем в жизни невидный, вот работу одну и чертоломит,— и засмеялась: — А я ведь один раз ненароком что-то подумала, не из-за него ли ты коридоры свои меняла? Придет же в голову!..

— Из-за него,— ей так взяла да и сказала.

— Чего? — заморгала Ольга, не знает, какое ей лицо сделать.— Шутишь, что ли?.. Этого к рукам прибрать — невелика хитрость. Да ты-то, Катерина, видная какая... Сейчас, конечно, и за калек выходят, где после войны хороших напасешься на нас. Только этот-то — совсем хворый. Туберкулез ведь у него. А ты-то, Катерина, все же видная...

— Что же ты его к рукам не прибрала, а одна кукуешь, если хитрость-то невелика? — спрашиваю. И чую — попала я на больное ее место.

Вскинулась тут Ольга, гордая такая сидит! А слова жалкие у нее получаются:

— Ему — грамотную еще ведь надо! На ладан дышит, а с разбором!

— Вот то-то и оно, Ольга. Да и будет тебе его ругать, не много мы с тобой в жизни понимаем, чтобы ругать-то его.

Совсем призадумалась она. И тихонько мне говорит:

— Правда твоя, Катерина, видно. Кого я облюбовала,— так тот меня едва за порог проводил и сразу Розе Викторовне про портсигар докладывать. Не знал будто, на кого подумают.

— Ох, Ольга! — прикрикнула я на нее.— Как ты на плохое-то быстро сворачиваешь! Да, может, он к слову или в растерянности какой своей это проговорил! Может, дорогая ему эта вещица... Без умысла сказал, погоревал,— а ты вон чего!..

— А что же он в милицию не пошел да не сказал: не трогайте ее? Если хороший-то — что же?

— Погоди, Ольга, его ведь на неделю целую на базу отзывали...

— ...Разве на неделю?

— А приехал — сразу и сказал: нашел. Надо было, Ольга, тебе с ним поговорить сначала. Прежде чем мысли-то свои по дурному кругу пускать. Ты гляди, как оправдать человека, что ты плохое сразу в голове накручиваешь?

— Теперь уж не потолкую,— говорит.— Уехал... Катерин, скажи ты мне, никомушеньки словечка я не пророню: сектантка ты, наверно, Катерина? А?

Тут засмеялась я:

— Ну раз, кто доброму учит,— тот сектант, конечно! Иначе, конечно, и быть не может!

Посмеялась — да и ладно. И на душе у меня легко, что

с Ольгой у нас все утряслось. А на следующий, значит, день перед обедом... к Вере Сергеевне меня зовут. Поднялась я на второй этаж, в кабинетик ее угловой захожу — в шаленку старенькую Вера Сергеевна кутается и волосеночки свои реденькие поправляет.

— Садись, Катя,— ручку со стола взяла, повертела в руках — кинула. Вздохнула.— Не очень я на разговоры внимание обращаю, и если ты не хочешь мне отвечать — не отвечай, но лучше бы мне это знать. У нас верующие по закону от притеснений оберегаются, работать в любом случае будешь, как работала. Ты не к баптистам ли ходишь? — У нас тут баптисты неподалеку... Проповедник их конец света предсказывает, говорит, что магнитные пояса какие-то земные упадут. Про какую секту мне тут толковали в связи с тобой?

— Не знаю,— говорю,— про какую и кто.

Вижу — совсем она расстроилась: хочет, как поосторожней сказать, а ничего у нее не выходит. Махнула она рукой:

— Роза Викторовна сказала, что в секте ты какой-то и будто Ольгу нашу ты к сектантству склоняешь и по-своему, по-сектантски, жить учишь. Она все хотела, чтобы я Ольгу вызвала да чтобы Ольга мне сама рассказала все. А я вот тебя спрашиваю. Верующая если ты — то скажи.

Тут я что-то от всех них так устала! Что никакой силы ни про что толковать у меня и нет уже.

— Верующая,— говорю.— Не религиозная моя вера, а все равно — верующая. Так и считайте. Правильно это будет.

И вышла сразу. Да тут меня и подстегнуло: вдруг Борис Иваныч уехал уже? И совсем я одна остаюсь со всей этой кутерьмой. Бежала по коридорам — ног не чуяла. А только через порог переступила, спокойно мне сразу стало вдруг. Решилась: была не была.

— Борис Иваныч! Игнатия Пантелеевича вы вот звали с собой, в отряд ваш. А меня что-то не позвали. Или, может, работы там для меня подходящей не имеется у вас?

Жду. Чего скажет. А он быстро ответил. Минуточку только и подумал:

— Поваром тебе, Катя, можно в отряд к нам,— и не удивился и вроде только этого и ждал, когда, значит, я попрошусь. И живехонько так заговорил: — У нас с поваром все нелады. Повариху мы брали из поселка — крепкая, молодая женщина, сноровистая. Но из тайги она у нас нет-нет да и пропадет. В первый раз сильно мы перепугались, по тайге ее разыскивали. А нашли — в по-

селке, в доме ее; запертый дом изнутри, свиданье у нее срочное оказалось, трехдневное. Во второй раз она пропала — хоть и тревожились, а поменьше уже. На базу только сообщили и сами кашеварить стали. А через неделю очень неожиданно ее увидали. Едем по большаку — образцы да пробы отвезти надо было на базу и продукты загрузить,— а навстречу нам машина грузовая, армейская. Солдат полный кузов, а в самой серединке — она: улыбается, головой крутит и счастливая совершенно. Ехала куда-то. Вернулась через неделю... В общем, отпустили мы ее. Жалко, хорошо работала, но мороки много с ней было. Так что без повара мы... Только жалко тебя, Катя. Гнуса в тайге много, ходьбы много, тяжело... И если ты поваром захотела бы работать, то лучше на базу тебе устроиться, это тоже можно, это — легче.

— Не поняли вы меня, Борис Иваныч,— говорю.— Я ведь с вами поехать хочу. Да и работать.

Помолчал. Стал бумажки на столе перекладывать.

— Подумай, Катя, еще. Как решишь окончательно сама, так и будет.

И совсем уж было я пошла. Да приостановилась. Все мне эти слова Игнатия Пантелеевича про веру в доброе в человеке покоя не давали, и так мне стало надо все Борису Иванычу объяснить, что к словам тем мне ближе работать хочется. Игнатий Пантелеевич здесь был бы — так я бы с ним упросилась: куда бы он пошел — туда и я. Все бы вдвоем-то веселее было бы.

— Борис Иваныч! Я ведь то, что Игнатий Пантелеевич тогда говорил — узнала; сама я почти то же самое толковала. Давно, правда. Когда про спасение мира-то он говорил, про спасение от вражды. Правда, про мир про весь не думала я тогда, молодая была... А про веру в человека — я думала!

Он голову повернул ко мне, внимательно сквозь очки смотрит:

— Как давно это, Катя, было?

— За двадцать лет мне тогда перевалило...

— Слова свои и через десятки лет узнать можно,— говорит — улыбается.— А себя — узнаешь ли? К прежней ли они к тебе вернулись? Бывает, встречаем мы свои слова — а только так встречаем, что слова-то прежние, а мы уже совсем другие. Так, что уже и не скажешь — к *нам* ли они вернулись. Вот ведь в чем заковыка. Не мудрено сказать их бывает — мудрено верность сказанному сохранить. Вот я к чему. Ладно... Будет у нас еще время поговорить.

Пошла я. И думаю: а я-то сама — какая теперь?.. Да разве я такая раньше была? Вот — недоговаривать научилась, осторожничать... Разве же во мне это раньше было? Хитрее, что ли, стала? Что же — хуже с годами человек становится, и не замечает, как сам от себя отступается? Да ведь это делать с собой чего-то надо, чтобы так-то не получалось! А чего же делать-то, если без этих вот людей останешься? Ехать с ними надо, Катерина, ох, как надо,— и не понимала сама, как мне это надо-то на самом деле, когда напрашивалась только.

Вот ведь что получилось...

Участковый посидел после ужина на высоком табурете за своим столом, не слушая того, как разговаривает в другой комнате сама с собою старуха Баранова и роняет алюминиевые ложки. Он раскрыл блокнот и посмотрел на чистый лист бумаги, на котором должен был возникнуть краткий план его действия по непринудительному введению всеобщих разумных законов жизни на основе мифотворчества. А потом собрал прочитанные библиотечные книги в бледно-сиреневую, давно не стиранную авоську, и, одевшись, пошел вовсе не в библиотеку, а побрел по следу машины, уходившему в сторону от дороги, к речке Боярке. Снег выпал всего неделю назад. Он покрыл землю ровно и высоко, словно это был вовсе не первый снег, и не оставил темных плешивых пятен даже на самых высоких буграх пустыря. Булалаев спокойно шел по свежей колее и недоумевал только, кому же понадобилось и зачем ехать к самому речному обрыву по первому насту.

Он увидел то место, где машина развернулась у реки и смешала свежий снег с сухой и пыльной полупесчаной почвой, и цепочку следов к обрыву — и обратно. И постоял на том же месте, где стоял человек. Уже темнело. Кусты прибрежного ивняка свисали низко над заснеженной речной равниной на противоположном и близком пологом берегу. Булалаев стоял и старался чувствовать то же самое, что чувствовал здесь тот человек, уехавший назад по своей колее. Немного погодя участковый понял, что стоявшему хотелось свистнуть, совсем недавно сильный свист пролетел бы над заснеженной речной гладью, над рыхлым снежным полем до самого бора. А потом стоявший раздумал свистеть, чтобы не потревожить покоя, в котором никли отяжелевшие, густо опущенные ветви над рекой. Он понял человека, приезжавшего сюда смотреть и, быть может, вспоминать что-то свое, и пошел в библиотеку дальним ок-

ружным путем, по задам, стараясь не смотреть в сторону близкого кладбища. Потому что о жизни и вечности ему хотелось думать больше, чем о вечности и смерти.

Библиотека уже не работала, а дверь, обитая детской желтой клеенкой, была не заперта изнутри. Булалаев напугал уборщицу Екатерину Анохину — женщину пенсионного возраста и крепкого сложения.

— Ох, думала, какой книжный вор ломится,— сказала она, запирая за ним дверь на засов, и чихнула от хлынувшего на нее морозного воздуха по-кошачьи мягко — «пти-пти».

— Припозднились, закрыто,— обернулась она от двери, зябко потягивая носом, и головной свой пуховый платок, завязанный под подбородком, потрогала бережно на горле.— Грейтесь, а я мыть не начинала еще.

Булалаев сложил стопку книг на подоконник, за казенную штору, а потом сел в своей шинели на ближайший к двери стул и задумался, принужденно сдвинув колени и уставясь на тупые носы своих служебных сапог. Но Анохина разглядывала его, и он нехотя поднял голову.

— Что кручинитесь-то? — спросила она с любопытством, отжала над ведром тряпку и ушла в другой зал, в читальный.

— Я — ничего. Посижу,— ответил Булалаев в пустоту.

— Почему, Анохина, человек...— воодушевившись, начал говорить он, когда Анохина вернулась, но замолчал, потому что уборщица снова ушла.

— ...почему он не хочет соблюдать жизненный порядок, а пьет? Или ближайшего родственника бьет, к примеру, скамейкой? ...Или приобретенную одежду продает подруге дороже магазинной цены, а? А подруга не признается, что купила дороже, а?

— Кто же признается!..— пожала плечами Анохина.— Вы про Кравченку? Не признается ни одна подруга. А только спасибо ей еще скажет. У нее продавщица кума, чего же!..— Анохина отставила ведро подальше от сапог участкового.

— Между прочим, помочь могу...— спохватился Булалаев и привстал, раздумывая, какую часть работы взять на себя.

— Нет,— покачала Анохина закутанной головой и бросила тряпку в ведро.— Куда мне торопиться? Зачем? Я с вами посижу.

Она легко пододвинула стул к стулу участкового и села не напротив, а будто в зрительном зале кинотеатра достались им на сеанс места в одном и том же ряду.

— Хорошо тут,— сказала она, оглядывая ровные ряды книг, словно осваиваясь в незнакомом месте.

— Да... Вам хорошо...— откликнулся Булалаев и расстроился.— Не знаю я, Анохина, как быть.

Анохина не поддержала его речь встречным вопросом по существу, а молчала и смотрела прямо перед собой. И тогда, не поворачиваясь к ней, а словно бы обращаясь к книжным рядам, Булалаев заговорил с тем самым страданием, которое таил от людей уже два дня, и о котором хотел было даже рассказать старухе Барановой, не рассчитывая ни на какое пониманье из-за ее недослышиванья.

— Вот поступила к вам, скажем, бумага, Анохина. А на ней — дан преступницын портрет. Преступница такая завелась, Анохина, что наш капитан в Москве с ее делом на совещании перезнакомился досконально. В курсе. И такая это, Анохина, изощренная преступница, такая аферистка, что в любой высокий круг людей под чужим именем свободно заходит и там обживается. И выбранного ею человека до того своими действиями и разговорами доведет, что путем, значит, шантажа заставит с радостью отдать ей нажитое. И на эти средства, добытые шантажом, живет — нигде не трудится. А излишки может отдать первому встречному, считай. На паперти найдет кого-нибудь, либо матери многодетной подкинет, либо старичку безродному и даже форменному пропойце бросит и скроется. Ну и себя тоже не обидит. Процент себе только изрядный оставляет для дальнейших преступных действий. Вот один такой старичок, инвалид Великой Отечественной войны, Анохина, пьющий человек, без ноги, деньги таким образом в милицию в результате своего недоумения принес и сдал. Испугался ужасно, когда она ему, значит, в шапку одиннадцать с половиной тысяч положила. Такое это прибыльное дело, оказывается.

— ...А то я еще слыхала, что бритвами дубленки режут на спинах. Как увидят дубленку — значит, думают, ворюга. И режут,— равнодушно сказала Анохина.

— Вот тоже, значит, непорядок... Так вот, Анохина, на следствии — ничего не скрывает, а даже еще в девятнадцати преступлениях крупных сама по доброй воле созналась, отвечая на логические вопросы все как есть. «Да,— говорит,— судите за все, а отказаться от этого — не откажусь. Да, говорит, две тысячи себе оставила на подготовку будущего дела и проживания ежемесячного в размере оклада старшего инженера. «И вот, Анохина, как мне ее осуждать для себя на страже закона, хотя я ее

лично не знаю? Осужденье у меня к ней по службе должно быть, а его нету, и ничем я не могу это осужденье в себе искусственным путем самоубеждения вызвать. Хотя с другой стороны — нигде не работает. Поскольку свою деятельность работой считает и призваньем, такой у нее, Анохина, форс есть. А проживает — у всяких людей без прописки, выведывая их подноготную. Непорядок же, Анохина! Непорядок — да и все тут... А на фотографию преступницы гляжу — и служебного гнева, необходимого для занимаемой должности, не испытываю...

— ...Что же, много в жизни такого!

— Так ведь не должно же быть такого, Анохина! Не должно! Я для чего на участок поставлен? Чтобы ничего такого не допускать. А вот ведь приведись, если у нас случится... Как тогда, Анохина? Я вот среди населения, может, распропагандировать должен, что такая мошенница по стране ездит. А вызовет ли такая моя пропаганда осуждение в преступницын адрес? — гарантии малейшей не даю... А несознательная часть населения, Анохина, и вовсе ведь может не осудить этого дела!..

— Русская она, что ли? — поинтересовалась Анохина, поджимая ноги в валенках под стул и глядя все так же перед собою.

— Русская... Кира Протасова.

— А то я знала одну киргизку в колонии... А может, не киргизку — не спрашивала я никогда ее про национальность, не привелось что-то. Все у нас в зоне думали, что киргизка она. Акбалой звали. Тоже из сирот...

Участковый Булалаев и уборщица Анохина замолчали надолго.

— ...У них там, в их местности, мор большой был. Скот у них пал. Вот они поодиночке, в коросте да опухшие, полуживые можно сказать, в дальний аул к родственникам приползали и своим родом выживали кое-как. Да получилось, что пришлые выжили, мужиков-кормильцев с голоду ихний род потерял и своих детей сиротами те умершие на матерей-вдов, говорит, оставили. Детей-то — видимо-невидимо... И хорошие потом для других людей годы настали, а все равно им всю жизнь горе мыкать и копейку каждую считать-беречь пожизненно. Так чего она, эта Акбала, на свою голову устроила. Уехала на шахты в Караганду, кассиром на шахте поработала немного, да раз всю шахтерскую получку своим голодранцам аульным и увезла, и разделила, не сказав ничего. И побыстрей обернулась, чтобы под суд сразу идти. Так и не созналась на суде, куда деньги подевала. «Потеряла, на одну ночь для

своих дел забрала, чтобы вернуть,— потеряла!» — вот весь ее сказ был. «Нету денег...» Песню, бывало, всю какую-то потихоньку пела. Заунывная песня... Вот сидит она, качается, да тихонько на своем языке ее тянет. «Про что поешь? Сказала бы, что ли...» Вот рассказывает — запинается, а в точности старается объяснить. «С вершин черных гор бредут люди, рыдая, как осиротевшие детеныши, бредут люди,— о народ мой, о народ мой...— говорит.— Тоскуя по родной земле, по ее горам и по ее камням, мы идем, не в силах остановить слез из глаз, о народ мой, о народ мой...» Так по-русски мне говорила... «Шахтеров,— спрашиваю,— что же без получки оставила?» «Ничего,— говорит.— Государство шахтеров любит, деньги даст. Моим кто даст? Работать хотела, копить, деньги своим давать. Туберкулез — в шахту не пускают. Мало денег получаю. Год работаю, два работаю,— мало коплю. Так всем сразу помогла. Ничего...» И что вот с ней делать? Сидит да одно и то же потихоньку на своем языке поет: «Оставили мы просторные дали предков наших, о народ мой, о народ мой...» Я как в зону попала, она уже перед самым выходом была.

— Нет, Анохина! Нет! — перебил ее участковый, разворачивая стул, и сиденье скрипнуло громко.— Не должен человек самовольно запускать руку в государственную кассу. Преступленье — оно есть преступленье, Анохина! Вы это бросьте мне... Хаос проповедовать и разложенье полное. «О народ мой, о народ мой!» В государственном масштабе все мыслить должны. Тем государство крепко бывает, Анохина! Никто не должен!..

— Не должен-то, не должен, конечно...— Анохина всхлипнула и вытерла лицо концом пухового платка.— Жалостливо пела. Я и там, как прислушаюсь, без слез иной раз не могла. А у нее, ну скажи, хоть бы слезинка когда пролилась! Прямо камень и камень.

— И с аферисткой этой!..— повысил голос участковый.— И с аферисткой — короткий должен быть разговор. Ты по закону борись! Живи по закону!

— ...Не все законы на бумагу уложишь,— вздохнула Анохина.— Есть ведь они — и не бумажные вовсе. Чего же теперь поделаешь... Ангина у меня будто началась.

— Вот, Анохина, эта самая шаткая ваша позиция по отношению к закону и вам в вашей жизни в свое время подкузьмила. Подкузьмила — подкузьмила! И судьбу вашу сломала. Вы с феноменальностью вашей памяти, вы бы сейчас!.. А вы — вот! Вот! А вообще-то... спасибо, конечно.

Укрепили вы меня, Анохина, своим рассказом. Бороться с ними будем. Да! Укрепили!

— Да не нервничайте вы...— вдруг отмахнулась Анохина.— Ладно, чего там. Мне домывать надо.

— Минуту, Анохина! — участковый торопился, расстегивая шинель и не обращая внимания на то, что пальцы его вздрагивают и часто дергают пуговицы попусту.— Минуту! Я у Барановой полы мою, сейчас мы с вами. В шесть секунд, Анохина. Тряпка еще одна есть? Давайте...

— А вот этого ты, парень, не делай. Мое дело — мое дело. А твое — оно твое. И ты их не путай. Над своим делом кумекай, иди. Вот так мы с тобой наши дела и поделим.

— Ты чего, теть Кать?..— растерялся Булалаев.

— Надевай шинельку-то. Надевай.

— Ты чего?.. Надеваю. Я — как лучше...

— Ладно!..— ломким голосом выводила Анохина, будто выпевала, и Булалаеву показалось, что она не видит его сейчас.— Ладно!.. Без вашей помощи обходились: обойдемся-перебьемся! Ступай-ступай. Да не в обиде я — ступай. Книжки-то заберешь? А то бы я их завтра за тебя сдала. Не бойся, не пропадут, поди... А и правда, возьми-ка лучше. По закону — тебе их взять все же лучше.

Ноги сами вынесли участкового за дверь и остановились на скрипучих, промерзших половицах широкого библиотечного крыльца. «У вас, Анохина, искаженная зоной психика отсидевшего человека, Анохина. Потому вы исказили мои слова в своем неверно действующем сознании!..» — хотелось оправдаться Булалаеву и объяснить, но дверь, обитая желтой детской клеенкой, уже захлопнулась и разделяла их. «Что я вам такого плохого сделал в своем бескорыстном желании помочь в труде? — шептал он, жалея себя до слез. И с силой поддавал служебным сапогом попавшуюся на пути крупную и тяжелую ледышку. Ледышка улетала иногда в придорожный снег, но Булалаев находил ее в темноте, выворачивал из снега носком сапога и резким ударом посылал скользить дальше по накатанной проезжей части.

...Нехорошая я после тайги к себе вернулась. Не добрая, нет...

Как Бориса Иваныча мы схоронили, нечего мне в отряде делать стало. Да и наши все по другим отрядам решили расходиться, и то, чему он учил, в люди передать с пользой: напрямую так никто не говорил, а видно было по нашим-то. И потом только я поняла — на том свету

светлом, в котором вокруг Бориса Иваныча мы все жили, невозможно обыкновенному человеку самому в одиночку себя вечно продержать. Маятник в обыкновенном человеке ходит: такой маятник, что, коли к светлому идет и долго на этом светлом держится, то и двинется же он в другую сторону! Так двинется — что и себя можно не собрать, и в движении этом к плохому сколько он разрушает всего в тебе, чтобы потом опять в светлую сторону качнуться и высветлить жизнь потихоньку. А к свету светлому выйдешь — уже другой это светлый свет, потому что через разрушение прежнего света новый свет в тебе нарождается. И как же себя хорошо понять надо, чтобы чувствовать, куда этот маятник в тебе двинулся. А если в разрушительную сторону он пошел — учиться еще надо так переболеть внутри себя, чтобы другим людям жизнь в этой откачке своей не осложнить, чтобы на других-то это хоть не сказалось бы никак. Мужество, в общем, надо иметь,— в одиночку разрушением светлого в себе перехворать, чтобы корчи-то душевные твои еще и не на виду были. Это у таких только людей, наверно, откачки-то от доброго не было, у светлых и светлыми рожденных,— у таких, как Борис Иваныч. А может, другой его маятник был — может, на отце его разрушительный широченный ход в ту сторону сработал — чтобы потом в светлое на такую же ширину на сыновней жизни отмахнуть. А коли сам человек помельче — вот и кидает человека по мелкому ходу: туда-сюда, туда-сюда... Не знаю... Потом я это все поняла сама в себе. А тогда и понимать ничего не могла — только несло меня, несло не в ту сторону, и противилась я тому,— а как противиться надо, не понимала. А вот не противиться надо было, коли уж работает этот механизм в человеке. А — перехварывать достойно, для других не видно... Не понимала ничего этого.

Поздней как раз осенью к избушке-то своей я подошла... Только крыша из-за домов завиднелась, вижу — дымок из трубы идет. Кто-то печурку топит. Зашла во двор — никто меня не встречает. Дверь свою толкнула, замок потрогала — заперт замок: не мой — мой-то потеребишь бывало, безо всякого ключа и разомкнется он. И заборчика поперек двора нету уже никакого — разрушился заборчик, только два колышка гнилых посрединке торчат.

К сироткам на крыльцо взошла, давай в дверь стучать — у них, в той половине, печь-то топится. Слышу, скребется за дверью кто-то и голоса не подает, и открывать не открывает.

— Нюра! — кричу.— Мура! Живые, что ли?

Молчат за дверью. И уже не скребутся, а притаились. Потом старушечий голосок тоненький:

— Кто ты?.. У нас мама умерла, мы чужим не открываем.

— Катя,— говорю.— Встречайте.

Уж они в щелки-то глядели, глядели — ну, осмелились, открыли, а узнать вроде никак и не узнают. Согнулись обе в дугу, в морщинах и лиц не разобрать, да еще темно в сенях. Стоят — чепец к чепцу.

— Не бойтесь,— говорю.— Лоскутков вам, может, завтра каких придумаю.

Ну, запрыгали. Да все как девочки — пищат, смеются, друг дружку обнимают:

— Катя наша приехала! — а от меня отодвигаются: по новой им ко мне привыкать надо.

Не пошла я сразу в пустую свою половину. Налила у них в рукомойник теплой воды из чайника, умылась, причесалась. А они то́ на рюкзак мой глядят, который я у двери бросила, то́ на меня, чепцами трясут, подарков ждут. Нюра сообразила,— кипятка мне в стакан плеснула, а сама:

— Катя! У тебя, Катя, голова другая.

И Мура:

— Другая! Другая, Катя...

В зеркалишко их облезлое на комоде заглянула — побелела голова.

— Ладно,— говорю.— Вот покрашусь, может, чернее прежней буду. Вы,— говорю,— обе тоже не красотки. Не помолодели. Вон как старостью-то у вас в избе пахнет. Старухами пахнет.

Ну, Нюра вскочила, давай себя по бокам хлопать:

— Почта у нас теперь есть, Катя!

— Какая еще почта?

Два письма несут: от Аркадия Ильича, от Павла. А я и читать ничего не хочу.

— Усну я у вас сейчас,— сироткам говорю.— А вы вдвоем на одной койке поспите. Может, и не подеретесь как-нибудь друг с дружкой.

И как упала, так уж под вечер проснулась на другой день. Голова со сна тяжелая, шевельнуться не могу, только слышу: сиротки шмыгают, шепчутся, боятся, как бы не стукнуть чем да как бы дверью сильно не хлопнуть. С полчаса еще глаза не открывала, лежала. А поднялась — сидят мои старушки за столом, ручки на коленях сложили:

обносились старушонки. Глядят. А на столе хлеб свежий нарезан и картошка на тарелке алюминиевой дымится — почистили плохо, с глазками. Раньше-то поаккуратней были... Приготовили все на стол, значит, ждут, когда проснусь. Натоплено у них, и чайник на плите шумит.

Опять я умылась, села за стол — картошку ко мне подвигают молчком, в рот заглядывают, как жую.

— Катя! Мы твою половину протопили!..

— ...Больная ты, Катя?

— Не больная,— говорю.— А старая. Вот и вся болезнь. Запить-то дадите, что ли? Давайте мне чайник сюда...

На свою половину рюкзак перетащила. На окнах пыль, гарью пахнет,— печку давно не топили, чадит печка. И нежилым тянет. А пол подметенный. И от Степушкиного ковра снятого — пятно на стене над койкой. Да полки его пустые висят.

Походила из угла в угол — дотрагиваться ни до чего не хочу. И вытащила тут я из рюкзака бумаги, что после Бориса Ивановича остались — большой пакет, бечевкой перевязанный, всю работу его написанную.

«Светлый и верный человек мой, Катя, полагаюсь на тебя и знаю, что передашь ты все это куда прошу. Тут — нескладные труды мои, мой опыт жизни — велика ли ценность его, того не знаю. Но все это обещано десять лет назад Ахурову, чтобы мог он выбрать, обобщить и использовать в работе своей. Мир меняется с каждым десятилетием: как он влияет на человека идеи, на характер его — и как человек идеи способен влиять на мир в переменчивой многоликости его, вот что рассматривает этот ученый Ахуров. При встрече я был удивлен больше всего одним — его молодостью. Но так случилось, что многие люди оказались привязанными к нему — люди идеи и дела, работающие в разных сферах. Он многое значит для нас — наши соображения и опыт проживания в современных условиях не умрут, как не умрет опыт тех, кого давно нет в живых. На свете много неразумного — воздействие человека-разумного на ход малых и больших событий, вот что важно для нас. Опять мы упираемся в вечные проблемы, но во все века у философов, в отличие от теперешних, впереди было время — у настоящих его почти нет. После Хиросимы становится роскошью не действовать, а только рассуждать: либо победа жизни Разумной впереди — либо гибель. Нет уже третьего, не дано того самого, что всегда было на земле. Лишены мы все третьего.

Хиросима же — всего лишь проявление нынешнее того, что происходит в наших душах, душах ныне живущих. Я говорил тебе, и ты помнишь это... Когда ты спросила, много ли нас, «таких», я сказал тебе о «колонии разума» — таково условное определение сообщества нашего, в котором людей становится все больше, и не мог не увидеть, как насторожило это тебя,— так настораживает людей все, существующее de facto, но не de jure.

Я не успел ничего объяснить тебе толком, отложив на потом этот разговор, но чтобы не видела ты ничего предосудительного в том, что должна будешь передать, скажу в двух словах, что значит «колония разума». Это значит, служа профессии, делу, специальности, выполнять лишь Разумное и только Разумное и помогать безбоязненно расти этому Разумному в каждом своем маленьком деле, вычисляя законы роста Разумного. И еще одно — это не рывок, но длительный акт коллективного творчества во спасение цивилизации. Почему длительный... Времена меняются к лучшему, но людям предстоит еще пережить в полной мере этап материального благополучия и только из этого этапа выйти к спасению своему: к жизни Разумной и безбоязненной. А этап этот — тяжелое, наркотическое, по действию своему на души, испытание. Но другого пути — нет: чуме всегда предшествует пир. И среди этого, п о с л е д н е г о пира, будут не только веселящиеся: среди этого пира будут работающие над вакциной, и таких будет становиться все больше. Мир будет спасен, когда не останется веселящихся на этом пиру.

Я потерял Ахурова в последние полгода, но по одному из трех адресов — какой из них окажется удобнее — все это передадут ему.

Я умру, Катя, скоро. Не бойся открыть и посмотреть «опыты», нет в них запретного ни для кого. Там многое — по специальности, многое посвящено проблеме отодвижения энергетического кризиса без нарушения теплового баланса планеты — вряд ли тебя, не специалиста, это заинтересует. Но «теорию искупления» можешь посмотреть. Хотя боюсь, что Ахуров найдет ее наивной. Но — это ему судить, мне же она дорога.

Прощаюсь с тобой, Катя. Прощаюсь каждый день, не прощаясь. Потому что природа наградила меня щедро в последние пятнадцать лет: она послала мне Светлый Лик Женщины, идущей рядом, умеющей ничего не требовать, не сбивать, не будоражить, не отягощать, а — б ы т ь. Быть рядом. Это чудо, Катя. Пока есть мое Я — в самом этом

Я моем есть ты. Существует ли оно в концентрированном, цельном состоянии, или же в рассеянном во вселенной: в нем — ты. Так вышло».

И ни подписи, ни даты. Ничего.

В первый-то раз, когда возле палатки я это письмо прочитала,— похоронили уже Бориса Ивановича,— засунула письмо под бечевку да и подумала: вот и все, Катерина. Пятый десяток тебе, и жизнь твоя кончилась. Прошел твой век. На покой двигаться надо. Домой. Вздохну маленько, в себя приду, почитаю Бориса Иваныча «опыты», да и отвезу в Москву, куда надо. Уговариваю себя так, сижу, а чего уж «отвезу» — сил никаких нету даже на то, чтобы бумаги-то эти оторвать от себя, в другие руки отдать и безо всего в жизни остаться.

А про Степушку и не думала: дома ли он, нет ли — будто кто давным-давно внушил мне, что его и след простыл; да и то сказать — с сиротками, что ли, в конуре моей сидеть будет? Уж в люди поди выбился непременно — чуяла я в нем это, как все-то он внутри себя в одно вцепился: в люди выбиться.

И так без интереса все эти мысли шли; Тарутины далеко-далеко, живут своей жизнью, и опять я одна-одинешенька, только что по спине крест-накрест не прошита. Вялые мысли были... Ну и деньги за пятнадцать лет я хорошие заработала. Как получила, пришила из платка носового карман на рубашку изнутри, крупные деньги сложила и поверху еще ниткой пристегала, чтобы не потерять да чтобы про них не думать в дороге. Вот и кончилось все. Так тогда представляла.

А тут в бумагах его, Бориса Ивановича, роюсь — и где хвоинку прилепленную сниму, где увижу — табак его между страниц просыпан; нет человека — а весь он вроде со мной. И до других мало мне дела. Нехорошо это — а мало дела. И ярче-то всего — не то, что сейчас происходит, и сама себя плохо понимаю — вроде и есть я, и нет меня,— а ярче всего последняя эта ночь у меня в глазах, перед самым утром, в тайге, когда не стало его. На месте старого лесоповала стояли мы, по просеке молодые деревья уже поднялись, и среди молодых этих деревьев палатки наши. И такой холод накануне ударил ясный — август, а земля уже тяжелая, нахолодавшая, и багульник опущенный. А небо-то к вечеру такое, будто кто в вышине огромный по наковальне стучит, кует, звезды с неба так и сыплются — как окалина, во все стороны летит. Хорошо вдруг с вечера Борис Иваныч уснул, да и я уже намаялась с ним, тоже, не раздевшись, уснула — и не заметила, когда

в его палатке уснула, и вот сквозь сон слышу: разговаривает он со мной.

— Тесно тут, Катя, и темно, как будто в могиле лежишь. Выйти мне отсюда хочется, а не могу...

Я сквозь сон-то и не соображаю, чего говорю:

— Что же и выходить? Тут, поди-ко, вся земля — могила...— бормочу,— лагерные всё места...

Слышу — встать он хочет. Очнулась да давай ему помогать. А он и на ногах не стоит. Под пихтой положила его, а ветер такой холодный верховой, что сбегала я за фуфайкой, надеваю эту фуфайку на него, а он будто не чует этого. И исхудал весь — а тут прямо тяжелый какой-то.

— Небо,— говорит,— как бушует... Закат сегодня видела, какой был? Желтым светом пространство сияет и само по себе светится; ветер — и светится воздух... Катя, испугался я, — говорит,— в палатке. Отец вроде во весь рост стоит там; странно, что в палатке — а во весь рост... Он ведь на скрипке играл, музыкальный был человек, и скрипку любил. А у него руки порезанные в крови...

— Хватит про то толковать! — кричу.— Хватит! Не надо. В палатку пойдем, холодно тут, на земле.

— Катя!.. Он ведь там. В палатке... Хорошо на воле. Ветер... Только пихта... Страшно шумит она, Катя. Сильно шумит. Нечеловеческий шум какой-то... Я сегодня на закат смотрел и понял всё — мир вдруг чужой стал, отодвинулся, и меня в нем нет уже; в мире, я живой еще — а он меня отторг, и я вне мира этого уже — болезненное острое чувство какое: вытолкнул мир меня из себя и без меня уже существует, не втиснусь я в него никак. И ветер шумит чужой уже, вне меня ветер... Со стороны я на небо смотрю, на ночь, нет меня здесь, как больно он выталкивает и отодвигается, мир. Да что же шум-то какой! Идут! — говорит, будто этого только и ждал.— Идут уже! Знал я, что в последний час мой... земля разверзнется, и встанут они. Сколько их! Да неужели же их столько?! Осужденных-то?! Да что же это... Колонны ведь, Катя... Со всех сторон, ты видишь? Идут!..

— Кажется тебе! Нет ничего! Идем отсюда! — отбросил он мою руку — сила вдруг такая у него появилась, что отбросил.

— Не хочу туда. Он там... Я — к н и м. Сам дойду.

Ах ты, горе-то какое; кинулась я народ поднимать — не втащу я его в палатку одна! Разбудила мужиков — а смотрю, глазам своим не верю: Борис Иваныч в тайгу

уходит, едва видно его меж стволов, и легко так идет, скоро — никогда походки такой легкой не было у него. Уходит, спешит!

В ту минуту подбежали мы, когда он со всего-то маху да вниз лицом упал.

И что я утром увидала,— трава в суете да толчее помятая, и блестит в ней что-то. Очки его валяются. И не очки, а оправа одна сломанная,— стекла-то в осколки раздавлены. Пошла в тайгу подальше от людей. Да что-то не так в тайге, не как всегда. Пригляделась — а вокруг, метров на сто, считай, трава примята, вытоптана — будто много людей тут за ночь прошло; да неужто наши из отряда, это пятнадцать-то человек, так все вокруг вытоптать смогли? Нет, думаю, не наши. Да скорее, скорее из тайги, к палаткам поближе: ветер улегся, тишина сквозная — и тишине этой больше открыто и известно, чем человеческому взгляду да чувству, чем пониманию человеческому. Знание непостижимое, неведомое в самой тишине той лесной, сквозной растворено, сам свет-то солнечный холодный — не понимаемой человеком жизнью светится и живет, и старается человек понять, что за высшая мудрость этому холодному свечению дана и в нем растворена — а и не увидать того человеку. Только вроде сквозь душу прошла она, неразгаданная,— да в непонимании, в смятении беспомощном душу-то и оставила. Только светом холодным на миг просквозила... Вот как было.

Открыла я «опыты» Бориса Иваныча, пачку отдельную нашла — бумаги, нитками прошитые, «Теория искупления» — поверху наскоро написано и подчеркнуто. Походила по комнатенке, походила, да и читать села. Ну и читала до самого утра.

«Непременное условие спасения цивилизации вижу в умении человека осознать себя вневременно: ты — всегда был, ты — есть, ты — будешь. Ты — Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. Ты — тот, кто создавал этот мир,— и кто подвел этот мир к последней его черте. Ты, конкретный, ныне живущий, создал все открытия, ты строил, ты сотворил все шедевры мирового искусства и, не колеблясь, пошел по пути научно-технического прогресса, не сумев придумать ничего лучшего. Ты — воевал, ты — насиловал природу, не умея осознать принципа всеобщей гармонии мира. Ты создавал этот мир, разрушая его день за днем. На твоих руках кровь твоих братьев, ты убивал словом и делом. К ним прилип пепел крематориев, пепел Хиросимы; ты повинен в голодной смерти детей и взрослых,— ты допустил все это. Во все

века ты вершил правый суд над виновным — и неправый суд над неповинным, множа зло на земле и приближая гибель человечества. Во все века ты вешал ярлык инакомыслия на того, кто осмеливался думать шире и свободнее, чем принято; ты все время сужал рамки духовной свободы и топтал как чуждого тебе того, которого безвинно обозначил ты своим ярлыком,— ты преследовал его до тех пор, пока он действительно не превращался в того, кем ты его обозначил, и тогда ты торжествовал спровоцированные тобою победы — маленькие, жалкие свои победы, воображая себя проницательным и правым,— ты смотрел на дело рук своих,— на изувеченный духовный мир брата своего. Ты торжествовал,— и тебе не было дела до того, что твое зло породило лишь зло и умножило его на земле. Ты — Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний, кто создавал этот мир, убивал себя, и творил неправый суд над собою же, потому что брат твой — это ты сам, был, есть и будешь. И пока ты в благом порыве клеймишь позором фашизм, ищешь виновных в террористических актах, всепланетной мафии, в коррупции — пока ты занят поиском виновных, ты продолжаешь тем самым толкать мир к гибели, ибо виновный во всем этом один — ты сам, Альфа и Омега, Первый и Последний,— ты сам. Пока ты не осознаешь себя Первым и Последним, не воскреснет мир и не сойдет с гибельного пути своего, и конца злу и несправедливости не будет на земле. Зло же и несправедливость — есть смерть цивилизации: твоя смерть, Человек. Вот перед чем стоишь ты, ныне живущий, просыпающийся по утрам от треска будильника и не умеющий сразу отыскать своих носков, завтракающий, едущий в переполненном трамвае, стоящий в очередях, беседующий с медсестрой в вестибюле роддома в первый день жизни твоего сына. Такова твоя вина перед созданным тобою миром и таков путь твой: каждодневный путь твой — это путь искупления многовековой вины. Преклони голову перед началом его: во имя Разума ты идешь на лишения, нищету, на испытание славой и карьерой,— преклони голову перед тяжестью его. Иди,— ты идешь во спасение жизни на земле: и там, где пройдешь — высветлится темное сияние зла, не умножа́й же зла, борясь со злом! Разгляди доброе в злом — и верь этому доброму. Иди. Делай обычное дело свое изо дня в день — бескорыстному и жертвенному легче дается оно — и осуждай за все неудачи в этом деле не другого — себя, и только себя; вина людей — твоя вина, Человек.

Посмотри на руки свои, вспомни все содеянное тобой: твой путь дан тебе во искупление твоей вины. Осознание вины подскажет тебе, что должен предпринять ты и как должен поступить ты в каждую следующую минуту своей жизни в обыденном твоем деле. И укрепится светлое в тебе, и спасение мира станет реальным — если ты подчинишь весь жизненный путь свой — искуплению.

Разгляди доброе в злом и верь этому доброму,— и десятки раз ты будешь обманут, предан, покинут, непонят: ты заслужил это виною своею перед миром людей,— прими это как должное. Ты никогда не будешь обманут, предан, покинут,— ибо нельзя предать, покинуть, обмануть того, кто идет по пути искупления вины. Возьми же на себя всю неприподъемную ношу скопившейся вины, возьми ее на себя, ты преклонил голову перед крестным путем своим,— иди. Делай обычное свое дело — во искупление: спасению Жизни ты подчинил земной путь свой. Ты есть Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний, звезда утренняя и светлая — иди, дабы выжило древо жизни. И ты увидишь новое небо, и новую землю, сначала ты увидишь их в себе самом на этом пути. И небо само — отразит новое небо твоей души, и земля сама — отразит новую землю души твоей, и отзвуком гармонии в тебе самом, рожденной путем искупления, будет гармония мировая — ибо внешний мир — отражение внутреннего духовного твоего мира, который до сих пор ты много разрушал и мало хранил и берег. Иди. Ты никогда не будешь предан... Ты никогда не будешь предан... Ты уже никогда не будешь предан».

Выключила я свет — развиднелось к тому времени в комнате, легла, глаза прикрыла, да опять голос его слышу:

«...Бояться ничего не надо. И никто с тобою не справится, если так-то себя поставишь, никто! Ничем тебя тогда не запугают. Потому что терпенье тогда сам в себе великое ты откроешь. Ничему не удивляйся — хвалят ли тебя, ругают ли,— своему уму доверяй и против себя не иди: своей похвале радуйся — и своего осуждения бойся, потому что ты сам себе — самый великий начальник и судья. Нет такой силы, которая бы неразумное человеку навязать смогла! Нету силы такой. Вся жизнь ведь разумной станет, Катя! Вот только бояться ничего не надо. И все тогда бессильны против тебя...»

А ведь и правда: смерти — и той не боялся. Накануне мне так говорил: «Земля — она что космос. Исследовать ее долго еще. Земля — тайна. Вселенная — тайна. Мозг

человеческий — тайна. Душа — тайна. Смерть — тайна. Можно все опростить и мудрецом себя возомнить. А до истины, до сути — далеко. Что было с тобой до рождения твоего? Сон или что? Что после смерти твоей будет,— сон? И удается иногда вспомнить, что в сне том, который был, и что́ в сне том, который будет, снилось. Удается, Катя!.. Часто я за п р е д е л ж и з н и земной своей заглянуть хотел... Что-то там, на пределе том, между жизнью и смертью, должно быть,— догадываюсь, что́ — а оправдается ли?..»

Жил с любопытством и любовью,— и думала я, что и умрет с тем же: с любовью да с любопытством. Да все же тревоги в смерти его больше было, чем другого всего. Тяжелее она ему далась, чем думал он... Ох, да что судить,— с ним вместе за тот-то п р е д е л не заглянув, как скажешь?

...Я ведь так и не знаю, любила ли я его. Любила, наверно. Не той любовью, про которую люди думать привыкли. Ведь пятнадцать лет — только на него смотрела, и ничего и никого не видала вокруг, и каждым часом с ним дорожила, будто последний это час. Любовь это или нет? А может, она это и есть. А что люди за любовь всё больше принимают — так то и любовью не называется, а так, похожее немножко на любовь? Не знаю. Чтобы сравнивать-то — про других больше знать надо, чем я знаю...

Встала я — и дело себе придумала. До магазина дошла да сироткам четыре отреза больших купила — два ситцевых, два фланелевых, темненьких. Большие отрезы — чтобы и на юбки, и на кофты хватило, да на широкие — как они любят, в сборку.

Сироткам занесла, говорю:

— Спрячьте их в комод, пусть лежат. Сама вот машинку проверю свою, сошью вам. Не трогайте. К Пелагейке съезжу только — и сошью.

Ну и обманула их: ни к какой Пелагейке не поехала, а вернулась к себе да на свою койку легла. И что ты будешь делать — опять меня сон тяжелый, дурной, накрыл. А проснулась через часок — будто тень где мелькнула, да опять, да опять!.. И так тревожно мне — ничего нет, а чего-то изменилось, и никак я не пойму, что. Сердце только колотится, вылететь хочет.

Разгляделась,— а к окошку снаружи лицо какое-то приникло. А стекло пыльное,и лицо это то повыше заглянуть норовит, то пониже, и чье это лицо — не разобрать. И взгляд-то, взгляд этот сквозь пыль, пристальный, я на себе чую, нехорошо мне от этого взгляда.

Встала я скорей — а тут и дверь хлопнула: Пелагейка всходит.

— Ты что как меня перепугала? — кричу.— Что за привычка такая образовалась у тебя по окнам шарашиться? Напугала до смерти.

Пелагейка не слышит ничего, обняла меня, плачет. А у меня такое зло на нее — что по окнам лазит, сразу не войдет? Чудная какая!.. И радости капли никакой нет, одна досада.

— Как ты узнала,— говорю,— Пелагейка, что я вернулась? Кто тебе сказал?

— Да как узнала? Яйца мне приснились, яйца во сне увидала. А это уж, знай, к тому, что явится кто-нибудь. Снится мне — яйца вкрутую варю и все думаю, как бы не всмятку были. Проснулась — ну, думаю, не иначе как Катерина явится. Надо ехать скорей да к приезду перемыть кое-чего тут, протопить...— в платочек сморкается.— Бегу да думаю: приехала уже, может?! И на крыльцо не взошла, а к окошку скорей. А ты вон как меня изругала.

Гляжу на Пелагейку — ни единого седого волоска, и все такая же щекастая. Только бока поплыли, просели: пополнела Пелагейка.

— Мне уж,— говорит,— один раз три года назад так же яйца снились. Так я приходила, все перемыла — у сироток ключ брала. И чуть не два дня тут жила, тебя все ждала... А в воскресенье вечером уехала. Душа изболелась: мальчишка-то мой с братцем-то дураком никак не ладят. Думаю, извел он там поди дурака-то моего...

— Что еще за мальчишка у тебя? — спрашиваю.

А она села на койку да руки и уронила:

— ...А и сама не знаю, что за мальчишка. Ну его!..

И по сумкам своим скорей кинулась, шариться стала — расстроилась. Вытащила трески копченой кусок, три луковки, кулечек с конфетами — «фруктово-ягодный букет» конфеты, да пачку чая. Сроду пустая, ни в войну, ни в другое время, не приходила — всегда уж чего-нибудь да с собой несет.

— Ну,— говорю,— Пелагейка, у нас и пир горой...

Стала хлопотать, керосинку чистить — керосину там на донышке, а зажгла — горит.

— Чайник горячий на плите, только переставить, он у нас моментом вскипит,— говорю.

И пока хлопотала — ничего больше не говорю, не спрашиваю. А Пелагейка всегда болтать без умолку горазда, а тут — поджалась, молчит, глазами водит. Не такая какая-то Пелагейка. Ладно: за стол сели — чай пьем с конфетами.

— Так что у тебя там за мальчишка завелся? Где ты себе его приискала?

Конфетку Пелагейка сосала-сосала...

— А вот,— говорит,— черт его знает, как завелся,— и опять молчок, и весь наш разговор — ни туда ни сюда.

Сидит пьет, пот ее прошиб — утирается.

— Зараза,— говорит,— а не мальчишка. В пятьдесят четвертом, на первое января как раз я его родила, Костечку. Пять лет над ним тряслась — то уколы, то больницы: хворенький родился. Ну и выходила на свою голову, прости меня господи. Пятнадцать лет ему сейчас — такой лоб стоеросовый, что ни одного моего слова не слышит, и как барин какой от всего моего нос воротит. И платье у меня неподходящее, и сготовлю не так, и дома у нас плохо. И сызмала такой был. Начну говорить, что денег на все хорошее нет, а он брови сведет, ногу вперед выставит: «Когда много зарабатывать будешь?» — «А нет, говорю, никогда! Чего есть — то и есть! Вот выучишься — и зарабатывай, сколько тебе надо, и покупай, чего хочешь!» Это ему еще девяти не было, так он меня все спрашивал. ...На другой день вся его песня сначала идет: «Видала у Митьки кафель? У нас когда кафель будет?», «У Игорька на обед первое, второе, третье! А у нас целый день одни щи!» И злой ведь какой — едва-едва меня за грудки не трясет. Ох, Катерина, подрастет — он еще меня и бить начнет, какой злой! «У Игорька-то твоего бабушка — народный судья, ей нанесли-навезли столько, что на десять Игорьков хватит, а не на одного, а мы кто такие? — спрашиваю,— нет, ведь мы никто!» ...Дневник ведет. Не утерпела я один раз, грешница, заглянула. А там про меня ни слова другого нет — «мать» только. «Получил двойку по русскому. Мать разорется». «Завтра родительское собрание. Мать пойдет позориться». Вот ведь какая язва растет. И ведь я до него — не докричусь: будто стенка между нами. А все, чего хорошее из своей души в него вкладываю,— всё в плохое оборачивается, и день ото дня только хуже становится. ...Дурака нашего совсем извел. Плачет дурак-то от него каждый день. То он Костечке свет загородит, то замычит невовремя, то близко подойдет — зашпынял дурака. Вот у нас битвы с утра до ночи и идут. Я уже и порола его за это, да не по нервам мне эта порка, Катерина: сама же плачу, с сердцем плохо, валидол ищу, разогнуться не могу. А он и не испугается, что мать вот-вот концы отдаст,— и лекарство-то не подаст, не кинется: мол, что с тобой, может, врача вызвать? Щерится только и вроде рад, что я так загибаюсь. И дурачок мой

бегает, плачет, глаза у него прямо больные: жалко ему меня, за меня страшно... А Костечка хоть бы что! Косится только, руки за спину, ногу выставит, да как начальник глядит. И только что не говорит: так тебе и надо. Да скажет еще!.. А я как в глаза Коленькины хворые погляжу, как он переживает,— ну убила бы Костечку-изверга!..

— Это в кого же ты его такого выродила? — говорю, чай прихлебываю.

— Да в кого...— вся Пелагейка и обвисла.— Не знаю, в кого... Может, в н е г о... Да и он-то, поди, уж не такой... А этот — ох, не знаю...— бормочет. Ну и запнулась: не идут у Пелагейки слова.

— Пелагейка! — говорю.— Ох, что-то ты, девка, крутишь. Что еще за о н? Заикнулась — так и говори. Вокруг да около елозишь, себя же и измучила. Что я, не вижу, что ли? Какая непрямая ты стала!

Начала она конфетку разворачивать, да опять в бумажку заворачивать туда-сюда, вниз смотрит.

— ...Я про тебя узнать сюда приходила. В марте как раз, в пятьдесят третьем... Ты уже приехать должна бы была... Вот... Приходила...

— Ну! Я ей про Фому, а она мне — про Ерему!..

— Да нет, Катерин... И я про Фому...

Гляжу на Пелагейку — совсем она смешалась. И так я все понимать начала, как и быть на белом свете не может. Да неужели же, думаю...

— Тут, что ли, еще был?.. Фома-то?

— Тут... В июле к Павлу в Москву уехал.

— ...Ну хорошо же ты, Пелагейка, про меня узнавала и обо мне позаботилась хорошо...

Заплакала — тихонько плачет, сидит.

— Не стыдно мне про то, что в тот вечер случилось... Там я в одном виновата была: что не орала да стекол не била. А ведь больше-то мне уж и не оставалось ничего...— говорит, а язык-то у нее будто чужой, будто к нёбу липнет.

— Ладно придумывать! — оборвала я ее.— А то я не знаю, на какое дело ты сама скорая, а на какое нет.

Повесила голову, не перечит. Утирается только.

— Катерин...— совсем уж потихоньку говорит.— Дальше-то что я вытворять начала... и того хуже...— тут слезы-то у нее в три ручья полились.— Караулить его стала, Степана-то Викторовича, навязываться ему стала, вот чего! Сколько я натерпелась, наунижалась, сама себе противная была. И до сих пор противная... А он — и не глядит, и

меня не узнает: «У меня работа научная, Пелагея Васильевна, я вас не приглашаю!» А я до чего ведь себя довела: сюда ездила, и вот в это окошечко все заглядывала — дома или нет, ночевать пришел ли? Не прячется ли он от меня? Да свет специально не тушит ли? Проверяла да выслеживала. И ничего я, Катерина, с собой поделать не могла. Вот ведь как было, и сколько подлости этой на мне... Все я думала, что какие-нибудь слова он мне опять сказать должен, и не верила, что вот так вот отгородится он от меня — и все на этом. Никак не верила.

— Соврала ты,— говорю,— Пелагейка, маленько. «Слова опять сказать должен...» Не опять. Никаких слов он тебе не говорил, ничего не обещал. Сама ты себе их навыдумывала, а потом ждала,— захотела, чтобы говорил.

Помолчала.

— Может, и так, Катерина. Наверно... Как я мылась тогда, Катерина, чуть не каждый день в баню ходила, и мочалкой себя терла, как только кожа на мне уцелела! А из бани выйду — грязная. Грязная — и все. И что я тут под окошками лазила да ему сказать хотела чего — что Костечка у меня от него будет. А подкараулю — и так мне глотку от одного его взгляда сведет: рот разеваю — а и нейдут слова, нету их, не могу... Так ведь и не сказала ничего... Не знает он ничего про Костечку моего.

Тут я с горя-то и засмеялась:

— Твое счастье, Пелагейка, что не сказала!

Глядит во все глаза — не поймет.

— Твое счастье! — кричу.— А то и с тобой, как со мной, неизвестно еще чего после этого было бы.

Только она все это — мимо ушей, да и говорит:

— А вот, Катерина, как хочешь,— а такой он человек положительный, что ничего к нему не липнет! Другой-то, если блудник, подлец, иуда — его сразу и видать: и глазки бегают, и рожа подлая. Мошенник если,— вот вроде кто ему на лбу написал: «я — мошенник...»

— Это,— говорю,— у стыдливых мошенников и подлецов все на лице. А у нестыдливых — и отметины никакой на них не задержится. Все с них как с гуся вода, и всё они — хорошие, а другие — плохие.

А она:

— Вот не липнет! Не липнет к нему никакая грязь! — так и твердит.

— Да ведь,— говорю,— один, что ли, он такой?! Сейчас много таких разводится, среди начальства особенно,— насмотрелись мы на них с Борисом Иванычем. И еще больше

разведется. Видала я, приходилось, как на базу-то возвращались на зиму. На травке они зеленые, на камушке — серые, такое обличье выработали от бесстыдства, что и не разглядеть их. Хорошие, степенные, понимающие. Ловкая порода выводится, что порядочнее порядочных выглядеть научились. Временщики! Борис Иваныч так их раскусил и так определил... Жалел только их, правда. Говорил: к земле как временщики относятся, одним днем живут,— откачать из нее больше, обобрать-ободрать, ограбить. Да и с душой своей то же самое, что с землей, делают. На усладу себе, на удовольствие, сейчас да рывком, да побольше,— и с души своей побольше ощущений хороших содрать норовят. А душа-то и оскудела, онемела, про ограбление души собственной на дешевом да скором Борис Иваныч-то говорил. Временщики-смертники... Ничего святого в себе не оставят, все в ход пустят, а не знают — что прополыхает все по дешевке: вот с мертвой душой и живут. Одна видимость и остается — и степенная, и солидная, положительная!.. Видимость одна. Оборотни.

А она — не знаю: слушает — не слушает, а пришептывает все:

— Нету на нем грязи!.. Нету грязи на нем!..

— Грязь-то ведь,— говорю,— ее на чистом видать. А на грязном — не скоро разглядишь.

Тут Пелагейка моя очнулась, за руку меня ловит:

— Как, ты говорила, он про них сказал? Вот, человека ты называла... Жалел он их, ты говоришь? А за что, не пойму я...

— Так пустые же изнутри и собою ограбленные...

— А я бы вот пустоты хотела. Пустота-то — все ведь не боль. Устала я от боли. Пустота — и лучше.

— Эх, Пелагейка, пустота — это ведь ты что думала? Смерть при жизни — пустота.

— А вот ты так сама говоришь,— а мало у тебя душа за него болела, за Степана Викторовича. Болела бы у тебя душа за него — вернулась бы ты. А ты — не сильно разбежалась! — это вроде корит она меня.

— Откуда ты знаешь, когда и как она у меня не болела?..

А Пелагейка и сказать не дает:

— У меня ведь, Катерина, оправданье перед тобой было. Все время оправданье было: недорог он тебе — вот что я чуяла! Знала я: не вернешься ты к нему и держаться за него не будешь! Не сильно-то, Катерина, вини меня! Уж я бы на твоем месте... А ты вон хвост завила — и в тайгу.

— Держаться за того человека можно, которому надо

это. А обузу-то для него что из себя делать?.. Да не переживай ты, не изводись. Правильно, может, ты и думала. Сидела бы я, как ты, на одном месте, так, может, до сих пор бы за него хваталась. А потом мочалкой терлась бы, себя бы не уважала. А мир поглядела — мир-то чистый какой, всего в нем намешано, а все равно: чистый. Это когда сравнивать не с чем, за таких держатся, дорогие они сильно на безрыбье становятся...

Тут Пелагейка ровно нашатырного спирта нюхнула.

— А нехорошая ты, Катерина, стала. Холодные слова-то какие, недобрые, не бабьи, говоришь. Не всякий мужик про баб так рассудит. Ой, Катерина, до тла ты прогорела — зола одна в тебе.

Я и рукой махнула:

— Ладно, Пелагейка, я-то, может, еще и опомнюсь. А вот ты — не знаю, поднимешься ли. То о тебя мужик ноги вытирал, то мальчишка его теперь ноги вытирает. Ты и из-под мальчишки выбраться не можешь. Удивляешься, чего мальчишка у тебя такой... А какой же он еще родился-то бы? Когда от блуда мальчишка. Не оттого, что душа в душу вошла — родился, а... тьфу, от мерзости да прихоти временной. Вот такие они и родятся от этого. На голой-то похоти. Вот и души в них нет. Вам ведь некогда ждать, чтобы душа-то в душу вошла... Вот он через тебя и перешагивает.

— Как ты, Катерина, шибко далеко замахнулась! Он ведь, Костечка-то, мой. Вот ты сама не рожала, а судишь! Мой он! А ты — как страшно про него говоришь.

— Ну вот и мучайся. Страшно я, видите ли, говорю... Другая бы на моем месте, Пелагейка, куда бы страшнее тебе сказала! Она бы, другая-то, после всего — так бы тебе сказала!! Да ты для меня сама-то — дороже, чем он. Вот я так и говорю. Дурочка ты дурочка. Дурочка с переулочка.

Ну и просветлела после того моя Пелагейка. Завздыхала — кончилась вроде ее мука. И со стола давай убирать, и окна мыть засобиралась:

— Зима скоро, а мы сидим! Давай-ка, пока белые мухи не полетели!..— говорит.

Да приостановилась.

— Там, на столе, конверт тебе лежал. Я ведь так и не открыла его. От него это... Брала ты конверт? — и к столу Степушкиному скорей кинулась.

— Нет,— говорю.— Пусть. Много у меня конвертов нечитаных, поважнее этого...

Смотрю — а ей неймется, и про окошки она забыла. Не стала уж я ее мучать:

— Возьми да прочитай вслух! Если уж охота-то больно...

Несет она конверт этот — руки трясутся, бумажку-то вынимает.

— «Катя! От тебя не было ни одной весточки. Я понял, что не хочешь ты продолжения. Потому не стал разыскивать твои следы, не зная дум твоих и намерений... Уезжаю в Москву. Павел Тарутин теперь ректор. Должен помочь с аспирантурой и вообще. По-моему, я в нем не ошибаюсь, Выучился я, Катя, благодаря твоей доброте и терпению. Спасибо за приют... Я так мало сделал для тебя хорошего. Вечно в долгу перед тобою.— Степан О».

— Да,— говорю.— Мало сделал. Хорошо, что не много.

— Да неужели же ты про анонимку ту, по которой вас судили, на него думаешь?! — Пелагейка кричит, из себя выходит.

— Почерк изменить можно,— говорю.— А как адвокат анонимку ту зачитывал, да словечки уж очень знакомые послышались... Ладно. Не хочу греха на душу брать. Только в заключении уже часто же мне те словечки знакомые слышались. Так у нас никто больше не говорит. Ладно. Был — и сплыл. И нету его.

— Ох,— Пелагейка-то говорит.— Как бы, Катерина, продолженья какого не было. Боюсь я...— ежится.

— Какое к бесу продолженье! Это ты его не боишься, а — хочешь, продолженья-то. Мне-то оно, уж точно, ни к чему,— говорю...

Проводила я Пелагейку да и думаю: причащали тебя, Катерина, к вере в хорошее, причащали — а жизнь, она вон как все выкрутила-перекрутила: так, что ты, причащенная, этого хорошего в человеке и на дух понимать не хочешь, а вот Пелагейка-то непричащенная твердит: «Нет грязи на нем!» — да и все тут. Вот и цена твоей вере, Катерина, выяснилась. На два шага только от Бориса-то Ивановича ты отошла,— как и посыпалась вся твоя вера, и ничего ты с собой не поделаешь. Вот как...

Ну, а через день-другой приходит ко мне Ванюшка-фирсиянин. Едва я его узнала! Все мальчишка и мальчишка по улице бегал, а тут взрослый парень какой-то чудноватый заходит. Лицо длинное — сонное, нос на сторону маленько, и так он человеку в глаза глядит, как будто вот и ждет, чтобы на твои слова какие-нибудь сильно удивиться. Ну он и в парнишках чудной был... Как в школу пошел, так

про себя самого околесицу понес: «Я, говорит, по национальности — фирсиянин!..» Хотя какая тут национальность, когда фамилия у них — Фирсовы. Так вот людям голову и морочил. А с тех пор-то по-уличному и стали их всех звать — фирсияне: дед-фирсиянин, Анна-фирсиянка, Кузьмич-фирсиянин, ну и Ванюшка, значит, фирсиянин.

И вот Ванюшка степенно взошел, поздоровался.

— Я,— говорит,— теть Кать, как в тимуровцах сироткам мы помогали, так до самого вашего приезда к ним заходил и чего надо — делал. Может, и вам помочь надо?

Я ему говорю:

— Тебе заплатить, что ли, за сироток-то или что?

— Нет, что вы, теть Кать, ничего мне не надо, а вот вы про север расскажите, я, может, туда подамся.

— Ну, если дрова нам расколотишь, то и расскажу, Ванюшк,— говорю ему.

И правда,— дрова он нам все переколотил, а вопросы в это время у него вот какие были:

— Вы там с голоду, теть Кать, не помирали? Не случалось?

Я удивлюсь-удивлюсь да и скажу:

— Ничего. Жить можно было, друг друга вроде не переели.

Он все и дрова колоть перестанет:

— Ну? — говорит.— Вот никогда бы не подумал!.. А насчет этого дела там как? — по шее себя щелкает.

— Да магазин-то в последний раз, где мы стояли, от нас в четырнадцати километрах был, близко.

— А морозы-то поди шибче, чем у нас? В резиновых сапогах зиму не проходишь?

— Какие резиновые сапоги, когда поверх валенок зимой лед намерзает.

— А как же золотоискатели? — спрашивает.— В чем ходят? Видали вы их?

— Видала, чего же их не видать. В валенках ходят, а все больше в унтах.

— По тыще небось в карманах носят?

— А кто же их знает, может, и по тыще...

— Ну? — говорит.— Вот никогда бы не поверил. А вот ящик коньяка на двоих купить — они смогут или нет?

— Да смогут, наверно, чего же...

— Никогда бы,— говорит,— не поверил! Да, теть Кать, это не то что в нашей пожарке. У нас такая скукота, что чего только не передумаешь, а жизни настоящей нету. Думаю, вот тетя Катя приехала, то-то небось всего навидалась!..

Гляжу на него — плечи широченные, силы огромной парень, а куда себя деть, не придумает. И ты ему чего говоришь, а он будто и слушает, а сам в этом разговоре грезит будто.

Как вдруг стучится ко мне участковый,— совсем мальчишка, глаза-то детские... После курсов его сразу к нам прислали. Стеснительный... И все ему посолидней представиться хочется: в перчатках нитяных серых, и красную папку под мышкой держит.

Я ему табуретку подставила:

— Садитесь. Чего к нам по такому холоду? Документы проверите?

— Нет, вы свой срок отбыли — у меня с вами порядок, я еще ближе только познакомиться хотел, должен я свой участок знать и с людьми систематически разговаривать. Старый участковый хорошо здесь работал, на повышение пошел, так мне надо участок в порядке держать, потому всегда ко мне обращайтесь, если что, Анохина.

— Ладно,— говорю.— Интересует вас что?

— Меня,— говорит,— вообще-то интересует бабушка, которая напротив вас живет.

Покраснел, перчатки с руки стягивать начал.

— А чего,— говорю,— в ней интересного? Из старых ссыльных вроде она... Книжку читает с утра до ночи, не выходит никуда. Ее дело. Какую-то К н и г у Ж и з н и, что ли... Так старики говорят.

— А не религиозные ли она книжки читает?

— Да откуда же я знаю? Я к ней за ставни не заглядывала. Огонек у нее все ночи горит, а так ее и не видно никогда.

— Я,— говорит,— только мнение людей узнать хотел.

— Да вы у нее самой спросите, она вам лучше все про себя расскажет, если вы до нее достучитесь, конечно.

— Ага, значит, вы так думаете, Анохина...— на ус мотает.— А вот чего еще у вас я спросить хотел: правда это вы рассказываете, или все же присочинено здесь? Истории разные про север широко по участку нашему разошлись.

— Да какие же истории?

Тут у него глаза заблестели, и самому сделалось, вижу, страх как интересно.

— А вот как бич один за четырнадцать километров в резиновых сапогах за ящиком коньяка бегал.

Засмеялась я, поняла откуда ветер дует, Ванюшку-фирсиянина вспомнила, и самой мне любопытно, чего вокруг этого народ накрутить сумел.

— И как же это он бегал? Вы уж расскажите, чтобы я сама-то хоть знала.

Положил он тут свою папочку, шинельку расстегнул:

— А так вот говорят. Вот будто на улице шестьдесят градусов мороза, а в избушке, вроде в аэропорту избяном,— сорок, хоть и батарея топится. Один самолет туда вроде, АН-2, прилетает И сидит вроде бы в этой избушке третий день бич, в фуфайчонке, и в сапогах резиновых. И вы в этой избушке самолета ждете тоже который день. Вдруг дверь распахивается и входят двое с приисков, в унтах, смертельно усталые, из тайги только вышли. И говорят бичу: выручай, браток! Вот тебе тыща — сбегаешь, может, за четырнадцать колометров за коньяком? Тот слова не сказал: тыщу в карман, сапоги снял, кипятку в них из батареи парового отопления через кран полные налил, ноги в кипяток всунул и побежал по морозу трескучему со страшной скоростью. Вы будто с золотоискателями-то смотрите — только точка черная вскоре на горизонте, все уменьшаясь, исчезла: так, значит, он в сапогах-то рванул. И вроде бы получаса не прошло, как черная точка показалась. И со страшной скоростью приближаться стала: бич с ящиком коньяка на плече назад бежит. В избушку вбежал, ящик поставил, сапоги свои снял, да лед из них и вытряхнул,— и сло́ва от него никто не услыхал. Так золотоискатели и вам, и ему коньяку налили и сами выпили, и благодаря этому не замерзли и от холодной смерти до самолета спаслись?..

— Это какой-то большой мастер сочинял,— я и руками развела.— Ну-ка, а еще чего говорят? — знать мне хочется.

— Да много чего...— смущается.— Вот, например, как вы, в геологах когда работали, поехали куда-то, да по пути вас буран застал. И на лесничьем кордоне вам зимовать пришлось, и все съестные припасы у вас вышли.

— Ну и как же? — говорю.

— ...А на кордоне том жил лесник с троими малыми детками, его брат — детишкам дядя, значит, и жена лесникова. А тут и вы по пути оказались, поскольку в одиночку из магазина возвращались: кто говорит — из магазина, кто — из швейной мастерской где пиджак себе заказывали (я — только головой качаю: ведь Пелагейке одной я про швейную мастерскую да про кордон лесничий рассказывала, и как это так может быть, чтобы все это уже по свету гуляло — ума не приложу),— а он дальше рассказывает: — ...И вот вскорости вся семья, снегом зане-

сенная, стала жестоко голодать. И всем смерть голодная грозит. И тогда дядя так решил: у него ни детей, ни жены, а с женщин какой спрос? — решил собой пожертвовать, ногу отпилить. А чтобы с анестезией вышло, так он ногу в дверь до нужного ему места высунул на улицу — и заморозил. Да и отпилил замороженную часть. Да тем всех и спас. Все и выжили за счет его инвалидности. И с тех пор дети выросли, на работу устроились, дядя на одной ноге в свой город давно вернулся, а вы все — лесник с женой, трое детей и вы, Анохина, ежемесячно этому благородному человеку за спасение переводы шлете по 20 рублей. Чтобы у него пенсия была в сумме 120. А про то, что вы человечину ели,— скрываете и никому не признаетесь.

— Господи,— говорю,— да зачем же людям ужас-то такой сочинять надо! — да раздумалась: — Одно сходится,— говорю,— что деньги в сберкассу положила, и перечислением они ежемесячно, небольшие деньги, Пелагейке переводят до мальчишкиного двадцатилетия. Ну как это все связать можно было — диву даюсь!..

Тут он вздохнул с сожалением:

— Значит,— говорит,— фольклор? Народная потребность в формировании мифа? Мы живем,— говорит,— видимо, в пору формирования мифов нового порядка, а это — невразумительные попытки формирования, видимо. Я так думаю. Народ без мифотворчества вообще, по-моему, немыслим и невозможен.

Тут уж и я на него во все глаза уставилась. А он как ни в чем не бывало продолжает:

— Этот вопрос меня ужасно интересует, Анохина,— фольклорные течения в современной действительности. Я и записываю уже давно кое-что,— говорит.— Людям чуда хочется, без чуда скучно, не хватает чего-то душе без чуда... Если что — так сразу обращайтесь, Анохина. За стенкой у вас две женщины беспомощные, вы вот тоже... Всегда поможем.

Ушел он — а я и в себя не приду: что же это за участковые такие на свет народились, каких и придумать не придумаешь? Ну и поняла, что не без того это, чтобы, значит, Ванюшка-фирсиянин в пожарке своей от тоски чего не насочинял. Да все думаю: надо же, как угораздило его этакое-то выдумать! В окошко выглянула из-под низа, где лед не намерз,— участковый наш, вижу, в шинельке своей тихонько к бабушке в ставни постукивает, папку красную под мышкой поправляет, от морозца притопывает.

А как Пелагейка подъехала, взглянула я на нее — ду-

маю, ох, надо с ней мне следствие провести, знаю я ее длинный язык.

— Вот скажи ты мне, Пелагейка, когда ты ведра схватила да за водой к колонке побежала,— про что это ты там, у колонки, с Анной-фирсиянкой битый час разговаривала? Помнишь или нет?

— ...Ничего я ей такого не сказала. Вот истинный крест, ничего! — и брови свела.— Так, пару слов друг дружке сказали — да и все... Она мне говорит: это где же Катеринку Анохину по свету носило столько лет? Я говорю, ох, так далеко ее заносило, что, поди-ко, туда, где самоеды одни раньше жили. ...А она мне: что же, теперь-то они там уж не живут? Я так прикинула, да ее, Анну-то, одернула: сейчас такого названия с а м о е д ы, в советское время, нету. Сейчас они по-другому называются, а живут — там же. Анна тут сильно заинтересовалась: что же, говорит, она к ним заходила там или нет? Я говорю: а чего им, геологической партии, к коренному самоедскому населению не зайти, если буран разыгрался... или продовольствие кончилось?.. Вот — все мои слова, Катерина! Так — про то да про се маленько потолковали, вода-то из колонки — едва течет... Пока дождешься, когда один наберет, да другой наберет, да пока в свои ведра нацедишь... А чего?

— Да вот хоть и плохо она течет, Пелагейка,— говорю,— а совсем она у вас не держится с Анной-то,— объяснять больше ничего не стала.— Много разговоров, Пелагейка, ходит оттого, что язык за зубами не держим.

Она тут рукой махнула:

— Ох, Катерина, разве в словах дело, когда подумать не успеешь — а люди уж это знают!.. Я уже на электроламповом заводе на конвейере работала, лет пять назад это было, так пришел к нам на участок мастер новый, солидный человек, серьезный. И за контролершей на ОТК ухаживать стал, за Чигиной... А эта Чигина так перед ним ломалась, что вся извыделывалась. И я на эту Чигину смотреть уже спокойно не могла, такое меня зло брало. И только раз грешным делом и подумала: уж так-то ломаться я бы перед мастером никогда не стала, перед солидным человеком, самостоятельным. Потому что, кто она такая, сама-то Чигина? Пустозвонка. Так вот эта Чигина не поленилась, к нам на конвейер пришла, кудряшку под платок пальцем подтыкает и мне на ухо кричит: «Знаю, знаю, что у тебя за мысли насчет мастера нашего! Все знают, не думай!..» А я, Катерина, как только Чигина отошла, так все как есть и поняла: мы все и наш мир

весь — все мы радиоволнами пронизанные теперь. Прошивают они нас, Катерина, насквозь! И ты, Катерина, хочешь, чтобы это бесследно прошло? Нет. Я думаю, что они попутно кое-какие мысли наши с собой утаскивают и бесшумным образом разносят. Потому что, Катерина, возьми старое время, когда никаких радиоволн не было: сколько в старое-то время тайны во всем содержалось?! Какую книжку ни откроешь — ну и что там? А то, что в любой — тайна на тайне сидит и тайной погоняет. А сейчас погляди, что творится! Сейчас ведь уже втайне ничего не удержишь. Рта раскрыть не успеешь, даже придумать ее как следует, тайну, еще не придумаешь — а уж эта твоя мысль по свету носится. Носится прямо как бешеная, и всем людям она уже известна! Это радиоволны, Катерина, из нас их навылет прямо вышибают, тайны-то, вот чего. Я после Чигиной сразу это дело с радиоволнами-то раскусила. Думаю — нет, не от взрывов на полигоне, а от радиоволн все это идет. Тебе, Катерина, конечно, научное объяснение какое-нибудь подавай. Ну а уж я по-простому-то так думаю. Мне теперь все понятно. Ничем ты меня, Катерина, с моим пониманьем теперь не удивишь.

— Конечно,— говорю,— ты сама как репродуктор. А Чигина твоя — молодец: и тебя раскусила, и цену себе набить умеет. Была бы ты похитрее, и ты бы такая была. А простота в сердечных-то делах твоя — она хуже воровства.

Пригорюнилась тут моя Пелагейка да на меня будто с жалостью глядит:

— Катерина — прямо вредоносная ты какая-то, Катерина, после тайги стала.

— Много я и хорошего по свету выглядела,— говорю.— Да погоди, Пелагейка, не касайся ты этого хорошего — я и сама с ним когда-нибудь слажу, как болеть оно во мне немножко перестанет. А сейчас уж не суди меня, сама с собой никак я еще не разберусь.

Посидели, в общем, вечерок...

К обеду проснулась, смотрю на потолок — совсем балка просела, думаю, ремонтировать давно дом-то надо, тесом обшить хорошо бы, деньги-то есть... Да рамы поменять бы, только в зиму какой ремонт затеешь? Подпорку разве что под балку поставить, чтобы потолок на голову не упал. Да побелить у себя да у сироток, и у них потолки черные. И хорошо так видно, как давно стены-то небеленные; паутина по углам. Сразу, как вошла, не сильно это в глаза бросалось, а тут вся грязь вдруг на виду сделалась:

светлее будто в избе стало. К окошку подошла — вон оно чего; снег за ночь выпал. Схожу, думаю, к сироткам, как у них потолок-то, тоже небось просел, так если подпорку у себя ставить, уж за одним делом и им тоже, если надо. Стучусь — не достучусь. Открыли — заспанные обе, и кровати у них незастеленные.

— Да вы что до сих пор спите? С ума сошли, что ли, обе?

Стоят в своих рубахах ночных, косматые, без чепцов, и одеваться не думают, переглядываются.

— Одевайтесь,— велю им.— Что вы как две шишиги? Я вам пока печку растоплю.

Дрова у них с вечера приготовлены, и ведерко угля припасено. Вожусь с печкой, на них не гляжу — а глянула, да и обомлела, бочком-бочком к умывальнику обе идут, а на юбках да на чепцах лоскутков новых понашито видимо-невидимо. Это как заперлись они с вечера, так мои отрезы-то все на лоскутки и кромсали, да на юбки свои вразнобой нашивали, и на чепцах, смотрю, по два ряда оборок новых насборили. Ну не чертовы ли старухи? Будто кто в лоскутные одеяла их обеих одел. До утра, поди-ко, нашивали. А чуют обе, что не велено им так-то делать было, носами шмыгают, да глаза отводят. Ну я и рукой махнула:

— Ходите так, коли нравится. Красиво если у вас это считается — ходите.

А они не понимают, чего я им говорю — виноватятся, мнутся.

— Хорошо! — говорю.— Нарядно. Молодцы. Не ленивые какие. Вот отодвигайте все от стен, в кладовке белой глины много лежит в бочке, белить от вас начну сегодня, да, может, и до своей конуры нынче доберусь с побелкой-то.

Да где там! Черноту на один-то слой никак не смою, все у меня полосами идет, хоть и водой сначала пробеливаю,— сиротки по полведерка из колонки носить не успевают. Два дня, с утра до вечера, провозилась, ну и выбелила зато так, что будто солнышко в избе-то взошло. Так свежо стало — воздух-то совсем другой и в той половине, и в этой. А как закончили, все по местам расставили да перемыли, поглядела я на сироток — а они пуще меня в побелке с ног до головы, хоть и кистью не махали. И как ведь перемазаться-то так сумели. Погнала я их тогда в баню, сама отмылась, и их пропарила.

...Да только на другой день, как отдохнула, в чистой-то избе, и поняла, что могу теперь письма тарутинские читать,

вся душа моя к этому подготовилась. А то ведь и прочитать надо, каждую минуту про письма эти помню, а знаю и другое: еще только капля одна горя какого мимоходом на душу мою упадет невзначай, и все — или свихнусь насовсем, или так она меня пришибет, что и себя не скоро соберу. В том-то состоянии, в котором домой я заявилась, если какая опасность где есть да переживание какое — лучше мне до поры это отодвинуть: любой пустяк меня разорит-разрушит. Не вынесу. А тут, после побелки-то, чую — оживела. Могу. Читать письма стала, и первым делом — от Аркадия Ильича. Да не письмо там оказалось, а на открыточке наскоро написано:

«Катя, не пиши и не объявляйся, столько, сколько тебе самой это надо. Но уговор наш при расставании — помни, в любое время помни, Павел в том слово дал. Будь счастлива, Катя». По штемпелю — июль 1952 года.

От Павла первое взяла, пятьдесят девятым годом помеченное, сентябрем-месяцем.

«Катюша, здравствуй. Еще как Степан Викторович к нам приехал, узнали про несчастье твое от него. По подсчетам нашим ты уже давно дома быть должна. Мы ждали все это время вестей от тебя. Ждем до сих пор. Папу похоронили семь лет назад, в июле. Он так и не узнал ничего о постигшей тебя беде, но все время тревожился на твой счет. Вспоминал тебя. А Степан Викторович стал совсем близким нам человеком. Преподает на кафедре нашего же института. Немного ленится, я ругаю его за стремление постоянно склоняться в сторону накатанного и беспроигрышного, которое усматриваю часто. Но, может быть, не из-за лени это, а скорее из-за недоверия себе. Азарта в науке не хватает ему и безоглядности. Да, да,— это результат неверия в себя, может быть — неспособность к риску. Но это проходит, когда человек втравится в науку глубже. Потому верю в него. Хотя для подстегивания, понимая, что это не совсем так, продолжаю поругивать его за лень. Впрочем, вижу и еще одно — что он больше любит исследовать жизнь для того, чтобы ж и т ь, а не во имя самого исследования как такового. Но за это нельзя судить человека хотя бы уж потому, что талантом ж и т ь не каждый обладает. Для нас же, для нашей семьи он стал родным. Такой вот фокус произошел, что после смерти папы наши с Ниной отношения вошли в фазу супружеской усталости и будто бесцветности: пусто стало без папы, и... пасмурнее. Степан же Викторович со своей жизненной энергией и отзывчивостью невероят-

ной внес дыхание новое — ни я, ни Нина не можем не ценить этого. Горевал он тут по поводу завершенности необратимой ваших отношений. И я, и Нина старались отвлечь его, как могли,— что же тут поделаешь, коли не сложилось, и если тебе, Катя, оказалось это ненужным. Тут нет виноватых. Потому сейчас и мы с Ниной, и думаю, что и ты тоже, рады, что жизнь его выравнивается,— оставил он, наконец, свои намерения прожить в одиночку и на днях буквально женится. Жена его будущая — человек холодноватый, подчеркнуто недоверчивый, с нами не сошлась, хотя и была у нас раза три. Она много ездит по архитекторским своим командировкам, и запущенную поэтому квартиру огромную ее отца, в которой она уже три года как живет одна, Степан Викторович кинулся со свойственной ему хозяйственностью отделывать и ремонтировать еще до всяких матримониальных планов; так сказать, безвозмездно. Потом уж только у них все и сложилось. Я вижу, что она, несмотря на то, что бука, человек славный. Нашему же с Ниной Лёне исполнилось на днях — да-да! — 13 лет. Такой у нас растет молодой человек. Правда, тревожно за него и мне, и Нине — живет не в миру, а целиком в своей математике-физике. И друзья у него... уж очень своеобразные. Ну да ладно. Похож отдаленно на Лёню — нет, в основном-то он в Нинину родню, но есть у него в глазах такая нотка Лёнина.

Пишу тебе очень подробно, надеясь на то, что это поможет тебе не оторваться от нас совсем и быть немножко с нами вместе.

Нина знает и любит тебя. Верим в то, что рано или поздно ты, Катюша, объявишься, ты — мой долг на земле перед папиной памятью, Катя.

Павел Тарутин.

... Посидела-посидела — все, говорю, Катерина, хватит, на дело какое-нибудь себя давай-ка переключай. У сироток и так вон угля-то в сарае совсем кучка небольшая. Они бы одни, может, и мерзли бы, а на зиму натянули, а тут и я еще топлю. Давай-ка за уголь берись, за заготовку.

Ну и пошла по конторам — уголь выписывать да машину хлопотать, а там по морозу да по снегу таскать уголь со двора в сарай. Сироток от угля прогнала — больше перемажутся, чем помогут. А Пелагейка как на выходные подъехала, так мы с ней и управились. Мы уголь носим, а сиротки, знай, успевают картошку варить да чай нам с Пелагейкой заваривать.

А как уезжать Пелагейке-то, спрашиваю ее:

— Мальчишка твой какой размер одежду носит? Чего из тряпья нету у него?

Обе подсолнечным маслом щеки намазали, заветрели щеки-то у нас на морозе. Потрогала Пелагейка одну щеку, другую,— сказала, что за размер у него. Да звать меня с собой стала:

— Вот, поехали, взглянешь, какой большой уже Костечка-то!

— Нет,— говорю,— Пелагейка. Не хочу я на твоего мальчишку глядеть, не неволь. А вот костюм я ему как раз купила, держи. Только вот с шубенкой ошиблась. Побольше шубенка будет, чем надо, ну на другой год сгодится.

Взяла Пелагейка, глядит, обновки гладит — да тут слезы у нее в три ручья хлынули: плачет — не вздохнет.

— Нечего плакать! — говорю.— Вдвоем-то мы его с тобой уж как-нибудь поднимем. Вырастим. Не бойся теперь, Пелагейка. А ему скажи: если он, зараза, хоть раз еще тебя как обидит, скажи, скажи ему: приеду, тебя не спрошу, изобью как сидорову козу. Костечку этого твоего преподобного. Так в точности и скажи. Пусть эту моду — тебя учить на каждом шагу — по-хорошему бросает. Вот еще... дураку-то твоему возьми. Костюм с начесом, спортивный. Хлопок, да ему, поди, не на танцы ходить, сгодится и такой.

До автобуса Пелагейку с поклажей-то проводила до самого — смотрю, совсем она не в себе, хоть под руки ее веди. Еще и в автобус мне самой влезть пришлось: вечерний рейс, народу много, и Пелагейка моя как встала в проходе — ну, думаю, так всю дорогу и простоит на ногах. Да девчонку с места теплого, с сиденья переднего, около обогревателя самого, согнала. Лет шестнадцать девчонке, надулась,— ну встала. А я ей:

— Ничего! Постоишь. Не сильно радикулитная, спину-то чтоб греть, сидеть,— да Пелагейку и усадила.

А то бы так и стояла!

И вот ведь так я с делами запуталась, так в суету разную с головой ушла, что и не заметила, как два года пролетело. И Тарутиным на письма-то не не отвечаю. Как вдруг еще одно письмо от Павла и получила!

«Катюша, не надеясь на ответ, все же сообщаю: помним. Ждем всегда. Нина недомогает. У Степана Викторовича все, кажется, хорошо. Леня — единственное, что меня тревожит сейчас больше всего остального, не считая

моей работы,— работа это то, что пожизненно на месте первом. Может, за то и расплачиваться придется, что сын был только на втором. Нельзя, видно, охватить все поровну и себя поделить разумно на части и доли. У кого же получается это — плановое расходование себя, тот, может, и есть счастливый человек... А может, впрочем, и нет. Но так или иначе, очень не хочется дожить до того момента, когда найдешь в себе мужество, не обманывая себя, сказать себе же: жертва твоей постоянной занятости — собственный твой сын. Такой это зверь — работа, что в жертву норовит забрать самое дорогое, а иных правил она вроде бы и не хочет... Друзья у Лёни разновозрастные, и все как один — фанатики от науки. Именуют себя Колонией Разума. Масоны по сравнению с ними, думаю, попросту дети, ибо все это слишком далеко и явно выходит за пределы всякой человеческой нормальности. Нельзя жить нормально с постоянным предощущением того, что мир идет к бездне, нельзя устраивать Страшный суд ранее самого Страшного суда, а ранний этот Страшный суд над собою прежде всего они и рассматривают как ключ от той бездны, в которую рухнет мир и которую тем самым ключом можно еще замкнуть. Они считают, что ключ от бездны в их руках... Раз в полгода какие-то посиделки у них. Я, как «непосвященный», никакой толковой оценки их деятельности дать не могу. Беспомощен, вот что скверно. Но внешне это похоже на осуществление программы по собственному самосожжению на почве дела. Знаю, что много толкуют они о разумном и неразумном в «ловушке социума». Знаю, что вовлечены в это люди самых разных занятий, и все больше незаурядные, о чьих способностях говорят, но которые черт знает как распоряжаются своей жизнью. Один из них работает в нашем институте на кафедре философии — личность загадочная, непростая. Был искус поговорить с ним, но уж очень явно не ищет он контакта с «начальством», мне же искать этого контакта самому вроде бы и неловко, да и Степан Викторович считает нужным оградить и уберечь меня от этого человека, кое-какую информацию о нем все же поставляя. Выходит, что это безумцы, не дорожащие ровным счетом ничем в жизни, кроме своего дела как такового, невзирая на то, каково прикладное значение этого дела в действительности, есть на него спрос в нашем плане новой организации науки, нет ли. Анархичность, лежащая в основе их сообщества, которой они сами, наверняка, не признают, страшна. Она чревата искалечиванием судеб, а гордой

искалеченности судьбы я не пожелаю и врагу, не то что сыну. Нельзя жить одной только идеей и делом — рано или поздно это отомстит за себя. Есть ведь еще и жизнь трудовых коллективов, в которых они то, видите, ладят с ним, то нет. Сверхчеловеки, видите ли!

Настроенность на порыв или прорыв во спасение от конца света,— вот что меня больше всего страшит. Да-да, Лёня мой, видите ли, считает, что о жизни гармонической следует толковать после того лишь, как будет замкнута бездна страшною ценою их жизней. И жизнь гормоническая тогда-то и наступит! Так они понимают свою роль.

Не говорю об этом так подробно ни с кем,— с этим фантастическим бредом, воплощенным в жизнь, в жизнь сына и десятков других людей, я понят не буду нигде. Не говорю даже с Ниной. А тут, в письме к тебе, и не собирался — а понесло. Может быть, потому, что уже почти потеряна надежда найти тебя, и это письмо как бы письмо в никуда отчасти... Прости, что вышел из берегов, но, право же, стало несоизмеримо вдруг легче: все это долго во мне прессовалось безо всякой надежды на любой эмоциональный выход.

Степан Викторович как будто благополучен вполне. Ах да, я уже писал. На этом тогда и все.

Павел».

Ну, говорю сама себе, вот и приехала ты, Катерина, к тому, от чего уехала. Там Колония Разума была — и здесь она есть в теперешней жизни. Вот маленько погодя и в Москву надо собираться.

К осени участковый многое понял, и чтобы дойти до первооснов всеобщего порядка, ему оставалось только додумать, как связуется земля — и небо, человек — и человек, материя и мысль, сон и явь, текучее время, несущее на своих волнах космос и его, булалаевский, участок, и текучее пространство, живущее своим физическим и психологическим, может быть, порядком. Ему оставалось уразуметь только это, создать небольшой труд — «Основы современного мифотворчества» в одном или двух томах, и лишь потом предложить государству Новый свод законов жителей Земли. Но прежде чем предложить этот свод государству, Булалаев должен был согласовать его проект с главным представителем противоположного лагеря живущих людей. Он должен был в будущем согласовать проект с лейтенантом Таты и предложить Новый свод

государству лишь в том случае, если лейтенант, подавленный величием и высшей справедливостью Нового свода, упадет к служебным сапогам участкового, не в силах скрыть растроганных и покаянных своих слез, бормоча: «Да. Да. Да. Да». И эти поздние слезы, и это безутешное «Да. Да. Да». будут означать, что нет на свете противников Новых законов и что их с радостью воспримет тогда все человечество самым добровольным и непринудительным образом.

В выходные Булалаев снова раскрыл свой блокнот из бумажных отходов, предназначавшийся когда-то для ведения дневника и пригодившийся теперь, чтобы изложить в нем вступительную часть «Основ современного мифотворчества». Старуха Баранова почти не мешала ему, она привезла из города с барахолки две шкурки — лисью и заячью — и раскраивала теперь на полу, за перегородкой, шапку-ушанку для дочери, живущей в холодном городе Абакане, ползая на четвереньках с мелком в руках. Булалаев волновался над чистым блокнотом, выходил в сени, в комнату старухи,— старуха тоже все не решалась тронуть шкурку лезвием, а хватала ее, уже размеченную, и примеряла на себя, свернув кульком на голове и вдохновенно глядя в полуоблезлое зеркало на стене. Иногда она объясняла Булалаеву, что невидные и скрытые части ушанки она сошьет из зайца, а не из лисы, потому что низкий мех лучше годится для этого, и Булалаев кивал, соглашаясь и одобряя, и снова садился затем на высокий свой табурет, осмысливая вступительную часть о преданном человечеством, загубленном мифе, подбитом влет, развенчанном и уже не способном держать на себе гармонию человеческого бытия и делающего жалкие, уродливые попытки возродить себя, взлететь, воспарить и восстановить через свое возрождение нормальное, стройное мироощущение заблудшего в безверии Человека современного, горюющего над пересыхающими родниками единственной своей души. Он бросал ручку, не умея выразить все это, на нетронутую страницу, тер глаза, увлажняющиеся от жгучей печали о судьбах человеческих, и ходил в волнении, кивая попутно старухе Барановой, сшивающей мохнатые лоскуты. Наконец Булалаев начал осмысливать миф новый и миф старый путем сравнения и сопоставления, смутился от древнего мотива загробной жизни, и лег, не зная, что делать ему с этим мотивом в современном мифотворчестве. Он лег на спину, закрыл глаза, чтобы почувствовать мотив глубже на горбатом своем сундуке. Но тут же предста-

вилось ему, как ходит он в мире теней и спрашивает, уже умерший, то у одной тени, то у другой, а не видал ли кто младенца по фамилии Булалаев, у которого Булалаеву-старшему необходимо было узнать, хорошо ли младенцу от того, что он не стал жить в мире людей, или все же не очень.

Булалаев торопливо поднялся с сундука, чтобы записать в бывший дневник первую фразу про то, что миф как таковой есть продукт коллективного разума людей. Окна еще не были законопачены на зиму, и ужасно громко раздавался в избе свист детворы, играющей в круговую лапту посредине улицы. За окном ужасно свистели, кричали и хлопали мячом, когда участковый, нервничая, быстро написал фразу «Старуха Баранова сшила из лисы зайца»... И стал разглядывать написанное в долгом недоумении. Он хотел было исправить слово «зайца» на слово «шапку», но только густо зачеркнул все целиком и решительно и крупно вывел: «Разобраться с вечной бабушкой!»

Ночью участковому приснился безлюдный и быстро темнеющий мир, посредине которого стоял одинокий и очень маленький мальчик с двумя длинными зажженными китайскими фонариками на батарейках. Мальчик неподвижно держал в каждой руке по фонарику стеклами вверх, будто два полных и длинных стакана, прямо перед собою, прижав локти к бокам, и смотрел на Булалаева. И два сильных параллельных луча уходили высоко в темное беззвездное небо, и прошивали его насквозь, сходясь странным образом в одну размытую, но ярко зеленоватую звезду. Участковый спрашивал у стоящего и светящего в небо мальчика, спрашивал безголосо, как найти ему Книгу Жизни, а заодно и вечную бабушку, и жаловался, жаловался на что-то, но мальчик не смотрел на него больше, а, запрокинув голову, смотрел в черное небо, стоя так же неподвижно,— туда, где плавилась, переливалась и сияла, подрагивая, огромная зеленая звезда. И так же исходили из рук мальчика, прижатых к бокам, два сильных световых столба из фонариков, уже невидимых в сгустившейся тьме. Участковый жаловался на что-то мальчику, не понимая, на что именно, но жаловался так торопливо, горестно, самозабвенно, как никогда не делал в жизни,— а мальчик смотрел вверх, на зеленое высокое полыханье, и не выключал своих невидимых в ночи фонариков. Но кто-то все время дергал Булалаева за рукав, и он оглянулся наконец — за спиной его сиял ослепительный и яркий летний день, и далеко, не кончаясь и не зная горизонта, простирался бесконечный цветущий луг. Старуха Баранова

в новой лисьей шапке, надетой набекрень, предстала перед ним по колено в цветах в солнечном свете, она нюхала синенький цветок цикория, подмигивала и неприятно молодо улыбалась Булалаеву темным морщинистым ликом. Участковый изумился бессловесно и бессловесно попенял старухе Барановой на то, что явилась она, а не вечная бабушка со своей Книгой. И старуха Баранова верно поняла его глубочайшую досаду. Она отвела цветок в сторону, открыла рот с тремя нержавеющими зубами впереди и заговорила дикторским размеренным голосом про то, что мирные инициативы Советского Союза опять не поддерживает Запад и про действие нейтронной бомбы. Потом изложила прогноз погоды на завтра, отметила, что климат на земле портится, и сообщила, что от магнитных бурь у нее болит и раскалывается голова. Тогда бессловесный участковый и вовсе рассердился на старуху Баранову. «Я ничего не понимаю с вечной бабушкой и ее Книгой!» — пытался внушить он ей без всяких слов, выходя из себя. И тогда старуха Баранова закрыла рот, и, со значением и как бы жалостью оглядев синенький цветок цикория, неохотно отдала его Булалаеву. И участковый взял цветок, который в то же самое время был как бы и проездным билетом, и по этому билету-цветку действительно сел в длинный поезд, который сразу же и помчался непередаваемо скоро; старуха Баранова, подмигивающая ему из-под рыжей шапки, мгновенно осталась далеко позади и исчезла в прошлом, в своих цветущих лугах. А Булалаев долго, невообразимо долго летел в длинном поезде, держа перед собой синенький цикорий и напряженно ожидая контролера. И контролер появился перед ним в пустом мчащемся вагоне. Но цикорий куда-то пропал из рук участкового. Участковый объяснял, что он едет к вечной бабушке по милицейским делам и лихорадочно пытался найти служебное удостоверение. И вдруг нашел. И тогда контролер посмотрел на Булалаева с жесткой, необычайно надменной ухмылкой и пропал. А вагон уже мчался с Булалаевым, катил сам по себе, безо всякого электровоза, без остальных куда-то подевавшихся вагонов.

Скоро вагон остановился на тусклой желтой станции. Участковый вышел на желтый перрон, не слыша своих шагов. Перрон был пуст и безмолвен. Лишь трое парней с невидящими глазами понуро брели мимо Булалаева к книжному киоску, размахивая молчащими транзисторами. И по желтому низкому небу над киоском бесшумно расходились и ширились неяркие желтые круги. Участковый

тоже двинулся к киоску. Но парни, заполучив огромную серую книгу в дерматиновом переплете, уже уходили вверх по кривой и пыльной желтой улице и лениво уносили книгу мимо пустых вымерших домов. «Мне такую же!» — прокричал Булалаев в закрытое окошечко кассы, не слыша себя. И увидел, что в киоске нет ни души, а стекла оклеены выцветшими от старости газетными узкими полосками крест-накрест. Газетные узкие полосы успели отстать от стекла кое-где, и сильный ветер внутри киоска крутил и взметал желтые их концы. На улице же было тихо, и воздух был желт, недвижим и нем. И тогда участковый побрел в недвижном этом воздухе вслед за парнями по улице, кривой, желтой и пыльной, мимо нежилых равнодушных домов. И снова увидел парней на маленькой круглой площади с сухим фонтаном посредине. Он сел на скамейку, совсем недалеко от той, на которой сидели парни с транзисторами на коленях и невидяще смотрели на гипсовую огромную статую вождя. А гипсовый вождь так же невидяще смотрел поверх сухого фонтана на понурых парней с пустыми глазами. Книга в сером дерматиновом переплете лежала раскрытой на самом краешке скамейки. Тусклые круги все расходились по желтому небу. Участковый без удивления видел немые дома, неподвижную желтую зелень деревьев и серую книгу, лежащую с краю,— страницы ее беззвучно перелистывались, как при сильном ветре, хотя никакого ветра не было в пристанционном и мертвом захолустном городке. Как вдруг парни разом и медленно поднялись и невидяще двинулись по той же безлюдной улочке вниз, к желтому и низкому вокзалу под низким небом. Участковый не заметил во сне, как подошел к покинутой парнями скамье и как взял в руки большую и совершенно невесомую книгу. На обложке он увидел как бы фамилию автора — странную фамилию, которая одновременно читалась и как Фергельтунг, и как Файндшафт. Он несколько раз, в сонном и длительном недоумении, прочел название книги. «Утилизация падшего скота» значилось на серой обложке. Он прочитывал название книги про себя, но слова эти же несколько раз прозвучали над желтым заброшенным городом, будто произнесенные вслух, громко и размеренно. В страхе участковый бросил книгу на скамью — она упала безо всякого звука. И грубоватое лицо преступницы-аферистки с проницательными глазами возникло перед ним в ту же минуту, приближаясь и приближаясь. И весь облик ее, движущейся к нему от сухого фонтана, был странно обаятелен.

...Просыпаясь от серенького утреннего света, Булалаев еще думал, что сюда, на участок, конечно же, никогда не занесет такую преступницу, потому что здесь ей нечего делать. И вдруг от мысли этой ему стало скучно и тоскливо. Он натянул тренировочные штаны и сразу прильнул лицом к окну, прошлепав к нему с сундука босиком. В калитку входила старуха Баранова, в фуфайке и калошах. Она тихонько несла две очень маленькие ёлки, держа их за макушки,— будто поймала двух зеленых ежей. Остановившись меж двумя заборами, она стала натужно кричать прильнувшему к стеклу Булалаеву, чтобы он выкопал около курятника две ямки.

— Пускай и у нас растут! — сердито прокричала она ему в окно со двора и стала ждать Булалаева, не отпуская рук и держа елки на весу.

В общем, подъехала я к Тарутиным. Да так, что хуже и подгадать нельзя: гости везде спят. Безо всякой телеграммы подъехала, темно уже, одиннадцать часов ночи. А от поезда, от вокзала, от суматохи московской все у меня в раскачку пошло. Дома качаются, лестница качается, двери качаются, и пол ходуном ходит. А у Павла еще и друг с семьей — режиссер из Киева, вместе воевали, ну на вид — бандит бандитом.

Настряпал потом этот Максим, режиссер-то, дел...

Как разделась я, на кухню прошла,— а Нина встала передо мной: рубашонка мужская навыпуск, рученьки свесила. А лицо такое, вот будто ничему она на этом свете не рада, ни до кого ей. А потом и увидала я, как она таблетки — одну за другой — глотает-запивает, и зрачки у нее — во все глаза. Насильно будто на белый свет смотрит. ...И вот ведь в любой дом как войдешь, как только тебя домашним воздухом-то обдаст — так и знаешь сразу, счастье ли в нем, тяжело ли здесь живется, или ни то ни сё. А здесь — и все-то вроде хорошо, а будто придавило меня: неладно у них. На улицу выйду — ничего, в квартире притерплюсь — тоже замечать это перестаю, а вот как только порог переступишь — так что-то плотное да неуютное тебя и обступит, придавит...

Ну, засуетилась Нина, в ванную меня отвела, в халат свой обрядила — хлопочет, старается. А я все на нее гляжу: бледненькая какая... Перед пельменями меня усадила, накормить торопится. А Павел напротив меня сел.

— Я думал, Леня пришел,— говорит.— Он сегодня после всех в лаборатории остался опыты свои проверять, только не знаю, какие. Потому что он у нас что́ выдумал?

Мерцание времени выдумал! И получается у него вроде, что это самое время неоднородно, а то сгущается, то разжижается. Так он с математической точки зрения хочет теперь физику перевернуть вверх ногами; это «мерцание времени» в ней разрабатывать. С одной стороны в математику ударился до умопомрачения, а с другой — город будущего он у нас придумывает. Со стеклянными крышами. Эти крыши солнечную энергию будут улавливать, в электрическую преобразовывать. Так он у нас человечество по вечерам спасает. Выход для него готовит к тому времени, когда нефть, газ и уголь на исходе полном будут. Вот он всех и осчастливит, в тупике-то. Только ни черта, по-моему, у него с этими зеркалами на крышах не выходит, потому что — дорого, а пластики все пробует да просчитывает, так пластики эти фотонами у него разрушаются быстрее, чем ему надо. Маракует с утра до ночи. Я подумал, что это он, Леня...

— Я же не звоню... У меня свой ключ есть,— гляжу,— мальчишечка светленький в дверях стоит, стесняется.

Тут я Лене:

— Катя я,— говорю.

Да и думаю: Екатерина Изотовна, наверно,— так бы ему ловчее меня называть.

А он хлеб горчицей намазывает и — тихонечко:

— Я знаю, что Катя...

Ну и по-другому уже меня не звал: Катя — да и все.

Ничего я про пакет-то привезенный в тот вечер и говорить ему не стала, хотя сразу-то собиралась с ним разговаривать: раз, думала, одна она у них, эта «колония», значит, вот Леня-то Тарутин и знать всех должен, кого мне разыскать велено было Борисом Иванычем. Да какой тут разговор, совсем Леня-то усталый сидит, а завтра еще, поди, и вставать рано надо.

А с Павлом мы все же на кухонке еще посидели. И про одно все больше разговаривали — Леню убитого, старшего, вспоминали. Меня уже в сон ведет, а из памяти то одно, то другое выплывет — про детство наше да про село. Ну и не остановимся никак. И ведь что вышло? — ни Аркадий Ильич покойный, ни Павел от Лени старшего так и не узнали, как дело-то было с наумовской шестеркой да с Прохором, когда крапиву мы лошадям рвали, а Прохор-то крапивой той Леню исхлестал. Только в этот вечер Павел, значит, и услыхал. Я одна про то знала, выходит... А еще я Павлу рассказала, каким его с девчонок помнила. Головой только мотает:

— Совсем я себя не представляю тогдашнего. Изнутри себя помню, чего во мне было, а снаружи — будто про кого другого ты сейчас рассказываешь...— улыбается.

И ведь совсем Борис Иваныч в свое время убедил меня — вроде на всю жизнь убедил,— что хорошее это чувство во мне, виноватиться-то перед всеми, будто всем я чего должна. Бессознательным чувством вины всеобщей он это называл. И соглашалась я с ним ведь тогда! А тут... уж так мне перед Павлом оправдаться захотелось, и про суд, и про срок рассказать ему. Не хочу никакой вины за собой знать, и все тут! Да чтобы Павел знал это! Ведь в первый раз так во мне всколыхнулось все, чтобы, значит, как про виноватую он про меня не думал!..

...А утром проснулась — никого в квартире нет: тишина. Жара в доме городская, батарейная, форточка открыта. Ветер по кабинету ходит. И снегом пахнет. Снегом пахнет — тишина стоит. Нинин халат на мне в клеточку белую да серую, ношеный халат, стираный, а ненадеванный давно — просторный. Похудела, значит, Нина-то, если мне прежний ее халат впору... На книги смотрю — с полу до потолка в книгах все. И Аркадия Ильича книги здесь, узнала я кое-какие. И старые, толстые, в коже коричневой, с застежками металлическими,— здесь, его книги. Посчитала я года, посчитала — и сама себе не поверила: господи, Катерина-Катерина, ведь тридцать, поди-ка, лет назад, если не больше, ты книги-то эти в руках держала, глупая да бестолковая совсем. Это ведь Лени маленького еще рожденного не было!..

Думаю так, и вставать не тороплюсь — все равно дома никого нету, на работу да по делам по своим все разъехались. А как в комнату большую вышла — гляжу, Леня за столом сидит, за перегородкой-то книжной не сразу его и заметила. Книги перед ним раскрытые, листы исписанные. Сидит Леня,— в окошко на солнышко смотрит, не шелохнется.

— Леня! — говорю.— Ты завтракал ли?

Обернулся:

— Завтракал.

— А что же не в институте ты, не на работе?

— У меня там дел сегодня нет, а лаборатория по расписанию занята до самого вечера.

— Ну вот и хорошо, что заняли ее, головушке твоей роздых дали.

Умываюсь, да и думаю: день-то как удачно начинается, тьфу-тьфу. Вот я его сейчас пакетом-то сильно, наверно, удивлю.

Сидим, значит, за столом.

— Леня, человека такого — Ахурова — встречал ты или нет? — спрашиваю.— У меня бумаги к нему, разыскать бы надо его.

А он, как глядел поверх лампочки незажженной, к стенке прибитой,— в красном колпачке лампочка,— так и глядит, об чашку руки греет.

— Несколько раз его слушал,— говорит.— Его здесь, в Москве, многие знают.

— А про что же он тебе говорил?

— Он не мне говорил. В последний раз физиков мало было, больше тех, кто по мелиорации работает, по биосфере. Геологи были...

— Ты мне скажи-ка тогда, Леня, чего же он геологам говорил. Не бойся! Ты на меня не гляди — говори! Мне ведь бог-то память дал.

— Я знаю, что вы запоминаете... Он говорил о необходимости веры в природу как в изначально данное гармоническое целое. Но это он каждый раз так говорит. Он вообще повторяется часто...

— Надо же... Слушала я тоже одного человека, который похожее толковал, что вера-то мир спасет...

— Игнатия Пантелеевича, наверно?

— Господи, Леня, да неужели ты и его знаешь?

— Нет, не знаю его. Это Ахуров на него ссылался. Но они все это отождествляют: процессы в мире внутреннем человека — с процессами внешними, природными. Когда чист взгляд человека изнутри, тогда даруется ему и чистота, и способность взгляда на мир — извне, а не только изнутри. Высота такая ему открывается, когда он извне этим взглядом все может охватить и понять верно, основные принципы человеческого сосуществования, и сосуществования природы и человека.

— А живой ли он, Игнатий-то Пантелеевич, ведь немолоденький уже тогда был...

— Месяца два назад о нем слышал. От человека, который биологические процессы на математический язык переводит. Он лишайниками занимается, а сам — математик и биолог. Лишайники на деревьях погибают в зонах, где биосфера достигла критического для жизни человека состояния. Эти зоны обширны уже. Вот он для изучения и расчетов, этот человек, ездит по питомникам и заповедникам, и на юге встречался с ним, с Игнатием Пантелеевичем.

— А что же ты, Леня, как говоришь о них,— «они», да «они», будто в сторонке сам ты...

— Катя, я... не сделал еще толком ничего, чтобы себя к ним причислять... Я пытаюсь только.

— А они? Они-то что могут? Разве они повернуть чего-нибудь могут? Нет уж, как оно заправлено, так оно и катится. Не ими потому что заправлено, вот чего Леня! Здесь — не тайга, здесь подчиняться надо.

— Нет, Катя, удается кое-что! Мало, очень мало пока,— но больше будет удаваться... Много таких становится, вот что!

— Тогда мне точно скажи, как Ахурова этого разыскать. Не хлопотно что ли?

— А вот я и не соображу, как же его разыскивать... Телефона его у меня нет. А где он сейчас работает — я не знаю. Папа говорил, что ушел он... А вот подожди, Катя, сейчас я в одно место позвоню!

Ну и побежал телефон накручивать. Постояла я за его спиной, постояла, да пошла на кухню чашки мыть. Убираю со стола — Леня входит сам не свой.

— Чего еще такое? — спрашиваю.

— Да я вспомнил,— говорит,— что Ахуров в институте на одной кафедре со Степаном Викторовичем работал. Папа Степана Викторовича сегодня на вечер зазвать хотел, а про вас наказал не говорить ему, чтоб сюрприз был. Я ему позвонил, Степану Викторовичу, про вас не говорю, а только про Ахурова. Спрашиваю, а он: «Не знаю, я слышал, что в бичах ваш Ахуров. И ничего больше, как с кафедры его выгнали, мне о нем неизвестно». Так сказал.

Говорит, и губа тут чего-то у него задергалась — он уж ее ладошкой прижать норовит, а она так и дергается, так и ведет ее, губу-то. Да что за напасть!

Шпагат я только-только развязала,— один листочек Леня глянул, другой, Борисом Иванычем-то исписанный, да и говорит маленько погодя:

— ...Вот Кораблева — это учительница моя по физике, здесь, через парк только пройти, рядом живет... Она Ахурова давно хорошо знает, это она меня с ними знакомила. Сейчас я к ней сбегаю, может, застану.

Я и слова молвить не успела, а он уже пальтишко накинул.

— Так может, Леня, вместе нам пойти и бумаги прихватить с собой? Отдала бы я ей — и спокойна бы уже была, вот бы я дело-то свое сделала бы!..

Смотрю — мнется чего-то Леня:

— Я, Катя, сам сначала хотел посидеть и почитать. Я ей про Бориса Ивановича, про «Опыты» расскажу, а она

мне про Ахурова объяснит, а потом уж... У меня и день сегодня такой, что до ночи я бы успел...

Стоит — на кипу посматривает, и что-то опять все губы вздрагивают у него. Не так, как раньше-то,— а все равно заметно.

— Ладно, ладно,— говорю.— Тебе видней, как делать. Как тебе надо, так, Леня, и делай все. Иди.

Ну и побежал он сломя голову.

А влетел — пальто нараспашку, не отдышится.

— Из автомата,— говорит,— сразу дозвонились с Ольгой Святославной и наш адрес Ахурову дали, он к нам сегодня придет за пакетом. А Ольга Святославна, это Кораблева, потом у Ахурова возьмет, просмотрит. Она еще на днях собиралась время выбрать, чтобы с вами, Катя, встретиться и про Бориса Ивановича поспрашивать... Только я попросил, чтобы Ахуров попозднее, часам к десяти пришел, боюсь, что прочитать к его приходу не успею. А там мне еще выписки сделать кое-какие понадобится.

Ну и как сел Леня, так и опять только листочки пошли шуршать. И обед я уже сготовила, а к обеду его так и не дозвалась. Да сама-то все же поуспокоилась; вот, думаю, Борис Иваныч, в лучшем виде я ведь твое-то поручение выполню, а там — хоть и помирай, Катерина, душа-то из-за этого дела все равно теперь на месте будет.

Только-только смеркаться начало — топот, грохот, стук! Максим с женой да с дочкой полные сумки тащат. Продуктов всяких готовых — полно, а еще из одной сумки девчонка маски вынимает разные. Одна маска — бабье лицо, нос красный картошкой и куделька на лбу приклеена. Другая — поросячья. Третья — баранья, с рогами, а четвертая — черт с языком высунутым. Выкладывают они пакеты, а этот Максимище бровями черными водит, да и распоряжается:

— Стой! Стой! Давай сейчас все попрячем, потом нарезать успеем, я штуку придумал!

— Зачем она нужна, штука твоя? — спрашиваю.

— А мы ключ под коврик положим, записку на двери оставим, где его искать, а сами попрячемся.

Девчонка его — прыгать, скакать, жена улыбнулась маленько, «хм» сказала, да бусами поиграла, а мне да Лене эта затея сразу не понравилась. Леня говорит:

— Я не дочитал. Я дочитывать буду! У меня времени, Максим Петрович, на прятки нет.

Тут этот Максим в кладовку и сунулся — две кладовки прямо из коридора в одну сторону, да в другую. Гля-

дим — тащит настольную лампу в кладовку эту, бумаги с Лениного стола на полку пристраивает:

— Гляди, как я тебе приятное с полезным совместил! Стой тут читай, а как я в своем шкафу два раза стукну, всем в один голос кричать изо всех углов «ма-ка-ка»! В масках выскочим и...— гляжу на него, глазам своим не верю: шлепнулся он на пол в чертовой маске и на все голоса воет: «У-у-у, хрю-хрю! Ме-э-э! Ку-ка-ре-ку!» Понятно? Всем сразу! Всем сразу. Они войдут — подумают, что нет никого.

Девчонка кричит:

— Макака! Макака!

— Да «макака-то»,— спрашиваю,— почему?

— А вот «макака» — да и все!

Девчонка:

— А мы с мамой куда?

— А вы с мамой... под кровать, пусть дверь только открыта в ту комнату будет. Катя, ты в другую кладовку залезешь!

А девчонка на кухне передо мной скачет:

— Прячьте все быстрей, а то не успеем! Быстрей, быстрей!

Максим уже замками защелкал:

— Прячемся! — кричит.— Прячемся!

Я и не видала, как он подскочил ко мне: только раз — уже баранья маска на меня вроде сама напялилась. Сняла я ее, покрутила — надела опять: ладно, чего же теперь. А то ведь он ее на Леню напяливать пойдет, а ему, Лене, это уж, чую, и совсем против сердца будет.

Поглядела я, как девчонка бабью маску нáдела, а артистка уже свинячью себе приспособила — и ведь какая неповоротливая с виду, а тут — прямо как змея, на пол кинулась эта артистка и вьюном — под кровать. Девчонка за нею следом, и похохатывают только обе. Ну и мы с Леней, как невольники, в кладовки свои пошли, в прихожую.

Максим его там, Леню-то, сам поплотнее дверью прикрыл да проверил, свет оттуда в прихожую проходит или нет. И меня к ящикам приставил; в чертовой маске сам, глаза бы на него не глядели.

— Как два раза стукну — только тогда! «Макака»!

— Ладно,— говорю.— «Макака» так «макака». Чего же теперь. Пусть по-твоему будет...

А он только усы себе под маской поднакрутил да в шкаф прятаться побежал. И только где кто шевельнется или кашлянет:

— Тише! Тш-ш-ш!..— из шкафа своего тут же шипит.

А я все диву даюсь: вот до чего же настырный этот Максим, как ему озоровать охота! Да Павел мне про него потом и рассказывал, чего он на фронте вытворял. Доозоровался, что в рядовые его разжаловали. В разведке этот Максим, да еще разведчиков с ним двое, офицера немецкого взяли. Ну и натерпелись с ним по дороге. Обычно-то, говорит, как «языка» оглушишь маленько да подальше оттащишь — он в себя хоть и придет, а шуметь остерегается: знает — огонь откроют и его ненароком свои же прихлопнуть могут, да и разведчиков все же побаивается. А этот такой негодный оказался, что и оттащили его — а он все мычать да брыкаться норовит. Ну по ним уж и стрельбу открыли, чуть всех из-за этого офицера не уложили. И так наши-то с ним измучились, с этим офицером, что двое-то, как на нашей территории оказались, то вообще его пристрелить хотели, да скрыть, что пристрелили, такая у них уже на него злоба несусветная накопилась и столько они из-за него страха натерпелись! А Максим и догадался — под утро дело было,— додумался верхом на этого полковника сесть, а тем двоим по хворостине дал; они его хлещут, погоняют — а с него куда и спесь делась, с полковника этого, взбрыкивает, а больно — вот и везет. Так Максим на нем в часть и въехал,— все пришпоривал: «но!» да «тпру!» Солдаты-то встречают — довольны, смеются, а начальство его за эту езду по головке не погладило: разжаловали. И тут в Москве ему тоже неймется — созоровать хочется.

...Сидим-сидим — нет никого. Леня дверью заскрипел.

— Нет,— говорит.— Я так не могу. Лучше я на улицу пойду пройдусь! — и из кладовки вылазит.

Я тоже свою дверку приоткрыла — слышим: ключ в дверях поворачивают. Так Максим этот в своей маске чертовой в полсекунды выскочил, Леню назад впихнул, прихлопнул, и едва сам в шкаф влезть успел. А я уж дверцу свою, чтобы не скрипнуть, так поплотнее и не прикрыла, и в щелку мне прихожую чуть-чуть видно. Гляжу. Степушка с Ниной заходят... Лица его толком не вижу. А чувствую: Степушка. Разуваются. И Нина ему с обидой да с досадой какой-то:

— Вот видишь! Мерз бы на морозе пятнадцать минут лишних. В конце-концов мы бы и у подъезда могли случайно оказаться в одно время.

А он — не в настроении:

— ...Это ради тебя делается. Павла поберечь — не лишнее...

— Что же ты об этом раньше не думал, когда из провинции своей приехал?..

Молчит Степушка, шубу Нинину вешает, вздыхает так уж тяжело, будто измучила его Нина вконец.

А Нина чего-то вся не в себе; усмехается, а голос напряженный у самой, аж звенит прямо:

— ...Какая милая девушка! Такая непосредственность!.. Очень мило!

И опять Степушка только вздохнул да в комнату пошел.

Тут уж она ему вслед — на крике:

— Ты не женишься на ней! Она тебе ни к чему! Тебе все — ни к чему!

— Опомнись. Я — женат! — остановился.— С ума сошла! Вот этого — не надо!

Слышу — в слезы Нина-то:

— Господи... Что стало со мной... что стало со мной! Что ты со мной сделал!.. Как я... испаскудилась!!! Я поняла тебя... Я оч-чень хорошо поняла тебя!..

— Ты хочешь, чтобы я немедленно ушел?.. Не надо Нина... Ради бога, без сцен!

— Без сцен... Конечно. Без сцен. Это — единственное, что может тебя напугать!..

— Ну и хватит... Вот умница...

Последними словами изругала я молчком этого Максима. Господи! — думаю.— Да стучи же ты, что ли, паразит! Ведь что ни слово — то хуже да хуже, и Леня-то, Леня — в двух ведь шагах от всего этого. А Максимище, видно, и сам не сообразит, чего делать и как в шутку свою все повернуть,— будто в капканах сидим, и что ни сделай — все плохо.

Тут Нина-то его вроде оттолкнула:

— ...Уйди. Скверно мне.

И то ли сапоги она переставила, да сапог из ее рук упал, или еще что там у них шлепнулось,— не видно мне из кладовки-то своей, но только как — «стук»! — девчонка и орет:

— Мака-ка!..

И тишина. А тут через минуту и Максим давай орать как резаный:

— Макака! Макака!

Выбираться все стали из своих закутков, и никто в глаза-то друг другу и не смотрит, и маски никто не снимает. Леня пальтишко свое с вешалки сдернул, одеваться стал. Пошутили, называется. А Степушка — спокойней всех.

— А! Розыгрыш! Понимаю, понимаю! — смеется, как и не было ничего, с режиссером за руку здоровается. А меня не видит — спиной ко мне стоит. Тут за Леней дверь хлопнула... На улицу Леня выскочил. Нина лоб руками зажала да шепотком:

— Скверно мне...— и в спальню ушла, закрылась.

Максим себя на шутку выровнять старается, а глаза совсем растерянные — аж пожалела я его: добаловался. Вот Степушка ко мне повернулся, отступил — опять вперед шагнул. Глядел-глядел — да в лоб молчком меня и поцеловал.

А Максим голос сделал глухой, как из бочки, да как в театре руки развел, слова тянет:

— «Я пришел поцеловать тебя! Радуйся!» Га-га-га!..

И головой в чертовой маске перед нами крутит.

Тут и Степушке не по себе стало, и его, вижу, проняло — застыло лицо у Степушки, и скорехонько в кабинет Павлов он и ушел, вроде там чего забыл. А Максим за мной по пятам ходит, не знает, что сказать; я в ванную — и он в ванную, я на кухню — и он на кухню.

— Иди,— говорю,— к гостям, глаза бы мои на тебя не глядели! К Степану Викторовичу иди, потолкуй с ним о чем-нибудь. Вон чего натворил! Говорила же — не нужна никому твоя ш т у к а.

Не обижается:

— Катя, давай я сыр нарежу...

— Никто мне здесь не нужен, сама я управлюсь!

Дощечки деревянные да пакеты на стол швыряю, режу, нарочно ножом громко стучу. Ну и пошло у меня дело, и за этим делом успокаваться я одна-то начала. Только слышу — артистка с девчонкой в Нининой спальне ее чего-то тормошат, и слышно оттуда:

— Нет, Нина, ты в этом как курочка ряба, надо что-то освежающее. Это — не пойдет, это не пойдет... Ой, погоди — к этому у меня сережки замечательные есть! — как будто ничего не случилось, артистка-то старается изо всех сил, изображает, а Нина и голоса не подает.

А я, знай, колбасу кромсаю, на тарелки раскладываю, да с бульона пену снимаю, и за Леню больше всего у меня душа болит. Где он там ходит-бродит?

Маленько погодя Нина одна на кухню зашла. В длинном платье желтом, блестящем, серьги до плеч висят, лицо напудренное, будто лишаи по лицу-то. На табуреточку, на краешек самый села — как в гостях сидит и глаз не поднимает.

— Куда мадамы ваши киевские провалились — не слышно их что-то?

— Переодеваются. Давай, Катя, я тебя сменю — переоденься иди...— и не по делу смешок у нее нервный, у Нины-то.

— Не к спеху мне,— говорю.— Сиди, сиди.

Молчим — и так тяжело от молчанья этого! Тут и без того тарелки чистые перетирать я стала, ну и думаю: ей ведь тяжелей только оттого, что мы все делаем вид, будто не произошло-то ничего и что ничего мы вроде не поняли,— и тошно мне самой в кошки-то мышки ирать.

— Нина,— говорю.— Виной своей ведь и убить себя недолго. Да только один человек говорил мне, сколько хорошего на свете сделать можно, вину-то свою понимая.

— Да? — так она на меня глаза-то и уставила, и смешок этот ее нервный прошел, слава богу.

— ...А если другого винишь?..— тихонечко спрашивает.

— Нет. Себя только винить надо, вот спасенье-то в чем. Да вину свою день за днем исправлять, перед другими вину. Через это человек выживает... А других винить просто, только лучше по дорожке этой не ходить... Себя в разнос пустишь, не соберешь, да хуже только во всем запутаешься. А тебе — куда уж дальше-то запутываться, тебе выживать теперь потихоньку надо. Вот через вину свою выживать...

Гляжу — опять зрачки у нее во все глаза: таблеток, значит, своих нервных наглоталась, а слушать-то — рада, так слово каждое и ловит:

— ...Да. Так, наверно...— говорит.— Так... Через вину...

— Конечно, через вину! — Максим этот тут как тут, и усы накручивает, и тоже дверь поплотней прикрывает. Да нам шепотом, обеим:

— А вот чего я вам скажу! Я без вины своей — ни шагу! Опять бы развелся давно, если бы не моя вина! А я как делаю — я нарочно возьму — да и провинюсь! А как только провинюсь перед ней,— на дверь украдкой косится,— так уж такая она мне дорогая становится, а я ничтожество такое, ничтожество, мразь, дрянь! И пока вину-то свою исправлю — на руках ее ношу, всласть мне это! Счастливейший период!.. Ну а дальше опять: как пройдет это настроение — себя высоко начинаю понимать! А в ней только нехорошее все вижу. И нехорошее это все сильней да сильней меня допекает. Тут я и знаю — уронить мне себя надо! Через какую-нибудь гадость возь-

му — да и нарочно себя уроню, в вечеринке какой-нибудь мерзкой!.. Чтобы виноватее-то быть. А уж вот так, когда виноватый под утро домой иду — о н а уже святой для меня становится, через ничтожество мое!.. Боготворю ее, чистую, верную!.. А без того — давно бы разлетелось все к чертовой матери, так бы о н а мне опостылела! Я — себя знаю, вот что. И на чем все держать — знаю. На вине все и держится.

— Ох, да нехорошо же все это...— опять Нина моя мучается.— Неужели иначе жить нельзя, без грязи этой! — и рученьки уронила.

Максим и заморгал:

— А как, Нина? Как? Когда дьявол столько в нас всего намешал? Как с собою-то и с близкими тебе ладить? И не хочешь — а если по-другому и вовсе не получается? Да я и вообще себе что придумал: что каждый человек — в ы ж и в а е т через порок свой. Вот, скажем, бабник. А он, бедолага, так-то хоть — как никак, а концы с концами в своей душе сводить научился, так уж к жизни приладился, бедолага, что и пусть себе — а без того он, может, и вовсе бы в петлю залез!.. Или приобретатель, скажем; коврик себе купил, машину купил — рад он этому и через это человеком себя чувствует, стремление у него маленькое — побольше приобресть: глядишь — десяток лет, а то и два на том проскрипел, на радостях-то этих жалких, крохотных! А отними у него это — и вовсе бы спился, пропал бы, может... Я жалею всех! Чуть-чуть научился человек выживать на чем-то — и рад я за него! Слава богу! Выживать ведь нелегко, далеко нам до лада в душе... Далеко... Страшно, когда и вовсе не на чем душе держаться. Жить — не только ведь радостно, а еще — и больно очень, жить. Любому больно. Плохому, хорошему. Любому. И страшнее всего — иллюзию человеку разрушить... Смешную, нелепую — а разрушить страшнее всего. Одну разрушить — а новой у него еще не возникло, не сочинил он еще для себя новую — вот в пустотах этих между иллюзиями выжить-то — мудрено! Я, когда почую только, что рушится эта самая м а й я в человечке, так,если сумею вовремя человечку немудрящую новую м а й ю всучить, доволен!.. Так доволен бываю, вот будто... будто от беды смертной человека спас. Точно-точно!..

Сидит Максим, космы свои теребит,— и слезы у него на глазах. Ах ты, мил человек, думаю, и ты поднатерпелся. Да тоже глаза-то фартуком тру, отвернулась. Да чтобы себя собрать маленько, все равно строжусь, в фартук-то бормочу:

— Как жить... Ведь молодые совсем есть, а знают — как!

— Ну...— Максим тянет.— Где это ты таких видела? Самая жестокая пора для человека — юность, не умеет он еще управляться сам с собою. Чего бы не хотел для себя ни за какие медовые коврижки — так это юности опять.

— «Где видала!» Да тут и видала. Вон — на Лёню поглядите! Оба — поглядите! А то — заладили: как жить да как жить... Живет он — и за себя ему стыдно не будет,— такая у меня вдруг гордость, за Лёню-то маленького. — Давайте на стол накрывать, готово все. А тебе, Нина, я чайку заварила свежего, глотни-ка, глотни немножко здесь. Послаще сделай.

— А мне...— Максим этот смирный сидит, тоже просит.

— Да и тебе, Максим Петрович, не помешает. Держи-ка скорей, вон какой душистый да горячий...

Попили молча, но уже по-хорошему помолчали, и у Нины лицо немножко разгладилось, хоть в глазах боли — многовато, тяжелее всех ей. Да все равно — и жить дальше можно уже. А как к столу пойти да за стол всем садиться, соврала я Нине: на ходу-то, вроде между делом, говорю:

— Леня к учительнице своей сходить собирался, все торопился к ней...

Она — так вся и вскинулась:

— Да? — говорит.— Ой, Катя...

— Чего? — улыбаюсь.

— Хорошо. Это хорошо. Он у нее, у Ольги Святославовны, подолгу сидит. Да и девочка там, дочка, очень хорошая. Чудовищно талантливая девочка, художница...

— Вот и ладно! — говорю, да думаю: пусть уж я одна за него тревожиться буду.

На артистку глянула — платье на ней оказалось... багрового цвета, узкое — и как шагнула, я и ахнула: батюшки!..— разрез сбоку по подолу, и не знаю, до каких пор. Вроде шов лопнул. А девчонка в костюмчике новехоньком — только, видно, купить успели,— на голове из волос дульку по-взрослому закрутила, а поверх — еще и бант. С масками своими не расстается и все их возле себя на диван сложила. И сначала в поросячьей маске есть начала — ложку под маску совать, потом на голову ее завернула и бант примяла, забыла про бант свой. А мать — гляжу,— и бусы сменила, в двадцать рядов, до самого пояса, бусы мелкие, красновато-черные, я и подумала — и что это

я жизнь прожила, а никаких бус не поносила, красиво ведь как...

Степушка рядом со мной сел, всех торопить стал:

— Давайте выпьем скорее. Есть за что. Эту женщину я встретил в трудное время для себя, и щедрое ее сердце!..

— Хватит! — говорю.— За встречу.

Ну и он — обрадовался вроде:

— За встречу.

И все хорошо сразу выпили.

— Тяжелое время тебе выпало, Катя...— не пойму, то ли спросил, то ли сказал потихоньку.

— Нет! — говорю.— Мое время всегда мне хорошим будет, потому что — мое оно, какое ни на есть, а — мое... А ты, Степан, жених женихом — мы-то с Павлом состариться успели, а тебя вон — и седина молодит. Да и по одежде — современный ты какой: как парень.

Засмеялся — довольный, угодила, выходит.

— Живется как,— спрашиваю,— на новом месте?

Плечами жмет:

— Как хотел — так и живется. Возможности свои толково рассчитал, и что этим возможностям соответствовало — все у меня есть. Вот хвастаюсь тебе,— опять посмеялся.— Знаю планку свою, и поверх этой планки ничего не планировал, никаких насильственных прыжков. Несчастье-то ведь отчего бывает — установит себе планку человек по жадности к жизни выше сил, подорвется — вот и «жизнь моя разбита». А чтобы она не разбивалась — нечего невозможного хотеть...

— Штрафную! Штрафную! — Максим кричит. Павел с мороза очки протирает, веселый, да с любовью на всех глядит. Уселся около девчонки, а девчонка ему и выпить не дает — за локоть тянет:

— Дядя Паша! Вот тебе маска какая подойдет! Надень! Надень сейчас, дядя Паша! — ну, бес, а не девчонка, страх прямо, бойкая какая.

И все на эту маску баранью, рогатую, глядят, а она на него принялась эту маску натягивать, аж на диван вскочила. И вот — серьезности во всем этом вдруг стало больше, чем и следовало бы,— неудобно всем стало, а Нина и совсем голову к тарелке наклонила. Тут я не утерпела — за Павловой спиной дотянулась да девчонку-то — хлоп по рукам:

— Убери сейчас же! Дай человеку в покое посидеть!

— Ма-а-ам! Она дерется!

А Максим бровями заводил:

— Это еще что! Она еще не так может! Она, доченька, все может. Иди-ка спать.

Выпил Павел штрафную, закусывать не стал, а артистке говорит:

— Знаешь, Тоня, о чем всю дорогу думал и чего больше всего хотел, пока сюда с совета ехал?

Проснулась артистка, заулыбалась, ямочки на щеках заиграли — без слов поняла: выскочила из-за стола и с гитарой уже из спальни идет. Стул в сторонку отодвинула да ловко так села с гитарой-то. И чего ни сделает — все у нее красиво получается!

— Слушай, Катя!..— Павел мне кивает.

И как эта артистка заиграла легко! И весело, а — грустно.

— Чего не расскажешь про себя? — Степушка мне говорит.

— Не хочу,— подумала я маленько.— Нет, не хочу, Степан.

— Вот,— руками разводит.— Вот как бывает... когда люди не видятся долго... И мне ведь — сказать нечего. Странно. Бабушки две твои — живые? Пелагея — видишь ты ее? — осторожно спрашивает.

Обернулась я к нему:

— Не заставляй ты себя, Степа, спрашивать. Ни про тех, ни про ту — не хочешь ведь ты знать, ни к чему тебе знание это.

Жестко он тут мне в глаза посмотрел:

— Да. Права. Не хочу,— усмехнулся.— А знаешь... не слукавлю я, если скажу, что ты меня та́к понимала...— и засмеялся,— ...что не приведи господи!

— Замолчи...— остановила я его. Тоня гитару подна-строила маленько, ну и заиграла уже потихоньку, и тишина над столом так и упала, будто с неба сошла.

— Наколола ноженьку, да не больно —
Любил меня миленький, да недолго...

И что за диво-дивное опять,— никакая не артистка поет, а совсем вот баба простая поет; голос-то не обкуль-туренный, а самый настоящий, из души который идет. Я и не высидела тут, сразу встала да на кухню ушла. Доходит туда голос — тихо поет, а доходит, к окошку прислонилась, глаза закрыла, а в темноте-то изнутри, из самой меня откуда-то все и пошло: кордон в лесу вижу — вьюжит, вьюжит, лошадь голову опустила... крыльцо в снегу... Надеждино лицо быстро мелькнуло: «А что, на

такую похожа?..» — не договорила Надежда, пропала, и... пихта шумит, Борис Иваныч в поту весь, говорит: «Шум какой, Катя...Шум... Идут...» Сама я по снегу бегу да на небо поглядываю: валенки скрипят, а голос-то наплывает.

Да про Надежду вдруг так ясно подумалось: жива, жива она, живет где-то, живой это голос!.. Потому что на артисткин, тихий,— ее, Надин, сильно наплывать стал. И будто только Надежда одна уже песню ведет,— широко песня идет, вся как есть, не пропадает, не меркнет:

— Наколола ноженьку, да не больно,
Об острыю травыньку, о полынку...

Звонок тут коротенький брякнул. К двери иду — как во сне, не понимаю ничего. Дверь отворила — человек высокий, строгий, угрюмовато глядит, молчит — песню слышит и молчит. И я молчком его за рукав ввела и дверь за ним закрыла, сама опять к стенке отвернулась. А там уже повтор только последний, едва слышный.

Смолкло все. Глаза открываю — стоит этот человек, как стоял, не раздевается, не шелохнется. И не сразу спросил:

— Мне бумаги взять можно? — глухой голос, неторопливый.

— Ахуров вы? Нельзя пока... Лёня вот придет. Посидите уж у нас, пожалуйста, немножко — не могу я без него отдать. Подойдет он! Раздевайтесь.

Подумал он, постоял — раздеваться стал. Я — к столу его веду, поклонился он всем молча. Павел подобрался вроде, но усаживать его начал, Максим на него накинулся — знакомятся. А Степушка улыбается... И знаю я эту улыбочку,— прохладная улыбочка.

Нина горячее из кухни внесла. А Павел уже на Ахурова нетерпеливо смотрит — поговорить с ним постарается, вот чего я поняла. Да не одна я поняла — Степушка тоже понял это, и по лицу Степушкиному увидала я: не даст он им поговорить! Не даст! Ну и точно: немного-то погодя Степушка вроде между прочим, а так, чтобы Павел это слышал, Ахурову через стол:

— Потолкуем один на один?

Прожевал Ахуров, кивнул:

— Что же, можно.

Вот, думаю, дорогу-то Павлу он и перекрыл...

Выходят они вдвоем, Степушка да Ахуров, на кухню направились. Тут я сразу стала тарелки лишние со стола собирать, целую гору их поскорее наставила, на кухню

понесла. И у крана пристроилась, вроде — делом занята: струечку тоненькую сделала, мо́ю — и будто на них внимания никакого.

Ахуров на табуретку не сел, стоит, к стенке прислонился. А Степушка — то сядет, то встанет, и вот какой разговор у них идет, с какого места я его услыхала:

— ...неправильно поймут, потому я решил поговорить с тобой без свидетелей.

— Ты оправдываешься? Мне все равно. Впрочем, я никогда не понимал людей, боящихся свидетелей. Они ничем и никому не мешают.

— Считай, как угодно,— отмахивается Степушка, нервничает.— Но только вместо того, чтобы обратиться к животрепещущим вопросам современности... ты! Вместо того, чтобы к вопросам актуальным!..

— Что в мире может быть актуальнее человеческой совести? — спокойно так Ахуров его перебивает и не очень-то торопится.

— И все-таки это несерьезно. Тема несерьезная. Не звучит, понимаешь? Если бы ты еще взял,— черт с тобой! — совесть как этическую категорию, выражающую форму способности личности к моральному самоконтролю, как форму ее самосознания — это еще бы куда ни шло. Но чудовищен — чудовищен! — твой скачок от совести в этом аспекте — к совести-ощущению. Совесть-ощущение у тебя — источник познания самого себя и мира! Чудовищно!

— Почему?

— Да ты этим — именно этим и поставил себя под удар! Отсюда, брат, отсюда, батенька мой — один шаг до сенсуализма!

— Ты, Степан, в своем выступлении уже сказал решающее свое слово. И ты сказал не так, как сейчас. Ты сказал — что это есть сенсуализм в чистом виде. Ты знал, как это всех напугает.

— Ну, знал, знал!..— не больно-то Степушка с ним церемонится, с Ахуровым этим, побаивается — а не церемонится, силу свою тоже чует.— Да, ты опирался в своей работе на практику и абстрактное мышление. То есть на непременные принципы материалистической философии. Но... уж больно рискованно ты вел эту свою линию. И — не мог поэтому я защищать тебя! Не мог! Потому что любой мой недруг в таком случае смог бы меня заклеймить жестоко, заклеймить как пособника идеалистических твоих изысков! Этого мне только не хватало. Меня с этим обвинением любой столкнет куда угодно. Вот чем опасны

такие темы. Извини, я не мог поступить иначе. Хотя полностью понимаю твою правоту. И никто тебя защищать не возьмется! Если отдаленно, чуть-чуть, запахло идеализмом — все, браток, от этого все шарахнутся. Как и шарахнулись.

— Но не без твоей помощи.

— Рассуждать о совести — так же, как рассуждать об интуиции и прочих скользких штучках, в своей работе я никогда бы не рискнул. Нас не поймут! Ты забыл, где мы живем! Это что тебе — дикий Запад? В руки недоброжелателей на кафедре мы сразу, одним махом, даем в таком случае тысячу козырей. Они нас извратят, как угодно!

...И пока не успели извратить нас «недоброжелатели», давайте сами наперед забегать и извращать друг друга для подстраховки,— усмехается Ахуров, слышу.— А потом ссылаться на страну, в которой живем и в которой такие порядки сами творим.

— Короче, я сказал: я не хотел ставить себя под удар. А что ты сам собою так распорядился, не моя в том вина. Ты поставил себя под удар — ты получил сполна. Не я бы как сенсуализм это определил — другой бы... Какая разница?

— Не осуждаю тебя,— оглянулась, совсем у Ахурова этого лицо-то потемнело.— Но я убежден: когда мы говорим о том, что человечество находится на грани самоуничтожения, не только атомную катастрофу надо иметь в виду — опасность разрастается в две противоположные стороны: вне — и внутрь. И человек — точка отсчета на этой оси. Атомная катастрофа зреет внутри нас, в душе нашей. Не бывает процессов, направленных лишь в одну сторону. Симптом опасности самоуничтожения, спрятанный в нас самих,— он проявляется тогда, когда мы забываем о самом высоком в себе, о совести.

— Скажи еще — о боге. Такие, как ты, легко подменяют слова «бог» и «совесть».

— Да, когда мы забываем о боге в себе!.. Мы забываем о совести, шагая по пути НТР, по пути прогресса, и думаем, что прогресс без совести никогда не выродится в регресс, в свою противоположность. Это наивное предположение. Забывая о совести, мы идем к гибели. Атомное облако зреет в душах — и только потому оно назревает в мире. Дело политиков — биться за программу мира на кругах внешних, наше дело — вести эту борьбу на кругах внутренних, на кругах души. Только при условии духов-

ного очищения человеческого возможна победа над угрозой ядерной катастрофы. Одно и другое — неразделимо.

— Ну вот! — вздохнул аж Степушка-то.— Сам же произносишь без конца: душа, душа! Пока ты произносишь это слово — ни на одной кафедре твое присутствие как допустимое рассматриваться не будет. А нашей стране, дорогой мой, пророки — не нужны! Ты ведь у студентов в пророках ходил. И там, среди своих, ходишь, я слышал. Да зря, ох, зря. Доигрался бы ты с этим перед войной! Не так бы поплатился.

— Мне не страшно. Спасать мир — значит, спасать душу. Наша страна всегда была страной пророков, а не только какие-то другие страны.

— Страной Федорова, Бердяева, Соловьева?..— издевается вроде Степушка над ним.— Еще скажи, Хомякова!

— Да, было время и этих пророков. Свидетельствующее о своеобразном развитии российской философской мысли. Что из того?

— Катя! Посмотри-ка на человека, которого я, злодей, «зарезал»! — вроде шутит Степушка-то — видит, что тарелки я уже и перемыла, и перетерла — пошутил:

— Ничего нельзя «зарезать» в этом мире,— улыбается ему в глаза этот самый Ахуров,— вроде бы доверчиво даже улыбается.— Можно что-то задержать, чему-то препятствовать, и только. Но «зарезать» — нельзя ничего... Ты рассуждаешь не как художник. Философ должен быть художником...

— То-то, как на карьерную лестницу наших философов погляжу... так чем больше в его философии художества — тем будто выше он ценится и выше положение занимает! — расхохотался Степушка.

Тут Ахуров желваками поиграл, но улыбнулся, смотрю.

— Россия — удивительная страна! — весело вдруг говорит! — В ней ничтожество может быть очень большим начальником! Но ни-ког-да — даже самым маленьким художником!

И теперь уж Ахуров рассмеялся, а Степушка-то только за стул уцепился, да смолчал; так пальцы на стуле и заходили ходуном — жмет-жмет спинку-то.

— Не вечно художественность по всем направлениям подавляться будет... Здравствуй, Лёня, рад видеть тебя.

— Я помешал? — Лёня входит.

— Нет. Нет. Не можешь ты помешать. Ты только помочь можешь. Таково назначение твое в этом мире...— смеется Ахуров.— Я жду тебя, чтобы взять передачу от Бориса Иваныча.

Потоптался Леня — да рукой махнул.

Ладно. Только я потом от Ольги Святославовны на недельку возьму это.

— Возьмешь, Лёня. Не спрашиваю, что с работой твоей у тебя — сам этих вопросов не терплю: пока она не сделана до последней точки — лучше ни слова о ходе ее никому не говорить. Так ведь?

Степушка руками развел:

— Ну вот — суеверия обнаруживаются! — и уйти ему хочется, да нет, не уйдет, вижу, и Ахурова ни на минуту не оставит.

И точно, Лёня бумаги, тем же шпагатом опять перевязанные, Ахурову передал, и пока одевался Ахуров да попрощался со всеми быстро, пока к двери шел — так его Степушка и пас, так и конвоировал. И у двери еще постоял, призадумался вроде, пока шаги ахуровские по лестнице не стихли.

За чай-то сели — гляжу я на Павла, думаю: Павел, Павел, понимаешь ли ты, что у тебя под носом на работе-то творится, или нет, или взяли тебя в кольцо, да и не видать тебе ничего? Но остановила себя все же: может, это я чего не так понимаю?.. Что же — с налету так вот все мне и откроется, что ли?

Девчонку давно спать уложили, Нина едва сидит — с таблеток своих позевывает потихоньку.

Засобирался Степушка. Тут я и говорю,— сама удивилась, как сказала:

— Степан! А ведь я, пожалуй, к тебе пойду. Ты у меня пожил — и я у тебя поживу!..— остановилась вовремя, сказать-то еще собиралась — «пока гости не схлынули, а то ведь — как постоялый двор тут».

— Чего это? — Павел меня за руку держит.— Никуда от нас не пойдешь!

— Не мешай мне, Павел. Я вернусь скоро.

И удивительно мне, что будто кто меня толкает, к Степушке-то отправиться. А он совсем не ожидал — и растерялся маленько. Но позвал по-хорошему:

— Пойдем, Катя. У нас места много. С женой познакомлю,— в глаза мне глядит — не боится он меня, ничего не боится.

— Вот и ладно,— говорю.— Лёня, а ты меня поджидай! Смотри мне!..

Кивает, ясное лицо у него, хорошее — поуспокоился, значит.

Остановил Степушка машину — поехали, да чуть не час

и добирались: улицы да переулки, да опять проспекты прямые да мосты.

— Не любишь ты, Степа, Ахурова,— в машине-то ему говорю.

— Да, не люблю. Сам он — юродивый и из людей — юродивых делает. Ахуров этот. Вон хоть на Леню посмотри — чем не юродивый...

— Не знаю... Видала я таких людей. Которых ты юродивыми называешь. По мне, так самые это люди и есть настоящие. Может, и мир на них держится.

— Всегда мир был сам по себе — а они сами по себе. И миру от того, чем они себя тешат, ни жарко, ни холодно всегда было.

— ...Жалко, Степа, что не читал ты того, что я привезла. Может, и не так бы ты на это все взглянул.

— Отчего не читал? А если и не читал, то просмотрел. Пока в кабинете был. Ту работу, что про искупление исторической вины, во всяком случае. Чепуха на постном масле. Современное месиво, настоянное на библейских дрожжах. Только библейские дрожжи куда как умнее и круче этого месива недозрелого. Абсолютная добродетель смешна и скучна, и человеку не присуща. Любой неглупый поп со своей религиозной колокольни — и тот в пух и прах разбил бы эту с позволения сказать теорию. А материалисту даже всерьез принимать ее не пристало.

— ...Чем же это она попу не приглянулась бы?

— Да тем. Бог создал человека по образу и подобию своему. Пойдем вместо попа от этого. Так надо теперь смотреть, каков бог. А таков, значит, и человек. Возьми-ка бога — что в войске его? — Одни понимающие, прощающие, искупающие, благо творящие? Нет. Карающих грозных ангелов вокруг себя бог-то держит тьму-тьмущую. Значит, склонен не только прощать сам-то бог, а наказывать, карать, уничтожать! Вот какими игрушками он занимается. Грозными игрушками. Значит, и в человеке это все заложено — и прощать, и мстить, и наказывать, и уничтожать; вот что в природу человеческую заложено. А вы его, человека, святее бога сделать хотите! Чтобы в одну только сторону он развился и жил бы скособоченным. Нет, каков бог человеческий — таковы и люди.

— Так, может, оттого так скособочиться надо, что скособоченных в другую сторону много развелось...

— Ну, смотри, что такое мир божий? Ячейка общества, самая огромная. Все остальные ячейки в себя включающая. Государственную ячейку, семейную. Так что и не

мудрено это, что и там, и там — пыль до небу, громы, молнии, борения: кто разнюнился в добром порыве — а он уж и под каблуком у того, кого возлюбил. Начал выворачиваться из-под каблука — вот уж и борение, вот уж и зачатки вражды. Есть такое учение — пантеизм, так в нем зло составляет необходимое условие бытия человеческого. Что в семье происходит, то и в государстве, что в государстве — то и между государствами, что на земле — то и на небе. Не умеешь ощетиниться и злым быть когда надо, так вот, кто злее тебя и щетинистее тебя — тебя затрет. И во имя чего тогда в себе добро культивировать? Инстинкт самосохранения тем самым подтачивать и уродовать в себе, себя нежизнеспособным делать? Раньше юродивым и места в человеческом обществе не было — в скит, в монастырь, в пустыню их, юродивых по убеждению! Среди людей они бы и не выжили в прежнее время. А теперь — живу-у-ут! Да другим головы морочат. Как автора-то этой теории звали?

— ...Зачем тебе это?

— Да чтобы хоть как-нибудь его называть. Не хочешь говорить, не надо. Не важно мне... А знаю я эту разновидность людей, ни на что толковое не годных. Живут, всю жизнь ходят, нежат и лелеют маленькую бледную теорийку самоиспеченную. Пишут что-то, пишут! — они все очень любят это записывать, да непременно чтобы кто-то это потом прочитал!! Значимости великой для них это исполнено. Не моются, не причесываются, денег не хотят, благ им не надо — ах! Люди будущего, люди коммунистического завтра! И ведь действительно,— ни денег, ни благ им не надо, не притворяются они. Потому что владеют-то куда как более интересной забавой безо всего этого — наркоманией духа. Они этот наркотик ни на что не променяют. Через этот наркотик значимость свою ощущают, такую значимость, какую ни деньги, ни блага, ни посты дать не могут. И этот наркотик, как всякий другой, человека блаженным, юродивым, значит, и делает. Мир без наркомании, искусство без наркомании, реальный мир, реалистическое искусство — пока все это имеет ценность для человека, человек правильно сориентирован в жизни, и на глупостях свою жизнь не запорет, на всяких там возвышенных завихрениях, усложнениях. Все сложное — лишнее. А лучше сказать, все сложное — не существует. Существует то, что очень и очень просто, то есть элементарно. К элементарному сложное свести нетрудно, а кто сведет — тот молодец, и на коне будет всю жизнь.

...И из машины вышли, и в лифте поднялись, и дверь он своим ключом отворяет — а все это мне говорит.

Вошли в прихожую — а я уж тут и не знаю, чего делать: назад ли податься — поздороваться ли? Парочка в прихожей стоит, прощается. И целуется, на нас никакого внимания. Он в пальто уже, в шапке ондатровой, через плечо этой самой женщины только Степану Викторовичу кивнул, а она головенку светлую с волосами длинными распущенными обернула — и рук с его плеч не убрала.

— Пойдем, пойдем, Катя, там разденемся...— тихонько мне Степушка шепчет, будто спит кто, и скорей меня в комнату провел.

— Степ, кто это у тебя, что за люди? — тоже шепчу.

— Это жена моя. Таисия-свет-Николаевна! — улыбается, доволен вроде, что удивительно мне это.— Давай сюда пальто, страшных глаз делать не стоит. Человек, Катя, защищен от жизни тогда, когда иллюзий питать никаких не склонен, когда жизнь принимает такою, какая она есть, а не такою, какую он себе навыдумывал. Верность — это одна из самых распространенных иллюзий. Если я сам не верен — я не могу требовать верности и от другого. Несправедливо получится. В основе верности всегда ложь — а зачем она? И ты возжелал, и она возжелала — жена твоя — кого-то еще, и, если не допускать этого, то и жить не надо, да и невозможно по высоким меркам верности. Верность в принципе недостижима, зачем же недостижимого желать? Не дай бог еще в это недостижимое, в верность тебе — поверить: как лопнет заблуждение-то твое на этот счет — ах, очаг разрушен! А у меня нет заблуждения. Значит, лопаться нечему. И очагу моему семейному, следовательно, ничего не угрожает. Это ли не лучшая подстраховка от неожиданностей всяческих? И ведь что в основе-то у меня лежит — честность, Катя! Честность! Я не лгу ей — она не лжет мне. А остальные, Катя,— наклонился к уху моему, шепчет,— лгут; друг другу лгут, себе лгут, окружающим лгут. Противно очень это, когда лгут. А если искренне лгут — то уж просто глупо. Если где про верность в семье заслышишь — значит, вольный или невольный лгун перед тобой глупости болтает.— И подмигивает: дескать, знай, мол, наших.

— Разве... не больно тебе? Степа? Видеть-то?..

— Больно — быть обманутым. Вот чтобы больно не было — это и нужно. Понимание реального и учет реального — вот что обезболить душу способно. Нет, Катя, нигде не больно, ни в каком месте — ничего неожиданного или нового!.. Не больно! Если так жить, многое не больно.

Ничего не больно... Вот этих еще не люблю, с их точками, да мазками...— на картину на стене показывает.— Сёра, пуантилизм. Репродукция, конечно. Тоже — наркоманы. То, что им привиделось, выдают за то, что есть, и привидевшееся выше реального ставят. Здоровое отвращение испытываю. Наркоманы. Чушь. Тая повесила. Не вполне застрахована от заразы этой. От эпидемии, можно сказать. Среди художников много юродивых... Так вот и Лёня — юродствует. А жизнь идет себе. Точь-в-точь, как на картине у Питера Брейгеля. Люблю картину эту, очень люблю... Картина у него такая есть — «Падение Икара». Землепашец с сохой — как шел, так и идет себе. Пастушок овец своих пасет. А что Икар-то, жизнь свою сжегший, прополыхал перед самым солнцем, да упал,— и не заметил никто! Маленький, едва заметный, всплеск крошечный в воде. Вот и все тебе падение Икара. И ни-че-го больше! Всплеск мизерный, не разглядишь сразу. Долго на картину эту смотреть надо, чтобы всплеск обнаружить — в уголке он, внизу. Так-то.

— Ох, Степа, плохо ты говоришь...

— Что? Что плохого во мне?.. Высоконравственным человеком может называть себя тот, кто правде в глаза смотреть умеет и кто без прикрас ее видит. Тогда нравственнность на здоровом начале основана и может нравственностью с полным правом называться. А как пошла красивость возвышенная, да еще с заламыванием рук, с театральщинкой, с самообманом! — значит, ложь пошла. Красиво — а ложно. Значит, безнравственно.

— Степа, а может, и ты... все с ног на голову переворачиваешь, оттого что боли боишься? Я Максима слушала, но там другое... Там наоборот, от боли — а наоборот. Он себя грязнит, а ты — другого, от боли... Это ты на худшее себя в человеке настраиваешь, чтобы уж ошибки никакой потом у тебя с этим человеком не вышло. И тем заранее хуже его, человека, делаешь, другого пути для него не оставляешь. Обмануться в нем боишься. Боишься, что за светлым-то потянешься — а тебе потом у разбитого корыта обманутым сидеть придется. Больно это, когда обманутым... Вот ты, чтобы не прохворать всю жизнь да в дураках не проходить... Ох, как же больно было тебе, если ты все это для себя навыдумывал, это уж никакой силы на боль, значит, в тебе не осталось...— головой только качаю, сижу.

— Запрещенный прием...— Степушка-то проворчал да отвернулся.— Пойдем, постелю тебе. А то, может, есть хочешь?

— Нет, поздно уже! — рукой машу.

Только тут Степушка подсобрался, улыбочка опять у него жестковатая застыла, прямо в глаза смотрит:

— Ты за меня не бойся,— говорит.— Мне боли досталось во сто крат меньше, чем всем другим. И в этом только моя заслуга. Потому что где только уколет — на том я вывод делаю и вперед того не допускаю. Другие-то, погляди, весь век хворают, а отчего — не определят! Все-то их объегоривают да надувают. А то и способности боль ощущать на век свой человеческий натянуть не могут: полжизни проживут — как атрофия — как атрофия полная болевого чувства наступает у них, и ходят — в полуживых, в полумертвых; до того за полжизни настукаются, что душа онемеет.

— Не вижу что-то, Степа, я разницы здесь между тобой да ними. У них, про кого ты говоришь, наболело все до бесчувствия — а ты сам себя в бесчувствие вгоняешь, из-за того, что жить боишься, себя экономишь... Ничего уже тебя не прошибет, вот болванку чугунную какую ты из себя сделал. Так разница-то какая? Одинаковые вы получаетесь.

Молчит. Посмеивается нехотя вроде, а сам — молчит: либо говорить не хочет, либо нечего ему сказать.

— Я, Степа, о прошлом с тобой говорить не буду...

— Знаю. Сразу знал.

— И на том спасибо, что знал. Не собиралась я ничего говорить...— да и думаю: а зачем же, Катерина, тебя сюда понесло?.. И сама не знаю, зачем. От шума да гама устала я, видно. Да и Нине лучше без лишних глаз да ушей побыть, полегче... Так раздумываю, а знаю, что не вся в том правда — еще чего-то в душе бродит, только не доберусь я никак сама до себя.

И едва мне на постель указали, куда прилечь,— так я и уткнулась: только почувствовала, что свежее белье белое и запах душистый от белья. Сам Степушка белье постельное поменял.

И вот под утро стараюсь я проснуться, потому что слова до меня доходят: «Катя, если пойдешь куда, ключ отдай соседке напротив, она пенсионерка, все время дома». Всматриваюсь я, кто же это говорит, а не пойму — много людей вокруг меня ходит в бараньих, свинячьих да чертовых масках, и из-под чьей маски голос — не разберу. «Запрешь, а ключ отдашь, у нее же и возьмешь, как придешь». «От чего ключ?» — спрашиваю. «От бездны,—

голос говорит. «Да разве же я слажу, одна-то — да бездну чтобы замкнуть?» «А ты попробуй»,— отвечает неизвестно кто. И вижу — ключик маленький железный на Степушкином столе лежит, в комнате его, в моем да сироткином доме которая. Еще прежний его германский ковер висит, вижу ковер этот и за ключом тянусь — а ключ-то из-под руки прямо на пол упал. И со странным звуком таким, будто что тяжелое да мягкое шлепнулось. Нагнулась я за ключиком-то махоньким и уж было и в руки взяла, как опять он из рук выпал, неловкие какие-то руки у меня, не удерживают. Выпал — а загремел как-то интересно: бряк,бряк. А потом и стеклянный звук какой-то прибавился. Тут люди в масках к ключу кинулись, и все его схватить норовят. И все-то он не дается — то шлепается, то клацнет, а непременно упадет. Как вдруг девчонка Максимова изловчилась, под свинячьей-то маской своей, да всех и опередила — сцапнула: «Вот он!» — тихим взрослым голоском спокойным говорит. А меня такая тут досада взяла, что ключ-то тот я схватить норовила, а не схватила, а девчонка меня — опередила, да еще убежать с ключом-то хочет. «Мой он, ты мне его отдай!..» — говорю, и девчонку поймать собираюсь, как тут и проснулась. И не пойму ничего. Кажется мне, что в своем я доме, на кровати, в комнате-то этой маленькой, потому что ковер знакомый хорошо вижу — вот он, прямо надо мной висит. А что за женщина над чемоданом раскрытым склонилась, пушистое чего-то шерстяное в него укладывает — и вовсе не знаю, что это за женщина. Только волосы длинные полощутся над чемоданом, светлые волосы, а лица не вижу. Да тут и опамятовалась — не моя комната! В Степушкиной квартире я. А женщина — жена его, наверно. Вспоминала-вспоминала, как же ее зовут? Вспомнила: Тая. Поправила тут она чемодан на стуле, обернулась вроде мельком, и всматриваться стала.

— Доброе утро,— говорит.— Это я вас, наверно, разбудила.

— Да нет, ничего...— со сна бормочу, и только вижу, что лицо ее — не то, чтобы красивое, а серьезное такое лицо, строгое, глаза большие да угрюмые. Удивилась я — не разглядела вчера эту Таю, и подумала еще, что другая она должна быть по поведению-то своему вчерашнему; поигривей да попроще вроде. А тут — порода какая-то основательная во всем проглядывает. И совсем я не понимаю, как же с этой Таей теперь себя держать. Подошла она к шифоньеру, порылась — костюм какой-то

на чемодан бросила: да неужели же, думаю, это она от Степушки уходить собирается? Уезжает куда — или уйти надумала?.. И чувствую только, что если бы она Степушку бросить задумала, сильно бы она мне через то приглянулась. Будто и хочется мне — чтобы так-то было!

Тут она брючки свои поддернула.

— Сейчас мы с вами позавтракаем,— говорит.— Есть у меня еще время. Билет на руках, в командировку мне сегодня лететь в Улан-Удэ... А каша уже готова, горячая...

Сказала да на кухню, видно, пошла,— никакой приветливости, никакой улыбки особой не изобразила; только озабоченное выражение у нее. И на кухне посудой погромыхивает, слышу.

А как я умылась да за стол села, она мне и тарелку пододвинула.

— Овсяная каша для цвета лица хорошо...— вроде сама с собой бормочет. А руки — красивые очень, не знаю, как и сказать — а красивые, длинные, легкие.

— Каша, так каша,— говорю.— Для вашей жизни, конечно, цвет лица важен, а для моей — нет, никогда про то не думала.

Нахмурилась она. В холодильник полезла.

— Вот, ветчина есть, нежирная, свежая...

А как села, посмотрела в свою тарелку — посмотрела да и отодвинула: тоже ветчину на хлеб положила, и чаю в две чашки налила.

— Уродливой вам наша жизнь показалась? — хмурится, а спрашивает — требовательно.

— ...Не знаю...— говорю.— Не знаю, как сказать. Непривычная вроде.

— Вот и я долго привыкнуть не могла. А сейчас — ничего! Ничего! Будто так и надо! — покривилась только, да чаем ветчину запивать стала.— Томатный сок есть!
Опять в холодильник полезла.

— Да не суетись ты,— говорю.— Чего стол-то заставлять. ...А тебе она на кой черт — жизнь-то такая?

Вздохнула, жует — сама себя по коленкам хлопнула:
— Привыкла! — волосами тряхнула.— Поначалу — дико! А — привыкла.

— Он по любви, что ли, на тебе женился? А то бывает — из-за прописки, из-за жилплощади... У вас в Москве — не так ведь, как у людей нормальных.

— Нет! Нет! — головой трясет.— Не из-за квартиры. Он мне с ремонтом тогда помог. Я ему благодарна была, и... Не понимала, почему он внимания на меня не обращает. И... сказала однажды,— испытать, что ли, чтобы

его?.. Не знаю... Это я ему сказала: я люблю тебя. Он уходил, я в углу стояла в прихожей и из угла — вслед ему. А он обернулся... Недобро очень посмотрел, и — с насмешкой... С издевкой! — «Давай любить друг друга — вечно!» С издевкой сказал. И не приостановился. Ушел,— на руки свои внимательно смотрит, пальцы сжимает да разжимает. А потом уже, когда между нами все случилось... Он ни разу не сказал мне «Люблю!» И я... После той издевки его я уже никогда и никому, наверно... Не смогу. А когда мне показалось все же, что любит он меня... Ах, как чудовищно все вышло, тогда мне думалось — что чудовищно... Нас было четверо — с ним пришел еще аспирант такой лысоватый с девушкой, тут же с ней повздорил, а как повздорил, начал за мной ухаживать,— короткая сцена между ними произошла, девушка хлопнула дверью. А потом мы еще долго сидели, было вино. Ему ехать уже поздно оказалось, и мы со Степой в одной комнате, он в другой... Нам было слышно, как он ходил туда-сюда. Потом мы оделись и вышли к нему, и тогда Степа сказал... Указал мне на постель, где он спал, и сказал: «Иди к нему, ты же видишь — ему плохо, он один...» Мне будто пощечину дали — думаю: хорошо же, но ты, Степа, ты первый этого не вынесешь! Я думала сломать его на этом. Наверно, так. И когда пошло все это безобразие... между мной и этим, лысым... Чуть не на глазах у Степы... Я все ждала, что сейчас Степа войдет, и прекратится это, а потом... я обоих выпровожу, выгоню, но победа эта будет моя над Степой. Нет. Не вошел он. Вошел на кухню уже, когда после всего я там сидела. Этот лысый спал, и я даже не плакала, я не знала только, куда мне лечь теперь, постели-то только две в доме. Ощущение грязи было непередаваемое... В петлю очень хотелось, только сначала уснуть, а потом... Тогда Степан вошел. Стал говорить, что теперь и я — как он. Что мы — не рабы своего чувства и привязанности своей, что мы оба — свободны! Свободны, поднялись над собой, не рабы!.. И мы выпили за это. Он заботлив был и так мягок, так... заботлив, как никогда до этого. Он увел меня к себе — у меня уже отупение какое-то, я будто вареная; все равно, все равно, все одинаково. Тупость одна. А он, Степа, будто вот тогда-то меня и полюбил. Продолжалась эта чертова ночь, но... Я никогда не знала его таким раньше. Он что-то необычайно сильное испытывал по отношению ко мне, но странный оттенок это носило — мучительный, мстительный оттенок, будто мстил он — мстил и мне, и себе.

Помню, я говорю ему: «Степа, прости меня! Я не поняла, что ты просто испытывал, много ли ты сам для меня значишь, а я не выдержала этого испытания, из-за гордости — не выдержала, как я виновата перед тобой!» А он мне рот зажимает, не дает говорить: «Глупости. Это не испытание было. Ты себе доказала, как ты свободна. Это лишь при высокой культуре отношений возможно». Но я не верила ему, потому что... ему тоже было нелегко; он — через себя переступал в ту ночь, он с чем-то в себе боролся, и вышло, что в этой борьбе я ему всем безобразием своим помогла... Потом, через неделю только он позвонил. Не знаю, как пережил он эту неделю, но по телефону он предложение мне сделал. И голос — жалкий был, будто не совладал он с чем-то в себе. Я помню, что как-то неестественно высокомерно я с ним держалась. Я развязное что-то ответила, дескать, юмора не понимаю. А он засмеялся жалко: «Не отталкивай, подумай...» А потом вдруг: «Лучший способ избежать искушения — это поддаться ему!» — вдруг вот эти слова сказал. И до той чертовой ночи не был, не был он привязан ко мне, я чувствовала! А тут что-то трудное пошло у него, и... жалко мне его было, вот еще что помню. Выйду, думаю, я выйду за него — и все пойдет как у всех, как мне надо, кончатся эти его эксперименты над собой и надо мной, не вынес, думаю, он все же той ночи, как хотел, и как себя в том убеждал, насчет свободы-то личной... Мы ведь даже были счастливы, сразу после женитьбы — были! Мне казалось даже, что все и забыть можно. Только потихоньку да исподволь он свою эту линию на словах сначала гнул, а потом... я тоже, конечно, хороша, тут и говорить нечего! Я за слова эти, насчет свободы от себя и друг от друга, за те слова, которые простить ему не могла — я за них отыгрываться вроде поначалу стала. Помню, мне все хотелось ему больно этим сделать, и чем больнее — тем лучше. Сначала — флирт, ему назло, потом... На каких это нервах шло, все веселье это! Да и привыкла! Привыкла! Но — в одном он благороден был: сначала он мне дал возможность накупаться в этой грязи. Только потом, потом в доме стали появляться его девицы. В первый раз вошла я на кухню,— с работы только, а у него свободный день... Сидит за столом этакая крошка, невзрачная, улыбается натужно,— лет ей то ли двадцать, то ли тридцать, безвозрастная какая-то. В моем халате новом сидит, но — босиком! Новый халат только купленный в шифоньере у меня висел, так она, с этикеткой, с ценой на шее,

в нем и сидит. Я ушла в комнату другую — и почти все слышала, потому что девицу от неловкости ее Степа освободить старался уговорами-разговорами, очень будто весел был. Девица хихикала полупридушенно как-то. А у меня руки сильно дрожали... Я потом сказала ему про халат: сам его стирай, пусть этот халат для твоих девушек не в шифоньере висит, а на гвоздике в прихожей. Я стирать его не собираюсь. Посмеялся он только: «Не блажи, маленькая умница моя!»...

— Халат-то выстирать недолго! — аж за голову я схватилась.— А с собой потом чего делать? Себя — тоже, что ли, стирать? Да девонька, вот уж какой судьбы никому не пожелала бы — так это твоей!..

Тут она вдруг требовательно опять мне и говорит:

— Вы прошли через это? — ухмыльнулась.— Вы ведь тоже давно с ним знакомы были!

— Нет,— встала я.— Через другое я прошла! — да опять села.— Уж и не знаю, что лучше, а что хуже: твое ли или мое.

Пошла она такси по телефону заказывать, а как вернулась — совсем уже по-другому заговорила:

— Не надо меня жалеть! Уверяю вас — не надо! Он — сильный человек! Он — из меня, цепляющейся за него, из меня, сентиментальной и глупой девчонки,— сделал сильную женщину! Он дал мне ощущение собственной раскованности! Я же чудовищно закованная была! Он снял с меня такие путы!..— а сама себя за плечи обхватывает, ежится, будто ужасно холодно ей.

— Еще кому скажи! — прикрикнула я тут.— Передо мной чего спектакли разыгрывать! Сильно ты счастливая, как я погляжу — жить-то ты чем дальше думаешь? Спортсмены чертовы! Спортсмены! Из любви-то ведь чего понаделали,— спорт! А знаешь, чего я тебе наперед скажу,— храбрись ты не храбрись, а не будешь ты с ним жить! Уйдешь ты от него! И тогда только с хорошим человеком — дай бог тебе хорошего человека, молодая ведь ты! — и поймешь тогда, в какой луже тебя полоскали, ведь не сама же ты этого хотела, не поверю я, чтобы хотела ты этого...

— Привыкла...— сидит, в пол уставилась и — как кукла заведенная, бормочет, будто ключом ее завели,— а завод не кончится никак: — Все равно уже. Привыкла. Все — все равно. Зачем по-другому — если и с чистого начала, а по сути к этой же жизни подойдешь. Нет иного пути. А тут — без вранья. Да и хорошо он ко мне относится, очень

хорошо. Привыкла. Наши отношения на чем-то более крепком держатся, чем любовь; любовь — это недолго, ненадолго, все равно — к этому же... Привыкла. Сейчас у него одна женщина... Одна. С этой я не знакома. А с остальными, раньше,— здоровались, улыбались друг другу.

— Ты погоди-ка... А ребенок будет если, как же его в такой жизни растить?

— Растить...— плечиком повела.— Сначала он не хотел. Потом попыталась я, и он как будто не против был. Просто — не возражал!.. Не под силу это мне оказалось...— голову наклонила.— Он там только-только зародился, как я сама меняться стала, такая тоска пошла!.. Не под силу. Рядом человек с тобою в это время другой должен быть, твой только, больше ничей... А оттого, что нет такого человека рядом — пусто, холодно, холодно вынашивать. У Степы своя личная жизнь за стенкой — а у меня рвота дурацкая, беременная, и мне надо до слез, чтобы со мной носились, только со мной, а у него... А после совсем смешное за собой замечать начала. У нас в проектном есть один... скромный до нелепости человек, он годы уже влюблен в меня, откровенно влюблен, подтрунивают над ним... Так я в это самое свое время вдруг стала приходить в его кабинет. С полчаса обязательно мне там посидеть надо стало. Под его взглядом. Какой-то ток идет от него ко мне — он рад был приходам моим. А от него ко мне — ток, ток любви, и я в этом токе — отогревалась. Существо это глупенькое, которое во мне зародилось, тепла, любви требовало... Смешно как, а? То я все плакала, сама не пойму отчего,— холод вселенский убивал он меня тогда, а там, у человека этого — тоска и отойдет, живая выхожу. Он так ничего и не понял, человек этот, который совершенно мне не нужен, и никогда не будет нужен. И когда ясно стало, что нельзя продолжать эти хождения мои к нему, он-то иначе все расценил... что нельзя этот ток его дальше эксплуатировать украдкой... Тогда я и не стала больше... В общем, не стало ребенка. Не получилось.

— Машина-то уж, поди, стоит. Ты на часы-то глянь...

Глянула:

— Пусть... Не хочу я от этой жизни ребенка. Собою я вправе распоряжаться как сама знаю, и ни в чем не раскаиваюсь, а ребеночек... для того, чтобы только выносить его в себе, другое... другой жизнь должна быть, не хотят они так рождаться. А мне и не надо... На работе бы плохо отразилось. И потом — на всю жизнь быть несво-

бодной от кого-то!.. Степа тоже так считает: поступай как знаешь, но ты обрекаешь себя на несвободу от другого человека, зачем? Прав он, прав! Какой я работник тогда? Нет, я дорожу Степой, его умом! Семья закабаляет женщину — а он меня раскрепостил; какая еще женщина может рассчитывать на это? Нет, Степа — редкий человек, сильный, справедливый, он меня поднял, над собой поднял!..— быстро-быстро говорит, полотенце схватила, глаза вытерла.— Нет, мне не надо, страшно подумать, что бы я с ним, с ребенком, одна делала...

Побежала чемодан закрывать, шубенку накинула:

— Катя, я вам много чего наговорила — но ни за что мне не стыдно. Ничего стыдного в этом нет. Это только на профсоюзных собраниях стыдным считается, а мы-то с вами... До свиданья!

А у меня все ее слова из головы не выходят: сама ведь, поди, не заметила, как сказала: «...что бы я одна с ребенком делала...» Одинокие ведь так-то только рассуждают. А здесь — мужняя жена... Ох, никакой души моей на это не хватит, чую. А надо, наверно, билет домой брать, да ехать отсюда, пока я с ними со всеми с ума не сошла. Пойду, думаю, в магазины схожу, куплю товара кой-какого, да скорей-скорей — домой, пропади они здесь все пропадом, так своей жизнью они мне голову заморочили.

Отнесла ключ в квартиру, напротив которая, баба-яга какая-то через цепи дверные руку просунула, пальцы растопырила — цапнула ключ молчком, и только замки защелкиваться стали один за другим.

А поездила день по Москве — и вовсе у меня волосы дыбом встали от этой московской жизни: народу — как в нетолченой трубе, все больше бабы в очередях, и друг на дружку сильно злятся и кричат. Да что же они зленные-то какие? Раздумалась, прикинула — как ни удобства в квартире, а чтобы только квартиру в чистоте содержать, в очередях за продуктами выстаивать, детей в школу провожать-встречать, уроки у них проверять, одежду им готовить да ужин, завтрак, обед сварить — как раз весь день на кутерьму эту домашнюю и уйдет, только-только выспаться кое-как время останется. А ведь они еще и на работе весь день! Да им, бедным, и выбора другого нет, как либо работу кое-как делать да за счет работы хоть по магазинам побегать, надо дом и детей напрочь забросить. А если так разрываться — между работой да между домом,— ни там, ни там толком не успеешь управиться, вся жизнь через пень колоду, кувырком, проживется. Прики-

нула так, гляжу, как кричат они в очереди-то, да сама про себя думаю: сильней кричите, может, хоть от этого вам полегче станет, тут не то что кричать, а в голос вам, поди, орать навзрыд надо, с вашим-то равноправием. И уж так домой мне хочется, что и к Тарутиным никакой охоты возвращаться нет. Вернулась с узлами да кульками, через руку у меня сапоги теплые да ботинки Пелагейкиному парнишке висят, едва до звонка дотянулась. Степушка открыл. С головой мокрой стоит, в бабьем халате полосатом мохнатом.

— Степа, чаю мне скорей, я с ног падаю.

— Сейчас, Катя,— на обувь купленую глянул — ничего не спросил.

Села за стол — ни жива ни мертва.

— Ох,— говорю.— Я в тайге так не уставала. Вот силу-то дурную надо где иметь — в Москве, а не в тайге. Тайга-то после вашей жизни городской раем покажется. Это сколько же времени в вашей Москве на одну езду угробить надо в день!

— Я не спросил тебя, Катя...

— Степа, иди Христа ради, надень чего-нибудь другое — я на тебя в этой одежде твоей смотреть не могу, глаза у меня не поднимаются...

— Прости, не подумал,— говорит, через минуту вошел — в костюме каком-то спортивном.

— Пойдет так? — спрашивает.

— Ох, и то, конечно, лучше.

— Ты замужем? — говорит.

— Нет. Кончился мой век, Степа.

— Дети есть?

— ...И детей, Степа, нет. На обувку, что ли, посмотрел?

— Правда,— говорит,— ведь и заказать кто-нибудь мог, чтобы ты купила. Не подумал.

— Может, конечно, кто-нибудь... Если было бы на что заказывать,— говорю.— На все деньги нужны.

Почуял он тут чего-то. Заторопился:

— Ты, Катя, располагайся, отдыхай, а я поработаю. Отзывы я давно задерживаю непростительно.

— Иди, иди. Я тоже от вас ото всех устала. Иди, посуду перемою.

Встал, оглядывается вокруг себя.

— Да нет, ты посиди, я сам помою. Здесь немного, а ты устала.

Ну и стал щетками под краном посуду тереть.

— На Пелагейкином мальчишке обувка — как на огне

горит! — говорю.— Хороший мальчишка растет... Даром, что безотцовщина.

— Мальчик у нее? Большой?

— Жених! Семнадцать годков!

— А-а,— говорит.— Я когда уезжал, у нее вроде никого не было.

— Не было...

— Ну что, с Таей поговорили, успели? — про другое он скорей, а сам — спокойный; как мыл — так и моет, и не обернулся ни разу.

— Поговорили.

— ...И ты ей, конечно, ничего о нашем прошлом. А она, конечно, и себя и меня оправдывая, с неохотой да с угрюмостью своей выложила много чего такого...— усмехается.

— То ваши дела, не мои,— говорю.

— Не винишь, значит?

Помолчала я.

— Виню, Степа. Что есть — то есть.

Тут посуду перемытую аккуратно на полки он расставил, не громыхнул ни разу. Постоял — раковину мыть стал. Мыл-мыл — все молчком. Руки ополоснул. Полотенцем их вытирал-вытирал — долго тер.

— Пойду позанимаюсь.

— Не обращай на меня внимания-то, занимайся, конечно.

Пошел было. Да обернулся. Улыбается:

— И чем я виноват перед вами всеми? Даже интересно. Тем, что не надо мне ничего от вас? Не надо мне ни родства с вами духовного, ни любви вашей не надо, ни верности? Не надо, единственно из-за того, чтобы и от меня вы этого же не требовали, не ждали. Всего того, что человека по рукам и по ногам в жизни связывает... Да тебя-то я не имею в виду, ты — другое все же. А если о себе — я и хуже о себе сказать могу: я — предам. Когда ситуационно так сложится, что вынужден буду предать. Так неужели я хуже вас всех только потому, что не скрываю этого, а вы — лучше, потому что скрываете? Вы-то будете везде и всюду утверждать о себе противоположное, ну а поступать-то — поступать будете так же! Не отдавая себе отчета в том, что предательство — в натуре вашей. А я этот отчет перед собой — отдаю! Вся разница! Вы предадите — да на предательство свое будете смотреть как на исключение, и сладкому самобичеванию предадитесь — ах, как это я, такой хороший, и вдруг меня

вынудили, ах! А я — нехороший. И потому предал. Ничем от вас, в принципе-то, не отличаясь. Вы ведь только играете в хороших. А я — не играю. Вы — фарисеи перед самими собою. А я честен, я — цинически честен, и этим горжусь. Все люди — братья? Все люди — сестры? Не-е-т! Все люди — черти! Мелкие, заблудшие черти, не подозревающие о том, что они черти. Я мало удивлюсь, если на мне вдруг вырастут копыта, рога, хвост: да, я — таков. Но только вырастут они на мне в то самое время, как на вас вырастут. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Одно-вре-мен-но! Но я, я способен буду видеть эти рога и копыта, а вы, при рогах да при копытах своих, будете щебетать ангельскими голосами в полной уверенности, что на вас такого и быть, и произрастать никогда не может! Так что́ омерзительнее, а, Катя?.. Это — не про тебя все, ты — не в счет... Ты понимаешь многое, чего вроде бы и понимать не должна...

Тут — звонок в дверь, ничего я ему сказать не успела, да и не хотела говорить, вдруг — звонок. Степушка на меня смотрит, плечами пожимает:

— Кто это без предупреждения? Поздновато. Соседи, что ли?

Открывать пошел.

Разговор какой-то там, и не вслушивалась я — да только Нинин голос услыхала. А как сообразила, что она это, больше некому, так к двери скорей двинулась, и там уж ноги-то мои сами к полу и приросли.

Темно в прихожей, Степушка и свет не включил, а Нина за порогом, на лестничной площадке светлой стоит, платок пуховенький старый, старушечий какой-то к груди прижимает — видно, схватила, в чем и не выходила никогда и что под руку только подвернулось; одной рукой прижимает, а другой — аптечный пузырек какой-то все Степушке через порог сует:

— Это — тебе, это тебе... Я о т е б е позаботилась. Когда-нибудь т е б е это очень понадобится.

Степушка все отодвигает его рукой, флакончик-то:

— Зачем?!.

А в подъезд ветер холодный задувает, дребезжит на ветру что-то, будто стекло разбитое где неподалеку. Тут Степушка взял этот флакончик, неуверенно сначала говорит:

— Стрихнин... Стрихнин?

А Нина, видать, таблеток этих своих много наглоталась, глаза совсем неподвижные, и сухонько так, будто стару-

шонка, смеется нервно, при неподвижных-то глазах да при зрачках огромных.

— Зачем? — Степушка плечами жмет, сердится вроде.

— Травить крыс в душе.— Нина говорит.— Травить крыс в душе,— и пошла вниз по лесенке, голову низко наклонила, под ноги смотрит, да обернулась еще: — Травить крыс в душе!

Закрыл Степушка дверь.

— Видала? — спрашивает; флакон этот от себя подальше держит, к мусорному ведру несет. Да над самым ведром раздумался чего-то — повертел его в руках, на полку поставил, на самый верх, и руки опять тут же в кухне вымыл.

Ну, меня и понесло:

— Господи, господи! — говорю.— Да когда же я наконец дома-то у себя окажусь! Когда я только спокойной жизни дождусь! Да разве можно так жить? Да что же за дуры-то они за такие, если один мужик ими всеми вертит как хочет? С ума посходили! Красивые, молодые.— Разве же других-то мужиков вокруг нет? — да остановилась — вижу: сильно я этими словами своими Степушке угодила, щурится — а ведь доволен сам, ох, как доволен!

— В том-то и дело, что... молодые сравнительно. И ты ведь в их возрасте была, могла бы понять...

А-а, думаю, намекает: и сама, мол, не лучше была.

— Да нет,— говорю.— Зря ты, Степа. Я и моложе-то посамостоятельней была, чем они. Свет-то клином у меня на тебе — не сошелся! Я, может, не такая грамотная да не такая культурная была, как они...

— Может, поэтому, что не такая грамотная, все так и было! — проговорил, да позевнул нарочно. Зевок-то прикрывает: — Да ведь и я, наверно, раньше другим был. Усовершенствовался, значит!

Лениво так вроде пошутил, рукой махнул. Ой-ей-ей, думаю, это ведь он этим всем гордится,— они бесятся, а ему-то это — всласть!

— Не подшучивай! — говорю.— Недолго уж тебе эти хороводы-то водить! Придет час, когда только о душе и думать. А чего у тебя в ней, в душе, останется?

— То же самое, что и у других.— говорит.

— Ох, Степа... Вспомнишь ты еще про этот флакончик.

Тут он его легонько с полки взял — да в форточку кинул: безо всякого зла — кинул, да и все. Да опять с ленцой будто:

— Вспомню!.. Как-нибудь на досуге.— улыбается.— Отчего же не вспомнить? И на воспоминания время впереди отведено! Всему свое время. А уж вспомнить — будет что! Ха-ха-ха! — посмеивается, да посмеивается тихонько.— Ха-ха-ха...

И все этот тихий смешок у меня потом в ушах стоял..

На другой день, в ночь самую, Лёня меня провожал.

Удерживал меня Павел, уж так удерживал, еще бы маленько,— осталась бы. Да только я одно твержу:

— Павел, не неволь, не мучь ты мою душеньку — не могу! Как хочешь, а в тарараме этом я и часа лишнего задерживаться не хочу. Вся ваша жизнь мне непривычная!.. Содом и гоморра — ваша жизнь.

Да кто же подумать мог, что последний раз я с ним виделась, и что Нину тоже не увижу больше уж никогда? Пока живет человек, совсем про то не думает, что не вечно всем жить на земле — все-то ему кажется, что всегда все так и будет, как есть...

— Нет, взглянула я на вас — для первого раза хватит,— говорю.— У бога дней много.

Леня с моим рюкзаком выскочил совсем, считай, раздетый,— и у матери на виду, а она как и не видит. Что пальтишко-то на нем легонькое. Шея голая, посинела сразу на морозе — ни шарфа не надел, ни потеплее чего, один ворот рубашонки ситцевой старенькой торчит.

А я — все с досадой прямо рассуждаю: детей понарожали, и дети вырастают,— а им в городах этих только про любовь думать охота. Что за времена такие — когда дети у тебя, какая еще такая любовь может быть? За сорок ведь! Молоденькие, что ли? Из-за любви все перебросились. таблетками себя травят каждый день. Будто важней любви и быть ничего не может. И останавливаю себя: зря ты, Катерина, так. Может, из-за Лёни-то больше всего и мучается она, может, и таблетки эти оттого, что никак она в жизни себя да со всеми остальными связать толком не может? Останавливаю — а с собой не слажу: все мои нервы ходуном с этой их жизнью чертовой расходились.

И на перроне уже на самом, когда до поезда минут двадцать, не больше, оставалось, я возьми да и спроси Лёню:

— А что это тебе в голову пришло, с чего это все — от катастрофы-то мир спасать? Чего она, эта катастрофа, тебе в голову втемяшилась? У нас вон и испытанья под боком, а никто про катастрофу эту речи никогда не ведет. Всяк только живет, да всяк по-своему с ума сходит.

— Это — голод, Катя,— катастрофа. Не только холод один. Но и голод.

— Да ведь вы, послевоенные, и не знаете, чего это такое...

— Энергетический кризис — голодная смерть человечества. А про голод... руководительница классная наша...

— Погоди, пока не забыла, перебью тебя, Лёня. Вот твоя учительница по физике, Ольгой которую зовут, Кораблева... К которой ты бегал...

— А она наша классная и была.

— Вот бы мне на нее надо было бы взглянуть, она с какого года будет?

Леня-то растерялся вроде:

— ...Н-не знаю даже, Катя... Нет, не знаю. Она непонятная какая-то.

— Вот бы я с ней про Бориса Иваныча потолковала... Святославовна она, говоришь?

— Святославовна.

— Ну, чего ты про нее сказать хотел, все я тебя сбиваю...

— Про голодовку она рассказывала нам. С Волги она родом. А знаешь, рассказывала как? В походе у костра в лесу сидим, глядит она на картошку печеную. «...Пятый год мне был,— говорит,— а мы уже много дней ничего, кроме репы пареной, не ели.

Я стою на улице одна... И, соседка выходит, по голове меня гладит — «сегодня сорок дней, как подружка твоя Тонечка померла, помяни ее». И огромный кусок мне дает, кусок пирога с тыквой,— настоящий пирог из муки — с тыквой! И вот я его ела, ела, ела!..Как я его ела!..» А мы переглядываемся между собой. Потому что это повторялось. Вся голодовка на ее словах получалась, как ела она чего-нибудь. Кто-то чего-то дал — а она ела. Ни про что другое в рассказах этих ничего больше не было...

Мы все ее истории наизусть знали, но не перебивали... Она как ненормальная становилась, когда повторяла: «ела, ела, ела...»

— Лёня, погоди, Лёня... Ты мне скажи — девичья ее фамилия какая? Ты бы вот девичью фамилию ее побыстрее все же узнал бы для меня, а?

— ...Наверно, это ее девичья фамилия и есть. Потому что у девочки ее другая фамилия, по отцу. Нефедова Саша. Нефедова.

— Ну что ж,— говорю.— Мало ли, и вправду, таких имен на свете... У меня сестра была Ольга. Вот, в голо-

довку потерялась... Ты как рассказывать стал — у меня и сердце зашлось. Она, думаю. Хоть и отчество другое — она.

Посмотрел он на меня — да головой покачал:

— У Саши, у девочки ее, фамилия Нефедова.

И так-то вот мы с Леней напоследок поговорить успели. Наказала я ему за матерью приглядывать, беречь,— все я боялась, как уезжала, как бы не случилось с Ниной чего — да и расстались. А уж на другой день,— в поезде, проснулась — чистый снег незакопченный за окошками лежит, деревья вольные, неостриженные, неискромсанные, в инее стоят, дымок синий из избенок вьется — легко мне в поезде вздохнулось! Да и подумалось: как жить можно хорошо на свете, без суматохи, без сутолоки в душе. Как хорошо-то жить можно!..

А как приехала — еще и работу себе приискала: библиотеку новую большую выстроили, старая уборщица и ушла, уволилась — к маленькой привыкла, и неинтересно ей тут стало много мыть. На плодоконсервный комбинат перевелась. Вот приду к занятию к самому, подожду, когда библиотекарша последняя уйдет, да потихоньку мою. Один зал вымою — газетой то место на полке, откуда книжку взяла, заложу,— читаю сижу: тихо, нет никого, тепло. Хорошо. А там и второй зал, глядишь, перемыла — торопиться некуда.Правда, ночью домой идти страшновато, избы уж темные стоят, собаки только за заборами лают. Да издали-то один только огонек видать — у старушки сквозь ставни свет пробивается. На этот свет живой и бегу. Да и раздумаюсь: что же никто ничего про старушку эту толком не знает? И сроду я не видала, чтобы бабушка та лампочки, скажем, в магазине покупала,— ведь то и дело лампочки перегорают, и через магазин все мы друг дружку и знаем, кто на нашем конце живет. Да ведь и за хлебом ходим — а бабушку ту и по хлебной очереди не встречала я никогда. Помню, Анну Фирсову я раз спросила:

— Анна, ты родилась тут, должна ты бабушку, которая напротив нас живет, знать.

Подумала Анна, да и говорит:

— Сколько себя помню, всегда эта старушка была. И мать моя, покойница, с 1879 года рожденная тут, а и она, помню, говорила, как в девчонках она бегала и в домушку заглянуть пробовала к этой *бабушке ссыльной*.

— Чего ты, Анна, мелешь? Что же, двести лет, что ли, эта старуха в ссыльных здесь живет?

— Может, меньше, может, больше,— кто же знает, Катерина? Я тебе этого не скажу, а только старуха эта всегда была; так, по-моему.

И вот как ночью бегу, так и рассуждаю по дороге: избушка не ремонтировалась никогда, не перестраивалась — а не разваливается избушка. И по имени никто ее не знает, бабушку эту: ссыльная — да и все.

Да тут вскорости зашел у меня разговор про старушку — с участковым. Золу, помню, я выносила,— только золу высыпала, по ведру, по донышку колочу, слышу:

— Здравствуйте, Анохина. Тихо-смирно живем? Ни на что не жалуемся?

— Да на что мне жаловаться? Вот поясница побаливать стала.

Стоит участковый по ту сторону забора, красную папку под мышкой держит, голову склонил. А сам на избушку-то посматривает, в которой она живет.

— Доколотились вы к бабушке-то? — вспомнила я, как он в ставенки постукивал.

Кашлянул милиционер, перчатку об перчатку похлопал:

— Большая,— говорит,— у меня неувязка по документам с этой бабушкой числится.

— Да что за неувязка?

— А вот такая неувязка, что вовсе по документам этого дома — нету. Да и старушки тоже нет. Что с ней делать — ума не приложу. К Петру Ильичу, который по соседству недалекому живет и на вагоностроительном заводе работает бригадиром, обращался, а он меня к Леониду Герасимовичу отослал. «Все равно,— говорит,— то, что я скажу, я с его слов скажу, так что вам у самого Леонида Герасимовича лучше и спросить».

— Ох, Леонид-то Герасимович уже тогда от старости с печки не слезал, когда я в девках была и только-только замуж выходила. Я и забыла, что он на свете живет. Ему поди-ка за сто лет...

— Вот-вот. Он самый,— вздохнул участковый.— Был я у него...

— А он чего?

— Да чего? Глухой он. Едва докричался. И к словам его как относиться, совершенно не знаю, потому что наговорил он мне совсем непонятное. Если я верно его понял, получается, что старуха эта вечная. И читает она одну единственную книгу — Вечную книгу. И как только дочитает эта старуха книгу до конца — тут и конец света наступит. А пока, значит, она не дочитала — вот жизнь на земле и идет.

Носом пошмыгал, потоптался.

— ...Я уж,— говорит,— совсем было решился достучаться и личность этой старухи до конца выяснить. И даже стукнул в дверь разок-другой... Только времена меня смутили.

— А что же за времена такие, что смущают? — спрашиваю.

— Текучесть и переменчивость времен настораживают. Дело-то в том, Анохина, что создался с этой старухой — миф. И достучись я до той старухи — личность-то ее я установлю. А миф создавшийся — разрушу. А есть ли у меня такое право — на разрушение мифа? Этого по документам установить невозможно. В инструкциях об этом не сказано. Так-то, Анохина. Сегодня в них ничего не сказано, как с мифом поступать, а завтра, при быстротекущих наших временах, может, и уголовная ответственность за разрушение мифа появится. Вот откуда мое смущение. И нерешительность, соответственно. Я бы и у начальства проконсультироваться мог. Но прежний участковый самолично все решить мог и начальства нашего никогда не беспокоил. Обращусь,— значит, тем беспомощность свою обнаружить могу, и это мне в минус зачтется. А коли прежний участковый эту старуху не беспокоил, то, может, и есть это мне тайный пример, как поступать. Даже сам не знаю, Анохина, как быть... Об одном вас попрошу: если появится факт, способный прояснить ситуацию со старушкой, вы этим фактом, пожалуйста, поделитесь.

Папочку поправил, да и пошел.

Пересказала я весь этот разговор, как есть, Пелагейке. А Пелагейка вместо того, чтобы удивиться, еще и меня удивила:

— Ох, Катерина, про старушку вечную и я слыхала! У нас в городе, на самом краю, точь-в-точь такая избушка стоит, и в ней старушка тоже Вечную Книгу читает. И вот если эту старушку потревожить да занятие ее прервать, то конец света тут же раньше срока наступит,— говорит.— И везде, где люди живут, обязательно такая избенка есть незаметная, в которой свет всегда горит. Со старушкой избенка. И обязательно за избенкой такой — дорога, и лес за ней видать, лес обязательно густой... Вот прямо как у вас тут.

— Пелагейка! Чудная ты под старость какая становишься, Пелагейка. Это сколько же таких старух по белу свету сиднем сидит, и сколько таких книг перед ними лежит? Вот скажи мне.

Покачала Пелагейка головой:

— Нет, Катерина, ты думаешь, что полно их, а на самом-то деле это везде — одна старуха, одна и та же старуха. И избенка везде одна, и книга одна такая на свете. Потому что та книга да та старуха — везде. До тех пор, пока мир, конечно, стоит... И как это ты не слыхала? Я сто раз слыхала, а ты напротив прямо старухи живешь, а сама не знаешь ничего. Удивляюсь я тебе, Катерина, какая ты все же нелюбопытная. Для тебя только научное на самом деле есть, а жизнь ты, Катерина, настоящую совсем не замечаешь. Это тебе друзья твои ученые своими небылицами всю голову забили, а того, что все знают и что у тебя под самым носом творится, совсем ты того, Катерина, не видишь! — еще и укорила меня.

...А от Тарутиных из Москвы долго никаких вестей не было. И только в лето уже от Лёни письмо пришло, наспех написанное. Про Павла да Нину — ни слова, ни полслова. А про себя черкнул, что в армию на подготовку какую-то его забирают на три месяца. Подумывала я,— как они все там, в клубке-то своем? Да уж своя тут жизнь завертелась. То плотников нанимала дом ремонтировать, то с огородом возня. Сироток я похоронила одну за другой — с ними, не тем будь помянуты, намучилась: совсем они квелые были, как из Москвы-то я приехала. А как ремонт в их половине делали, взяла обеих к себе и только одному удивлялась: спят обе день-деньской, пушкой не разбудишь! А ночью то одна, то другая из угла в угол и ходят. Прикрикну на них бывало:

— Вы мне спать-то дадите или нет?

— Катя, а н а ш дом где?

— Пол перестелют, вот вам и ваш дом будет.

Мура заговариваться стала:

— Где мамочка, мамочка где? К мамочке домой я хочу,— хнычет.— Зачем мы ее одну оставили?

А Муру как под весну похоронили, с Нюрой мне беда — да и только: наладилась уходить из дому. Весь пригород оббегаю, пока ее разыщу.

— Тебе что дома не сидится, как ты меня, Нюра, измучила! Ты что не ешь, чего я тебе принесла? Все так на столе и лежит.

Отвечать-то мне побаивалась: приведу ее, накормлю, напою, а на другой день чуть не догляжу — опять ее нет. Да перед смертью самой Нюра мне и говорит в половинке-то своей,— уже с постели не вставала:

— Вот, Катя, ты мне все время не давала к мамочке

да к Муре сходить. Я только к ним подойду,— а ты меня домой ведешь!

— Замерзла бы насмерть, если бы не я! — говорю.— Я тебя в последний раз, вспомни-ка, откуда привела! За водокачку-то ты зачем ушла? Уж заморозки ударяют...

Все время что-то их поругивала, и одну и другую. Жалела потом: какой с них спрос? — поласковей бы надо, все же последние денечки свои доживали. Да что-то вот терпенья на них не хватало.

А похоронила их — ну так в доме пусто стало, вот будто сквозняком каким потягивает нежилым — да и все тут. И к весне уже столько моли в доме развелось! Везде нафталином посыпала, а ее не убавляется. Ну, может, нафталин лежалый в магазине, некачественный, чего же — бывает. И стала я тогда сама себя на улицу прогонять, чтобы в тоске не сидеть, да не задумываться-то — ведь когда один человек, он, и не знаю, до чего додуматься может! Страшновато мне что-то стало сидеть да думать, потому что вся жизнь прожитая-виденная никак у меня в один клубочек не совьется — все порознь, и концов я в уме не сведу. То, что я повидала, не с моим бы умом обмозговывать-то! Вот и стала на день без дела по нескольку раз прохаживаться; то вроде как к магазину,— а то будто назад. Увижу кого-нибудь, поговорю — вот и развеются мысли-то: глядишь — до Пелагейкиного приезда и доживу. А то Ванюшку-фирсиянина послушаю; на дежурство идет,— нога за ногу заплетается, вверх глядит, ворон считает.

— Ванюшк! Да как ты со своей каланчи не упадешь, если на ровном месте спотыкаешься! Вон, через лыву самую прошел, как ведь поскользнулся. Думала, в лужу-то все же попадешь. Ты про что все думаешь?

— Я думаю, теть Кать, отчего это у нас пожары не случаются? Десять лет уже как пожаров нет, ни одного не потушил, как работаю. Наверно, ненормально это, теть Кать.

— Противопожарная работа у тебя хорошо налажена! Вот и не горит ничего!

— А вот я чего, теть Кать, думаю: ведь если так еще года два пожаров не будет — могут пожарку за ненадобностью ликвидировать или нет? Если так дело пойдет, под сокращение можно попасть, а, теть Кать?

— Нет, Ванюшк! — утешаю его.— В населенном пункте без пожарки недозволено!

— А что, теть Кать, на севере-то поди часто пожары, а?

— А вот с этим ты ко мне лучше и не подступайся. Ничего тебе про север ни словечка не скажу. А то ты там, в пожарке-то своей, с тоски дуреешь, а потом разговор от тебя — больше и не от кого — не знаю какой идет.

— Нет, уеду я все же на север — как там, поди, тайга-то горит. Я в кино видал ведь, как она горит. Там и медаль заработать можно, если что,— лицо опять к небу задрал, пошел.

И ведь договорился! Фирсовский дом загорелся. И как раз — после обеда. Народ весь к пожарке прибежал, багры стал просить, да машину пожарную чинить. А Ванюшка сидит на каланче и оттуда, знай, одно кричит:

— Это папа кабана, наверно, зарезал, меня не дождался. Мы кабана сегодня резать собирались. Это он его смолит!

Все как есть дотла и сгорело. А что? Правда, отец-то фирсиянин лампу паяльную стал проверять, чтобы вечером кабана опалить. А Анна-то его зачем-то на улицу крикнула, позвала. Ну вот и случилось. И Ванюшка уже после этого на север завербовался, а Анна с Кузьмичом в половину в сироткину попросились. Маленько я не успела добежать, чтобы самой их позвать. Горисполком им эту площадь и оформил... Так, помаленьку-потихоньку, время-то и идет. Вроде и не происходит ничего, а только не успеешь глазом моргнуть, глядишь — весна на дворе. А там очнешься — по снегу бежишь. Не заметишь, как яблони цвели — а уже яблочный запах стоит, и лето на закате, старушки поутру в церковь яблоки святить несут; спас, значит, подошел. Только вчера, будто с участковым про старушку толковали, по зиме — а он в сапогах уже по хляби осенней, по туману холодному навстречу торопится с папочкой своей, да с узелком.

— Что же, со старушкой-то добились вы прояснения какого или нет? — спрашиваю.

А он и не поймет сразу, про что это я.

— А-а-а... Со старушкой? Со старушкой по-прежнему. В стадии моего ненавязчивого наблюдения,— говорит,— старушка находится. Хотя другие происшествия злободневные старушку вытесняют, конечно.

— Это пожар вы имеете в виду? — говорю. — Пожар фирсиянский, наверно?

— Какой пожар?.. Это год назад было, и в прошлое кануло, в греческую реку Лету.

— Ну? — говорю, сама же и удивляюсь, а в уме переберу: — Точно, уж год как они за стенкой-то живут.

— А злободневное происшествие,— толкует,— в коттеджах произошло, которые начальство наше в ряд около речки выстроило за вагоностроительным заводом. В двух уровнях коттеджи. Вот в крайнем и произошло. Преступника мы позавчера взяли. Квартирного вора с помощью пионера обнаружили. Передачу теперь вору несу.

— Гляди-ка! — опять я дивлюсь.— И у нас все как у людей стало, свои воры развелись...

— Нет,— отвечает.— Со своими, доморощенными, по-прежнему у нас дело не сдвинулось. То из стройбата вор, демобилизованный оказался. И формы солдатской снять не успел. Так-то, Анохина.

— Ну, правильно он сообразил, что у нас красть нечего, а если чего и красть, то в коттеджах, конечно. Это он правильно сделал! — рассуждаю.

— По люстре,— говорит,— солдатик выбирал, куда залезть,— люстру самую богатую определил через окошко.

— Ясное дело, по моей лампочке не много наворуешь...

— А ему и надо-то было немного. У него старушка-мать в деревне сухую колбасу копченую любит. Любительница. В последние годы эта колбаса в магазинах пропала, а солдатик и подумал, что если из начальниковых холодильников возьмет для матери своей деревенской кружок, то ничего, старушку свою и порадует. Все равно у них в коттеджах обеспечение хорошее, особое — они еще достанут себе и наедятся, конечно. Он и шесть рублей на место колбасы в холодильник положил.

— Да как же он, бедолага, попался?

— Я же тебе русским языком, Анохина, сказал: пионер донес. Пионер поблизости около речки со спичками играл. И его выследил. Чужой пионер, не из коттеджей. Сначала на 02 позвонил, стал событий ждать.— Время идет, а солдатик через форточку не вылезает, и милиция его хватать не едет. Пионеру это сильно не понравилось. Так он еще и ко мне на участок прибежал: недоволен был, что действия не разворачиваются в ответ на его предусмотрительность. Я-то, признаться, думал, что вора давно и след простыл. С прохладцей, признаться, шел, чтобы на месте действия быть. А со мною одновременно и милицейская машина к коттеджу подъехала. Так дверь даже открытая была, как мы в коттедж вошли: замок английский, изнутри солдатик его открыл, уже выходить собрался. Но на предохранитель замок поставил. Потому что один предмет его привлек. Кубик Рубека его привлек. Присел на диван — ну и собирать стал. Даже уходить

никуда не хотел, собрать пытался последнюю сторону. Да теперь, Анохина, с пионером у меня неувязка. По телевизору пионер видал, как за поимку преступника какого-то пионера ценным подарком наградили — велосипедом. Ходит ко мне пионер каждый день. Ценного подарка требует. И ждет систематически. Я уж сам хотел с получки ему какие-нибудь часы купить. Только получка с днем рождения Барановой совпала. Вспомнил я про это у прилавка — Баранову мне жалко стало. Зонтик ей купил.

— То-то, гляжу я, она под зонтиком шла и козу свою на веревке вела...

— Вообще-то, Анохина, я в библиотеке, где вы работаете, часто бываю. Все вы отлично, Анохина, моете. Но замечание вам хочу сделать: алоэ не протираете. Пыльный цветок стоит. Политый всегда, а — пыльный. Уход полноценный не обеспечиваете. А растение между тем цвести собирается. На Молуккских островах, Анохина, когда цветет, к примеру, гвоздичное дерево, то к нему, как к женщине в положении, относятся: вблизи не шумят, ночью лампу мимо не проносят, приближаться к нему нельзя в головном уборе — мужчины шапки из почтительности снимают.

Подумала я — и говорю:

— Да и у нас к растению, можно сказать, как к женщине беременной тоже относятся: больно-то внимания никакого не обращают.

— Вот потому к женщине не очень хорошо относятся, что на растениях не натренировались в обхождении. А в мифологии, между прочим, все в совокупности предусматривалось. Как миф крен дал — да на жизни человека это, глядишь, и отыгралось, Анохина. Вот какие у меня наблюдения...

— Вы уж обязательно наблюдайте. А алоэ я сегодня же в ночь и сбрызну. Мне и ума нет, спасибо, что подсказали.

— Сбрызните, Анохина. О неряшливом отношении к мифу ваша работа свидетельствует. Если не сбрызнуть.

Гляжу ему вслед — пошел через двор, узелочком помахивает, лужи обходит.

Вот вскорости после разговора этого и получила я то письмо от Лёни: долго же он его писать собирался, да просто ли о таком-то написать?

«...Я в армии в то время был. Не доехали до Покровки папа с мамой... Не только они, а все, кто ехал в рейсовом автобусе из областного центра. Я сверял потом по расписанию, они должны были ехать, как с поезда сошли, тем

автобусом, который шел на два часа раньше, и который переехал через лощину невредимым. Что их заставило задержаться, какая роковая случайность?.. Через лощину проходит теперь газопровод на запад. И тем утром произошла утечка газа, которую не сразу обнаружили. Газ стлался понизу, по лощине, от искры в моторе автобус вспыхнул. Жители рассказывают страшное — люди, пылающие люди, бежали по лощине, вместо того, чтобы выбежать из нее.Погибли почти все,— одни сразу, другие — в больнице. Я ездил за папкой и мамой в Покровку, похороны были в Москве. Был на том месте. Сначала видел эту лощину, когда проезжал через нее на попутке, потом приходил... Полоса черного мертвого леса идет на километры, все обуглилось...

Со Степаном Викторовичем мы встречались после того всего несколько раз, он заботился обо мне. В первое время. Теперь эта связь ослабла.

Год после этого работать практически не мог. Тупо передумывал один и тот же безответный вопрос: за что им это? Папе и маме — за что? И всем тем, кто ехал в том автобусе. Не могу избавиться от странной навязчивой ассоциации с мертвой обожженной лощиной — страшной силы социума. Хотя о силе этой думал и раньше, думал еще тогда, когда поразило меня твое, Катя, паническое бегство из Москвы. Ты на редкость естественный человек, сохранившийся в виде неисковерканном. При всей твоей сложной судьбе, ты — здоровый человек. Вспоминал непонятную мне поначалу острую реакцию твою на нас, столичных людей, которых социум коснулся в большей мере; боюсь, что бежала ты от этого в раздражении твоем — к жизни естественной, от того, что чуждо здоровой твоей натуре. Если бы социум можно было представить, то есть всю механистичность его, как обслуживающую человечество сферу — и не более, свести отношения механистичности социума и человека к отношениям покупателя, пришедшего в магазин и ушедшего из магазина в свой духовный мир не поврежденным душевно!.. Но социум посягает на душу человека, и в первую очередь — на душу творца, мастера-нештамповщика. Смешно усадить творцов-мастеров за конвейер, смешно! Конвейер способен погубить всякое творчество, которое всегда — интим. Оно глубоко индивидуально в основе, но социум в механистичности своей не хочет этого знать, для него нужен штампованный человек со штампованной душой — индивидуальные качества его не касаются. Вскоре после отъезда твоего у меня пошли неприятности на работе.

Некий пессимизм, которому я считал себя неподверженным, в связи с этим обнаружился. Просто пойти к Ахурову или еще к кому-то, это просто — но душа произрастает, как дерево, и какие-то участки роста ей проходить неизменно в одиночку предстоит. Не верю в то, что один богочеловек мог искупить страданием своим грехи человеческие. Потому что каждый человек в трудном росте души своей — Христос, каждый... И каждому предстоит идти к познанию своей истины через свою Голгофу. И через страдание, равное смерти, обретать ее, свою истину — иного пути, по-моему, попросту нет. Обретение истины — вот оно, воскрешение. Человек шел на Голгофу всегда,— подозреваю, что это так,— Человек-бог. Социум же утяжеляет это восхождение настолько, что мудрено не сломаться, не умереть при жизни,— сколько вижу я вокруг живых мертвецов, не дошедших до креста... Социум кладет свою руку на душу уже в раннем детстве. Ребенок по расписанию — хочет он этого или не хочет, должен ковыряться в земле, сажая цветы, по расписанию вырезать бумажные узоры. Расписание и принуждение, даже не явно выраженные, способны навсегда отвратить душу от незамысловатых, а затем и замысловатых занятий. Душа ребенка может не хотеть этого занятия в данный момент, она хочет расти не влево, а вправо, грубо говоря. Но ее остригают, как остригают дерево, под общую мерку. У социума есть свой запах — это запах казармы. Это запах казармы. Что делать со слепой его механистической силой, в которой нет места душе? Ты сделаешь научное открытие,— но распорядится этим открытием социум, распорядится в свою пользу и не спросит тебя, того ли ты хотел? Распорядится, подчинив открытие твое в пользу усиления своей механистичности. Куда деваться человеку? Как сохранить себя в социуме? Не знаю. На людей, доведенных расписанием, конвейером, роботизацией до омертвения, я смотрю с таким же чувством, как на ту самую ужасную лощину, в которой погибли папа и мама. Они погибли в этой лощине. Как я мало знаю о жизни отца — потрясающе, чудовищно мало! Ты видела его на подъеме, я же изо дня в день знал его только и только чудовищно уставшим от работы. Он не мог говорить дома о работе своей,— так он уставал от нее. Он прожил немую! Социум отнял изрядную долю его энергии, предназначенную мне, его сыну. Социум воздвиг между нами стену усталости физической и умственной: ему неплохо удается отгородить сына — от отца, дочь — от матери, ему удается ослабить, расшатать родственные связи настолько, что они

едва ли не превращаются лишь в видимость связи, не более: что он делает с человеком? Социуму удалось отгородить папу — от мамы, отгородить усталостью и добросовестной откачкой их нервно-психической энергии в свою пользу. Он качает из людей энергию, как качает ее газопровод, а когда в системе этого «газопровода» случается непредусмотренная аварийная утечка — все летит к чертовой матери из-за крошечной искры. Что же, лукавить с ним, с социумом, ловчить, изворачиваться? Как Степан Викторович? И чувствовать себя при определенной ловкости, благодаря изворотливости своей,— чувствовать себя в нем как рыба в воде? Ко всему приспосабливается человек — но таким путем? Не хочу. Так что же, чтобы сохранить в себе творца — остается один путь? Хоть на время, а бежать из него? И еще на одно я обратил внимание,— ты, инстинктивно, видимо, пошла не на завод, не к конвейеру, не на фабрику, ты пошла в библиотеку,— ты опять бежала, Катя, от механистичности его. Это твоя неиспорченная натура чурается механистичности, как нечистой силы. Приспособить социум к естественному развитию души — все равно что оседлать дьявола!..

Со Степаном Викторовичем во многом разошлись, но не хочу об этом. А умалчивать совсем о расхождении — не совсем честно перед тобой...»

...Помню только, что письмо это у почтальонши я на улице прямо взяла. А как стала читать — так и до дому не дошла, на лавочку на чужую села, ноги вроде отнялись.

Не знаю уж, сколько времени сидела, а только выходит из избы Петр Ильич, их это лавочка-то оказалась, да говорит:

— Оглохла ты, что ли, Катерина, три раза со двора с тобой поздоровался — ни ответа, ни привета. Пеленки вешал — смотрю, ты сидишь. Сноха у нас опять двойню родила,— вон, погляди, сколько их висит, пеленок-то. Знамена жизни! Это я так пеленки называю! Где увижу, как пеленки на ветру болтаются, на солнышке сушатся,— вот, говорю, знамена развеваются!

— Какие знамена?..— не пойму ничего.

Поглядел он на меня, поглядел, да и присел рядом.

— Катерина...— осторожно сам говорит.— Когда в жизни чего плохое случается, надо погодить расстраиваться, а лучше работу сменить и обстановку — также.

— Зачем?.. — к чему он ведет, в толк не возьму.

— Всякое состояние на человека свалиться может. Вот в этом состоянии не сплоховать важно,— говорит.— Вон у Свиридова, который в нашу бригаду пришел, какое

ужасное состояние сложилось! А ничего, работает, и говорит, что дурак был, что сразу-то не догадался в бригаду к нам пойти. Ему, видишь, высшее образование мешало. И до петли его чуть было оно не довело. А бросил вот — и не жалеет! Так что, про перемену обстановки, имей ты это в виду, я как бригадир всегда помочь сумею. Тем более что высшего образования у тебя нету, с тобой — проще.

Встала я, да и пошла с письмом-то. А Петр Ильич совсем забеспокоился.

— Нет. Катерина, ты сейчас не уходи,— за руку задержал и на лавочку рядом усадил.— Уйти всегда успеешь. А ты в этом состоянии прикинь, как нелегко чужая жизнь человеческая складывается, а все же человек из трудностей выходит. Ты про Свиридова послушай. В газете человек в районной работал! Доклады секретарям писал! Писал-писал — совсем они его заездили, секретари. Тихий человек, грамотный. И вот задержался он в редакции до полуночи над докладом таким — все ему против души писать надо про успехи, а душа уже этого до того не терпит, и до такого он ужасного состояния дошел, что начало только сочинил, да и озверел. Да по листу в сердцах-то крупно и записал, с нажимом наискось: «Пошел...!!!» Ну и напился в ночь. Ему доклад поутру сдавать, а он в тоску впал и домой, значит, ушел. Так вот, который с ним работал да завидовал, что не он доклады-то пишет, тот листок-то со словом злободневным секретарю и снес: почитайте! Свиридова-то за шиворот. А Свиридов видит такое дело — да им не дался!.. А в сарае у себя петельку свил. Да голову туда почти и всунул. Но хорошо, Катерина, у них коза бодучая была. Покудова он приспосабливался — табуреточку из дому принес, на ней стоял,— коза эта разбежалась и табуреточку боднула. Выбила вовремя, ни раньше и ни позже. Вот какая четкая коза оказалась. Свиридов-то и упал, коленную чашечку вдребезги расшиб. А в это время жена его вошла, Клавдия,— она мне троюродной сестрой доводилась, за родню нас мало считала, а считала, что они над нами начальники. Она же ко мне и прибежала после этого, плачет. И какая ведь, Катерина, беда! А вот как простым решением ее победить можно, беду.Чем больше начальник, тем беда ему круче кажется. А нам, к примеру, эти их беды — как раз по щиколотку будут. Так что ты в уме это держи. Вот чего я сказать тебе хотел. Захочешь прийти — так я только рад буду любую твою беду на уровне разрешить, Катерина. И случай со Свиридовым — всегда в голове держи. Хромает — а ничего! Живет! Так бригада его из беды выручила! Больше

коза, конечно... Но и бригада тоже. Так что прежде чем горю в руки даваться — погоди. Козы на месте может и не оказаться. А завод — вот он, порядок до конца в сторону речки пройти, вот тебе и выход, Катерина...

Не помню, как я до дому дошла — только помню, иду, а Петр Ильич все со мной рядом идет. Таз под мышкой держит и все это мне говорит. Так до порога моего самого и проводил.

А в ночь-то мне и приснилось...

Да как скажешь, что приснилось, когда вовсе я в ночь не спала, и слыхала, как щеколда-то стукнула. И шаги тяжелые прямиком ко мне. Да только не шаги, а сначала — смех тихий, недобрый донесся, со смешком-то этим едва слышным и приближается ко мне кто-то среди ночи, а кто — не понять; вниз лицом лежу и никак двинуться не могу. И тут смех-то надо мной и смолк. Да вдруг что-то тяжелое на лопатки мне навалилось и воздуха не стало, в глазах от ужаса помутилось. Все тяжелей, все тяжелей мне. Потом отпустило — опять смех этот, с ленцой вроде смех, недобрый, вялый, надо мной. Повернулась я — а кто-то огромный да темный тяжело ступает, уходит. И все посмеивается только. Да так и вышел. Щелкнул замок — и все: тишина стучится в самом сердце и всю меня разрывает тишина эта страшная.

Утра, думала, и не дождусь. А с самым первым автобусом к Пелагейке уехала. И хорошо еще — Пелагейке во вторую смену, посидела она полдня со мной. И я-то все больше на домового думать наладилась. А Пелагейка говорит:

— Нет, не домовой это приходил,— говорит.— А С а м,— говорит,— приходил!..

И подались мы с ней к старухе одной. К Степаниде Борисовне. Нагрела та Степанида Борисовна в половнике воск, в чашку воды налила. Над моей головой эту миску помотала-помотала — воск плеснула. А как застыла фигура восковая — тут сильно эта Степанида Борисовна поморщилась да от себя эту фигуру, прямо в сторону от себя, отвела.

— Нет,— говорит,— девонька. От сглаза еще отговорила бы, от испуга. А с этим я уж не слажу. Да и молодая была бы, если в силе-то, и то еще не знаю, взялась бы и сладила бы или нет. Зубов у меня уж нет, не отговорю. А вот погляди, кого осилить надо и с кем связываться через тебя. Вот кто тебе вышел.

Да фигуру к моим глазам и подносит. Глянула я — а

там... Голова с рожищами вполоборота, хвост вьется длинный. Стоит — на копытах-то своих.

— Видишь,— говорит.— С кем побороться-то надо и кто тебе явился? Тут много силы надо: Не знаю, кто и одолеет. А коли он повадился — тут чего-то делать надо. Не отстанет добром!

Пожила я у Пелагейки с недельку — поуспокоилась вроде. И домой вернулась — уснула хорошо в ночь. И все ничего будто. Подумала, правда, только перед ночью: может, к Анне с Кузьмичом ночевать напроситься? А как напросишься, если наособицу они живут? Постеснялась. Сиротки бы живы были — все бы мне с ними спокойней жилось: вот и их в который раз добрым словом вспомнила.

А как смеркаться начало, да темнота по земле уже разлилась — тут за окошком так тихо стало, что прямо оцепенело все. По кусту черемуховому я поняла, что это он от страха весь затих. И только я это заметила, как спина у меня похолодела: тут он. Оборачиваюсь — уже стоит, щерится. И темный свет от него. Мертвец не мертвец — а нежить; щерится, улыбается. И напротив меня к столу садится, посмеивается по-прежнему. Тут подумала я, что враждует добро со злом, и от этой вражды столько ужаса на свете:

— Хватит! — кричу.— Из-за тяжбы вашей сколько еще народу мучится?

— А вот ты,— говорит,— примирила бы меня с ним! — смеется, издевается вроде, мертвая улыбочка у него.— Может, он меня по милосердию своему и простит! Только зачем мне прощение его, если вы все — это я. Меня ведь даже и уничтожить можно! Но только одним путем: себя вам надо вместе со мной уничтожить.

— Ах ты, нежить! — говорю.— Твоя-то часть в нас — крохотная, не твое остальное-то! Не твое, рыло ты свиное!

— А и с той крохотной частью вы не управитесь, и она только в вас ото дня ко дню растет. А пока вы землю топчете, то и заметить не удосужитесь, как та крохотная часть больше вас самих стала. Мое в вас все! Давно все — мое!

Тут я в него вглядываюсь-вглядываюсь — и сквозь улыбочку-то его мертвую чего-то являться мне стало, хорошо знакомое являться стало.

— А ведь знаю,— кричу.— Знаю, в чьем обличье-то ты землю топчешь! Узнала! — кричу.— Узнала я ведь тебя! Вот ты у меня где, погибель рода человеческого! Вот! — кулак сжала, показываю.

— Ошибешься если — знаешь, что с тобой будет?

Смотри — не докажешь если, в каком обличье по земле хожу, сама знаешь, ч т о будет!..

И тут крыша поднялась, ветер ледяной засвистал. Стою — а вокруг никого и ничего, а только пепел вокруг шелестит, шевелится, а голос его в воздухе стоит над пепелищем этим в темноте сплошной — заледенел будто, да и звучит. И век ему так будто звучать:

— Знаешь ведь, ч т о будет!

Мертво вокруг — и голос мертвый, как лед, застыл. Закашлялась я, и нет никого уже, а голос-то его вдруг исподнизу откуда-то,— сильный голос низкий — вроде и тот самый, тоненький да противный, его, а только низкий этот голос сделался, густой:

— Так ведь еще придумать тебе надо, как доказать-то! Не придумаешь!!! — и хохот да визг ужасный завертелся и стал вроде под землю уходить: все глуше да глуше становится.

Я — окно настежь: с нами крестная сила! — приговариваю. На крыльцо выскочила — и не прокашляюсь никак. А за перегородкой из сеней своих Анна с Кузьмичом кричат:

— Не пожар ли у тебя, Катя? Горим вроде. Дыма у нас вонючего полны сени, и в избу прошло.

Я на крыльцо вышла, прокашливаюсь. Да сквозь кашель кричу:

— Погорели раз — все вам пожары мерещатся! Может, с полигона чего наносит. А может, и нет ничего, а кажется только нам.

Долго я потом голову ломала, как мне быть и что с этой нечистью придумать. И тут мне один раз мамонькин голос явился. Раздельно вроде мамонька сказала, каждое словечко по отдельности:

— У н е ж и т и, Катя,— с в о е г о л и ц а н е т: о н а в л и ч и н а х х о д и т!..

И неспроста этот голос-то был. Вот через чего соображать надо,— поняла я, значит, тогда. И все вспоминаю это — вот-вот вроде догадаюсь, а разгадка-то не дается. И только сумерки наступят — так опять я его чую: никакого обличья не принимает, в зрительном виде мне является, а настороженные все предметы, все-то вокруг меня топорщится, замирает и как избавления какого вроде ждет. А он, значит, меня из внимания не выпускает — так это внимание на себе и чую. Вроде холодком-холодком нежилым потянет, пахнет. Огонь в печке гудеть перестанет. А дверку открою — вдруг он взовьется, да подрагивает, будто прошел кто сейчас за моей спиной. А то вдруг

окошко сухое чистое на глазах запотеет — как испарина по стеклу пройдет. Да опять все по-прежнему сделается. Да и сам воздух-то в избе не как всегда ровный, а какие-то точки все вокруг меня завихриваются да меняются: то будто влагой погребной обовьет сырой, холодом земляным, а то как из печки в лицо от окна дохнет, воском будто раскаленным: не одна я в доме — сила в нем нехорошая около меня бродит, сторожит, не оставляет. Осень на дворе — а я все не придумаю ничего да в кругах этих живу, как опутанная.

А там в окно будто чего стукнуло. Как раз еще одно письмо от Лёни Тарутина пришло, тоненькое совсем — и письмо это тоненькое так я боюсь распечатывать! Все страшное, чему произойти, произошло уже, да тут у меня страх перед письмом да конвертом разыгрался. Оно лежит на табуретке, гляжу я на него — и не распечатываю. Как вдруг в окно-то стукнуло. У меня и сердце оборвалось — ведь сколько сил нечеловеческих надо, чтобы вытерпеть, если опять это повторится. Пелагейка входит. Сначала сумка ее хозяйственная в дверь просунулась, а потом и она сама:

— Живая, что ли? — кричит.— Не бойся, я это!

— Ты, Пелагейка, угробить меня хочешь. Сколько раз я тебя просила в окошко не соваться, а? Ты что это мои слова наладилась мимо ушей пропускать?

— Ох!.. Опять, что ль, приходил?

А я и молчу — касаться лишний раз не хочу, и лишний раз все заново переживать. Отвернулась от Пелагейки. Письмо взяла да в сердцах и не заметила, как распечатала.

«Катя! Настоящая фамилия Ольги Святославовны — Анохина!».

Быстро да крупно написано — видно, скорей Лёня черкнул да в почтовый ящик кинул; одно только это написано. А я читаю-читаю — и никаких у меня переживаний нет: «Анохина», «Анохина». Ничего до меня не доходит и мысли нет ни одной. Хотя вроде я уже это все откуда-то знаю! Что Ольга Святославовна та — Оля моя.

Пелагейка из сумки сыру достает:

— На заводе,— говорит,— сыр давали, а если кто в отпуске или в отъезде, мы на ту фамилию по очереди себе паек еще один берем. Вчера моя очередь была, взяла я тебе.

— Хорошо,— говорю.— Сама-то после смены, поди, и поесть не успела. Собирай на стол, Пелагейка.

— Вот, на пенсию хочу. А меня не отпускают, еще поработать в профкоме просили! — Пелагейка хвалится.

— Смотри, а то бы отдыхала...— говорю, а будто не я говорю, а кто другой за меня.

— Что мне отдыхать? Я на работе только и развеиваюсь среди людей! Костечку поддержу... Не любишь ты его, Катерина, а зря, как ведь правильно все Костечка рассудил, что в профтехучилище в Ленинград поехал, окончил. Да уж в Ленинграде слесарем работает, а не в этой дыре!

— Правильно,— говорю.— Ему из-под твоих глаз уйти надо было на жизнь вольную, да и выгоду вроде понимает свою, если не избалуется. Он у тебя еще когда понимал, как жить-то надо! Все тебя учил. Не забыла? Вон приехала к тебе три года назад, а он с улицы пришел, нагулялся. Я ему: ты чего не в школе? А он: «Я справку у врача взял». Врачу нажалуется, справку возьмет да баклуши бьет. Предусмотрительный какой. К нему ведь и не подкопаешься. Тогда еще я подивилась!

— Вот ты, Катерина, все сердито про него говоришь!

— А за что мне его любить? Он много чего хорошего тебе сделал? Чего ты от него кроме обиды видала? Пелагея... Ольга нашлась...

— Какая Ольга? Это сестра-то, что ли? — своим ушам Пелагея не верит.— Батюшки!

— Оля нашлась,— твержу.— Оля.

Да тут вроде во мне кто все и оборвал. Так больно стало... И вот ведь как я заплакала! По мертвым только так и плачут. Во весь голос да навзрыд. Будто сердце у меня бухло-бухло — да и лопнуло, и ясно самой, что не выжить от этого — так всю в слезах да в крике меня и разбросало по сторонам, и цельной меня уже нету, и никогда не будет. Весь организм как есть враз и разорвало.

Сутки Пелагейка возле меня сидела. И сама бы я не догадалась в отключке-то своей, а она, Пелагейка, на почту сбегала и телеграмму дала: «Оля, приезжайте быстрее, сестра твоя Катя». А как Пелагейке уходить — разносчик-парнишка пришел, телеграмму принес. «Из Москвы»,— говорит. Я Пелагейке мотнула, чтобы расписалась да телеграмму бы взяла: «Осенние каникулы будем Сашей обязательно Оля»

— Нечего теперь разлеживаться тебе! — Пелагейка говорит.— А вот себя да избу, девка, подготовляй к гостям! Скоро приедут. Теперь у тебя задача есть, и ты озадаченная, Катерина, теперь.

Не узнаю прямо я Пелагейку,— ходит, как солдат, вся собранная да решительная, и мной командует.

— И правда, Пелагейка,— говорю.— Вот силы скоро

придут, я уж это чувствую. Вот-вот — и встану. Какое уж там лежать — собирать себя надо.

...И такой ноябрь в тот год выдался ясный! Уже и холода ударили, и снежок было лег, а к шестому ноября прибился весь, только земля звонкая да мерзлая под ногами, как железная, гудит. А солнышко уж до того тихонько да бережно так светит — бледненькое, а все золотит. И каждый день я в окошко выглядываю, встаю ни свет ни заря, все парнишку жду, который телеграммы разносит, чтобы Олю с племянницей встречать. Только нету никакой телеграммы, и сто раз я успела подумать, что, поди, потерял ее парнишка ненароком: нет бы на должность такую ответственную постарше кого поставить! Уж и на демонстрацию не ходила, все-то парнишку прокараулить боюсь. Только просыпаюсь утром — батюшки, восьмое число уже! Это чего-то у них сорвалось, либо случилось чего, не иначе! И с утра то за сумку хозяйственную схвачусь, вроде за хлебом бежать соберусь, а загляну в хлебницу — есть еще хлеб со вчерашнего дня. То ведро пустое схвачу — к колонке выйти, да назад поставлю: два ведра воды на лавке стоят, чего же, обязательно, что ли, чтобы и третье полное было? Да вспомнила: хватаюсь за то да за другое, а сама и умыться забыла. К умывальнику-то подошла — постояла без дела, да так, не умывшись, опять за ведро схватилась, выскочила. Дверь, ясное дело, открытой оставила, чтобы парнишка — если что — не на улице дожидался с телеграммой-то. Выскочила — а голову мне так холодом и обдало, за платком вернуться надо. Только стою я с пустым-то ведром на крыльце — а во дворе у меня две женщины стоят. И одна, постарше-то которая, к плечу молоденькой прислонилась, а та ее по спине гладит. Обе в шапчонках самовязаных из магазинной шерсти крашеной,— старенькие шапчонки. Да и пальтишки поношенные. Сумка раздутая, правда, рядом с ними на земле стоит. Как меня им навстречу ноги понесли — не знаю. И до последней минуты сомненье у меня, до последнего шага — не чужие ли кто. И вот вижу уже лицо Олино — а кажется мне, что мамонька это стоит живая, она! И «Оля» я и вымолвить не могу, так бы «мама!» и закричала. А она будто со страхом на меня глядит да сильней все к молоденькой прижимается.

Заплакала я, рук протянуть не могу. Ведро только выпало, покатилось, грохочет... А я плачу, поделать с собой ничего не могу. Тут и Оля вроде отстраняться от Сашеньки начала, ко мне двинулась. И шапчонкой своей сразу в подбородок мне уткнулась.

Собрала я себя.

— В дом идемте,— тихонько что-то зову, погромче и сказать боюсь.— Саша, в дом идемте...

И они обе молчком пошли впереди меня, и походки у обеих — одинаковые.

— Худая ты, Оля, какая. Одни глаза остались...

— Я все время такая, и до операции худая была. Маму помнишь? Мама такая же была... У меня из детства мало чего в памяти осталось. И папа, и ты маленькая — вы в памяти расплываетесь, а мама только.

. . . .

— Я, Катя, не думала, что выживу. Операцию последнюю в клинике научно-исследовательской делали, к хорошему профессору я попала. Ты на меня с такой тревогой не гляди,— позади все, выкарабкалась.

. . . .

— Как я тебя искала!.. Куда же ты пропала из детдома? Как я тебя искала!..

— На вокзале потерялась, когда эвакуировали нас. В эшелон уже села. А когда нас на вокзале минут двадцать держали, поставила я свою сумку на скамейку какую-то, думала, ее схватила... В вагоне увидела, что не свою в руках держу, чужую чью-то. У меня сердце зашлось оттого, что воровка я. К выходу вагонному пробилась, мимо проводника скользнула, мимо ног, побежала эту сумку на ту лавочку положить, откуда взяла. А на вокзале заметалась — то ли та лавка, то ли не та: на той лавке моя сумка должна лежать... А как почуяла, что много времени я бегаю, кинула сумку чужую в уголок на скамейку первую попавшуюся, до путей добежала — нашего эшелона уже нет... Но я все время бойкая девочка была: другая бы так днями по вокзалу голодная слонялась, от отчаяния пропасть там просто было... А я поплакала немножко и на телеграф зашагала. Уцепилась за женщину-телеграфистку, которая из телеграфа выходила: «Тетенька, я от эшелона отстала, вы дайте телеграмму, чего мне делать. Бесплатную телеграмму в наш поезд, а то меня там ищут, а я здесь. Куда эшелон эвакуированных повез?» —«Не знаю куда. На юг повез». Она меня за руку — и к начальнику вокзала. А тому не до нас... В телеграфе она меня посадила рядом с собой: «Погоди, еще раз сходим, чего с тобой делать, решим». Я сижу: куда-нибудь определят меня... Под вечер телеграфистка, Лидия Павловна ее звали, меня к себе домой повела. А у нее девочка Лидочка, восьми лет, одна дома под замком сидит. Про-

стуженная девочка, кашляла... А я постарше — Лидия Павловна попросила меня за девочкой присмотреть, пока она на работе все выяснит. Я там и прижилась, у Кораблевых... Муж ее, Лидии Павловны, в сорок втором году уж отвоевался — из госпиталя комиссовали. Контуженный пришел, а лицо... Страшное лицо у него, пороховым ожогом изуродованное. Помню, как ладонью прикрываться старался, особенно когда входит. А души редкой человек... Кораблевы меня удочерили.

. . . .

— Саша, погуляй ступай... Я, Катя, видела человека... На похоронах у Тарутиных. Лёня объяснил потом, что это твой муж...

— Муж? Мой?...

. . . .

— Вот и у нас тоже не сложилось... Лидочка выучилась, по распределению в Оренбургскую область она уехала, там вышла замуж за немца русского. Святослав Николаевич — слышать о ней он уже не мог, только я у него... дочь считалась... Из-за этого с Лидой у нас отношения натянутые. «Ты у меня отца отняла»,— так она однажды и сказала. А я-то, Катя, что? В чем я виновата?.. Святослав Николаевич попивал в последнее время. Начнет шагать да петь: «С фашистской силой темною, с проклятою ордой, пусть ярость благородная!..» А слуха нет — так все это на вой и переходило; мучился. «Любая бы другая, говорит, вышла — понял бы, а она — не видит разве она, что они со мной сделали? Что же у нее, жалости ко мне не хватило, что никакого другого в мужья не выбрала, а его именно?» Тут и я замужем была уже, тяжело жили, чего говорить... Не нравилась эта суматоха Сашиному отцу. А как бы я Святослава Николаевича оставила, если вырастил он меня? Знала, что кем-то одним пожертвовать надо. Да там еще свекровь... Ей и я не нравилась: детдомовская, без роду, без племени, хозяйка плохая, не выучена толком хозяйство вести... Все, в общем, одно к одному, ну и... Только ведь у меня уже Саша была, а с Сашей ничего не страшно это. Вот, вдвоем и живем.

. . . .

— На Сашу я поглядываю; задумывается она сильно. Вот будто обе наши судьбы одна прожила, как посмотришь-то на нее.

— Катя, она от вдумывания с ума сойдет. Ты ее картины еще не видала, как она Нелли по Достоевскому написала — Нелли выбрала, не кого-нибудь. Почти летящая девочка такая, с большим лбом,— и кривой, руша-

щийся мир. Эту работу хорошо оценили в училище. А ей все изобразить как-то особенно хочется в живописи слова матери, Нелли сказанные. «Не ходи к ним!», завет этот ее, наказ,— не ходить туда, где богатство, где благополучие, где огни, где тройки подъезжают, где жизнь — вечный бал. Страшный этот запрет. «Не ходи к ним!» ей изобразить хочется, а не что-нибудь... Вот видишь, чего в тетради пишет? Я и ожидала что-нибудь подобное...

— Что же ты не читаешь? Читай, не молчи!

— «Смятение праведных». Вариации на тему.

«...Словам дано зазубривать мечи.
Что ты изрек? На что ты разменял их?
Ты не зажег ни мысли, ни свечи.
Среди менял ты сам ходил в менялах...
...В саду миров себя мы только видим,
В миру зеркал не стать собой самим.
Ты так любил — что был ты ненавидим.
Был, не любя, из жалости любим...
...Из капель слов вскипает океан,
Который нас в безумье повергает.
Лишь робкий ум пространства ослепляют:
Тебе дан путь — предел тебе не дан»

. . . .

— А почему ты, Оля, про Степана Викторовича сказала... что он тем занимается, что сам себя разрушает? А не сохраняет вовсе?

— Мы с Лёней много на его счет говорили, так я только со слов... У меня свои кое-какие наблюдения над жизнью есть. Не знаю, Катя, как бы яснее-то сказать... Есть у нас в школе преподавательница английского, жена офицера, обеспеченная дамочка. И любовник у нее — из наших, из преподавателей же. Они секрета из своих отношений особого не делают... Каждый год она его с собою берет на 23 февраля в магазины. Чтобы он ей помог мужу подарок получше выбрать. Такие факты мне о многом говорят. Я на эту дамочку ни в чем полагаться не могу, да и никто у нас!.. Кто с нею ни соприкоснется — все недоразумения возникают всякие. И подведет, и сподличает, и выкрутится. Я почему сказала, что этот факт о многом мне говорит,— фундаментальные, основополагающие этические принципы они в себе разрушили, и многим этическим нормам уже не на чем держаться, сыплется в них все. Это в принципе неверные, нечистые люди. В душе у них разрушено многое. Жалкие они в конечном итоге с разрушениями своими, не цельные, и... несильные. Это не путь сильных личностей, как бы громко и красиво

они о себе ни заявляли. Невосстановимые это разрушения. Так вот о Степане Викторовиче тем более у меня такое представление: он ведь после смерти Тарутиных за Лёню было взялся,— хорошо, что у Лёни сама органика такова, что привиться на ней этот сладкий яд саморазрушения не может. А вообще — тленом от всего этого попахивает... Благое ведь работает на жизнь, дурное — на смерть, на небытие. С виду-то кажется, что ярче они живут,— а это не яркость: это маски раскрашенные, за которыми самораспад идет. Жалко их. И ведь помочь трудно: выбор-то ими сделан. Это — как душу дьяволу продать. Я так не думаю, что есть рай, ад... Я думаю, божье это то, что на жизнь запрограммировано, а дьяволово — то, что на разрушение жизни.

— Ох, чего я вспомнила, Оля. Ты-то не помнишь, наверно, а мама говорила как... «У нежити своего лица нет, она в личинах ходит». Жалко, вот не помнишь ты, наверно... Это ведь про б е с о в она так говорила...

— Нет, не помню. Я говорила тебе, чего я из детства нашего помню. Не помню, Катя... А, вот еще в памяти чего держится, забыла я сказать тебе — вот запомнила ты, какой рисунок дедушка-ложечник на черенке делал? Нет? А я эти ложки его во сне вижу. Нигде потом таких ложек деревянных не встречала — всегда гладкие черенки. А у него под самой вершинкой ягодки маленькие красные — будто смородинки кисточка поверху черенок обвивает...

. . . .

— Самое первое ты что там в тетрадке-то прочитала? В Сашиной?

— Словам дано зазубривать мечи.
Что ты изрек? На что ты разменял их?
Ты не зажег ни искры, ни свечи,
Среди менял ты сам ходил в менялах...

. . . .

— Оля!.. А есть ли другой мир невидимый, которому такое открыто, что до нас не доходит?..

— Это ты про миры иных измерений говоришь. Строго научных данных, подтверждающих существование иных миров в нашем мире, у нас, Катя, нет. Как, впрочем, нет никаких данных строго научных обратное утверждать и с полным основанием опровергать, что сейчас сквозь нас не мчится поезд мира иного измерения. Я тебе только так могу сказать...

. . . .

Катя, про что это ты все думаешь?

— ...Через блюдце-то кого вызывают? Мертвецов, тех, кто умер. Н е ж и т ь, значит, вызывают. А если человек живой только живым человеком прикидывается, если только маска у него такая — живого человека, а сам он — нежить, и в обличье его дьявол сам на свете барствует, то если его как вроде мертвеца вызвать через блюдце — никуда он не сможет деться, явится! Живой — не явится, если он на самом деле живой. А нежити — некуда деваться! Некуда деваться будет! Явится! Вот и доказательство тут мое будет, и моя над ним победа будет. Только вот как же сеанс-то этот соорудить? А? Духов-то из ихнего измерения тоже, поди, вызывать умеючи надо? А я ведь до того в это во все никогда не верила, что и не знаю, с какого конца к сеансу-то приступают... Да неужели же получится чего-нибудь у меня? Прямо вот переживаю, Оля...

«Уважаемый товарищ участковый милиционер! Поскольку я сегодня, ввиду вашей молодости и неопытности, наговорила вам неправильно, и поскольку известная вам раньше, чем я, Екатерина Анохина все равно собирается сообщить правду, то я тоже решила написать всю правду и вам ее принести. А из того, что вам сказала, действительно будет то, что Анна с Кузьмичом, это соседи Анохиной Екатерины, жалобу все же зря на Анохину высказали в частной вам беседе.

Как Анна вам выразилась и нажаловалась, у нее, у Анны, значит, от серного газа разыгрываются мигрени и голова болит. У меня у самой часто голова болит, так что я про это знаю, как это бывает: я всю жизнь живу без мужа. А Анна всю жизнь замужем за Кузьмичом, так что голова у нее вовсе не должна болеть, и про болезнь свою головную она все навыдумывала. А про ядовитые газы, которые будто бы Анохина Екатерина на ихнюю половину напускала, мы им объясняли, что если бы это было опасно, то мы бы с Анохиной угорели до смерти в первую очередь, а Анна со своим Кузьмичом — во вторую. А если нам с Анохиной ничего, и мы обе оклемались, то Анне с Кузьмичом и тем более еще лучше, чем нам.

А что я вам неправильно наговорила и все отрицала, пока не узнала сегодня, что все равно Екатерина Анохина вам правду пишет, то вы сами виноваты, потому что меня торопили, а рассуждать не давали. Вы, по вашей молодости, не учитываете, что человек, если его впопыхах спрашивать и все время погонять, начинает пугаться и говорить скорее, чем надо,— что ему в голову только взбредет,

то и говорит. И потом сам удивляется, что он совсем не то говорит, что есть. Я понимаю, что вам, по вашей неопытности, на нас терпенья не хватает, и вам охота лучше бы послушать не про нашу жизнь, хотя вы и делаете другой вид, а про бандитов,— у вас бы тогда внимания больше было, поскольку, наверно, вас на бандитов в основном при учебе натаскивали, а не на нас. Ну — мы уж в этом не виноваты.

Екатерина Анохина вам лучше, конечно, напишет, чем я,— она до седых волос книжки читает и забывает у себя топить, а лежит в валенках на койке целый день, только под валенки газету стелет, и целый день Льва Толстого по десятому кругу наизусть зубрит. А еще Екатерина Анохина всю жизнь любила дружбу водить с такими, которые сами чего-нибудь пишут и сильно насчет жизни задумываются. Вот она от них этому и научилась — задумываться на каждом шагу. А того Екатерина Анохина не понимала, что если бы меньше задумывалась, а больше бы жила бабьим интересом, то, может, семью, как ячейку, сберегла бы лучше. Я ей внушала. И я бы на ее месте так не делала. Если бы мне бабье счастье так в руки шло, как ей, то я бы к этому счастью интереса бы, так как она, не потеряла бы. Всех нас война насчет семейной личной жизни обездолила, так Екатерина Анохина в расчет этого никогда не брала, а сама себя еще обездолила хуже любой атомной войны. Потому что задумываться сильно любила. И вот в последний раз, когда она, Екатерина Анохина, так же сильно задумалась, то пришла ко мне со своими мыслями насчет того, чтобы блюдце крутить. Спросила меня про это, а тайную думу свою при этом мне не выдала, при себе ее держала и мне толком ничего не сказала — про блюдце только спрашивала.

Я ей все как есть про это блюдце обсказала. Мы блюдце, бывало, крутили у Самариных — Самарина Лидия, ее дочь замужняя — Идка, и я. Но я лично видала, как Лидия, а в особенности ее дочь замужняя Идка, это блюдце сильно пальцами толкали на буквы, на которые хотели. Так что получалось иногда малоцензурно. И только один раз, когда мы как-то при свечке в большой комнате у Самариных гадали и Лидия в третий раз спросила: «Дух Владимира Владимировича Маяковского, ты здесь?»,— и мы этот дух ждали и не шевелились, то сзади нас загробный голос сказал: «Я — здесь».

И Идка заорала дурниной, а мы вскочили. И фигура белая в дверях стояла. А потом в туалет убежала и

закрылась. Мы дверь долго дергали, как в себя пришли. А потом оттуда выскочил Самарин Николай с простынкой в руках и над нами стал жестоко смеяться, потому что он незаметно пришел с партийного собрания, и из коридора подглядел. А потом сходил в спальню и там простынкой накрылся. Все это, как есть, Екатерине Анохиной я рассказала, и она говорила сначала, что Самарины для этого дела не годятся, а ей нужны люди серьезные и знающие. И я подумала и опять ей сказала, что, может, нам снова надо сходить к Степаниде Борисовне, поскольку она — специалист получше будет, чем Самарины. И Екатерина Анохина стала это дело поощрять и всячески мне говорить: «Наверно, это правильно будет, Пелагейка».

К Степаниде Борисовне мы сходили. Но Степанида Борисовна нас с этим делом выгнала — она сильно рассердилась на нас и говорила, что даже подумать об этом великий грех, а не только кручением этим заниматься. И что занимаются этим — кудесники и волхвы, а не христиане, значит. А обиделась она на нас и на дверь нам стала указывать, потому что она все делает со святой молитвой, а мы вроде, напротив, на темное дело решили ее сагитировать. А ей от агитации нашей сделалось обидно. И она икать сильно стала. И мы бросили ей все объяснять и скорей ушли.

Но Анохина Екатерина своих мыслей тайных не оставила и объяснила мне все как есть и издалека: как, значит, она все это надумала. Хотя я это не во всей подробности вам пишу, а только одну часть, если, конечно, дальше не разойдусь.

Как вам известно, после заключения своего Анохина Екатерина не сразу домой вернулась к своему мужу, можно сказать, а моталась по тайге с одним ученым человеком лет пятнадцать поди, а то и больше. А еще, когда ее в Дом отдыха занесло работать, этот ученый человек всякими байками ее приманил. Екатерина Анохина сроду на всякие сказочки такая падкая была, что ничего, кроме этого, ей в жизни не надо. Ученый человек тот, сама она говорила,— глянуть не на что. А байка его была такая, чтобы думать изо всей силы про всякого человека хорошее только и только хорошее в нем видеть, и он от этого вроде и сам хороший станет на самом деле: и сам не заметит — как уж он хороший стал. Да еще сказку-то эту не сам сочинил, а от кого-то перенял. Я бы лично, как Екатерина Анохина, на эту бы сказку — не купилась, и Екатерине Анохиной я говорила: зря ты ему верила, потому что это смех. Это ведь представить: ворюга тебе, скажем, в карман лезет,

а ты, вместо того чтобы «караул» кричать или убежать как можно дальше, стоишь и веришь, что он тебя не оберет. Любой ворюга, конечно, такому человеку сильно рад будет, и нахальство всякое, если ему не сопротивляться, а поддаваться только, сильно процветет махровым цветом. Анохина же Екатерина сказала мне, что это верно при низком уровне развития, а у нас он — высокий, а если чего и не сработает эта ихняя система, то к этому надо спокойно относиться, потому что процесс этот очень долгий, не на одно, может, поколение. А нам сразу скороспелый результат давай — так из-за такой нашей нетерпежки много бед на земле происходит человеческих, что терпенья не хватает на долгий путь: всем результат вынь да положь тут же — от этого, мол, перекосы да пережимы. Но это еще, можно сказать, не сама сказка была, а только присказка. А основная сказка этого человека ученого вот какая: вот возьмем человека какого-нибудь. Так этот гражданин должен забыть, что он на земле временно проживает. А понимать себя должен так, будто он всегда жил и всегда будет жить. А без этого понимания любой на земле — себя по-разбойничьи в жизни ведет: дальше все равно сгниет. Так что́ еще тот человек ученый учудил, и на что Екатерина Анохина купилась: такой, значит, гражданин должен на себя навешать все преступленья человеческие, какие только были, вроде он лично в них во всех виноват,— и жить уж только так, чтобы эту свою вину историческую, безразмерную искупать делом и на жизнь свою смотреть как на возможность хоть маленько чего-то на земле исправить. Вот так в точности мне Анохина обсказала. Я лично это так поняла, что каждый гражданин с таким своим пониманием вроде как сам себя добровольно должен на пожизненную каторгу сослать и работать, как ломовая лошадь, на все человечество. Пахать, в общем, сколько сил есть. И только работать — на доброе, а если недоброе от тебя что требуют — не делать. Никто, мол, тогда с нами не сладит и с нами не совладает, если мы неразумное не выполняем! Вот через это они получаются как вроде хозяева жизни сами, а не по приказу неразумному исполнители. Я опять на это так говорила: Екатерина! Это вам хорошо было в тайге воропятить, чего на ум взбредет,— а у нас, не в тайге, жизнь другая, и никто тебя не спросит, чего разумное для тебя, а чего нет. И если каждый сильно много о себе понимать начнет и сам собой распоряжаться — то или порядку никакого не будет, или любой начальник скажет: вот бог — а вот порог. Такие люди-граждане нигде не нужны. Вспомнила... «Теория

искупления» это у них называлось: мол, так много люди злодейского и плохого наворочали, что каждый жизнь должен на то положить, чтобы только за все человечество это навороченное разгребать и через то мир спасать, а то он вот-вот рухнет, и другой дорожки ни для кого нет. Вот какая теория, и вот на что Екатерина Анохина в основном купилась. И весь народ в отряде у них так подбирался, что все как один с таким же, выходит, приветом были, как Анохина, а то и еще почище. В городах их бы живо всех разогнали, а там, в тайге — и ничего, сходил им этот номер, и, как работники сильно старательные, они еще там и в чести были. Хотя, как она сама рассказывала, с одной стороны — не всегда они с начальством ладили по своему этому выдуманному гонору, а с другой стороны — и сами уж не такие серьезные люди были, как себе и Анохиной все время представлялись. Потому что серьезные люди — окурков чужих не подбирают, я так думаю.

А они там, в тайге-то, до того дохозяйничались, что с ними уже и сладу не стало: чего подписывать надо — они не подписывают, а напишут в документах то, чего от них не просят. Ни на кого не смотрят, никто им не указ, такие, значит, сильно ученые. Так развинтились, в общем, что к ним на вертолете бабу крашеную спустили. Чтобы она их урезонила. Баба эта, начальница, от вертолета сильно решительная шла, и беломорину заранее курила, чтобы с ними расправляться. А у этих граждан-то, которые только в хорошее в человеке верят да работой своей все грехи исправляют, все курево к тому времени вышло. И курить им так сильно охота, что и про теорию искупительную они, поди-ко, забыли. Вот начальник отряда да геолог этот, ученый анохинский, посадили эту бабу из управления в палатку и давай ее обрабатывать насчет того, какая она разумная и хорошая и почему она от них все неразумное требует, когда по замечательности своей должна требовать совсем другое и полностью на их стороне пожизненно должна быть. Баба крашеная такого оборота не ожидала и сильно тут заволновалась над документами — в такой переплет ее забрали. И курить папироски «Беломор» стала уже одну за другой: закурит-закурит — и от волнения, значит, большого из палатки выбросит. А там опять закурит. А все эти граждане сознательные вдоль палатки на четвереньках да на корточках караулят: как она беломорину швырнет — они к окурку тайно подползут — и цоп! Да по кругу и пустят, докуривают. Баба там пуще расходится, а они и рады — окурки эти чуть не на лету

втихомолку ловят. Не больно это мне солидно показалось. А Екатерине Анохиной — будто так и надо, она мне как рассказывала, так ничего в этом плохого не видела. А по-моему, серьезные люди ученые никогда на четвереньках стоять не будут.

А еще я Екатерине Анохиной говорила: если они задумали там в тайге все человечество в свою веру обратить и все человечество от развала спасать, так этими своими верами они все равно ничего нового не сочинят, потому что все уже давно сочинено. Это «не убий, не укради, не лжесвидетельствуй...» и получится. И нового здесь ничего не выдумаешь. А они себя тем тешат, что не так живут, как все, а по-особенному: вроде до них ничего такого не было и все раньше дураки жили и до этого не додумывались, а они — додумались, и рады до смерти. И я над Екатериной Анохиной поэтому про себя смеялась и серьезно не относилась, хотя Екатерина Анохина все это близко к сердцу брала и переживала недуром. А этот ее ученый, хотя она и не говорит, что между ними что-то было, но я так думаю — что было, этот ученый с чего свою «теорию искупления» придумал — так, поди, на отца-прокурора насмотрелся на своего — вот и придумал. Экая же ведь мука ему была при таком отце жить и с детства слушать, как народ обвиняют и как народ врагом народа, выходит, обзывают то и дело. Тяжело, конечно. И не будь двадцатого съезда, я бы этого не сказала, а теперь уж все равно, хоть и осторожно, а намекнуть разрешается. Только ученый этот тоже хорош гусь, нечего сказать: из-за того, что у него самого по отцовской линии нутро жжет и он за отца виноватится, так он придумал, чтобы весь народ это его жжение перенял и тоже бы этим, а заодно и всем другим, что человечество натворило, вместе с ним бы мучился и за это бы расплачивался. Вот у него у самого откуда это пошло. Я так лично думаю. А Екатерине Анохиной этого не говорю, чтобы она не задергалась ненароком. Хотя она, может, это тоже в расчет про себя берет. Только ей этот человек так дорог, хотя она и не говорит, что между ними что-то было, так уж дорог — что лучше мне, конечно, помалкивать насчет него. Так почему я думаю, что через столько лет после его смерти, этого ученого человека-геолога, Екатерина Анохина к верчению блюдца склонилась? Потому что в голове этого человека она держала и про смерть его всегда помнила. А смерть эта была как смерть — нелегко, конечно, пятнадцать с лишним лет с человеком по тайге ходить-работать, а потом его похоронить,— но Екатерина Анохина так эту смерть

для себя все время представляла, что только она сама и знает, чего ей в этой смерти сильно важное показалось. А что показалось — то уж точно: она мне про это много раз рассказывала, и каждый раз я видала, что совсем она при этом не в себе, хотя он и умер от запущенного туберкулеза, потому что перед смертным часом задолго кровью харкал и думал, что сезон дотерпит, а сезон уже к концу подходил, и он под конец в лежку лежал, хотя и не верил, что умрет. И то, что он ей в бреду говорил, а она не понимала и так с ним разговаривала, как будто это не бред, а самый настоящий разговор,— все эти слова она за чистую копеечку приняла и потом годами над словами этими кумекала сама с собой. Ему же, ученому этому, померещилось перед смертью, что из-под земли этой таежной все погибшие да осужденные встают и к нему, значит, идут, и он сам к ним пошел, в тайгу, да и упал, это пока Катерина народ будила среди ночи. Так Катерина что не в себе была, когда это рассказывала? Утром она не поленилась, а пошла на то самое место, где этого человека упавшего подобрали, а дальше как глянула, за деревья-то двинулась — а там следы. Земля вроде вытоптанная. Вот она и взяла себе в голову, что не мерещилось ему это, а на самом деле могло быть и сообщенье с тем светом тогда тоже должно быть. «Ничто не гаснет»,— так она любит считать, а кто ей это внушил — не знаю, не спрашивала, но кто-нибудь из ихних же людей. Я так думаю. И когда я обо всем этом догадалась, то правильно догадалась, и не знала только того, что Катерина от этой задумки еще дальше ужасно пошла! И что через тот свет — не тот свет нужен ей был, а — этот. Вот ведь чего она выверять-то решила, и свои мысли на чем проверять. А отчаялась она на это после того, как нечистый ей являться стал. Так что другого выхода вроде у нее не было, как чего-то и себе, и нечистому через то самое доказать. Анне с Кузьмичом толком объяснить это нельзя, хотя мы и начинали, а вам уж приходится, потому что вы, хоть и торопитесь, а сами настаиваете. Ну вот и читайте. А остальное я на словах вам уже все как есть обсказала, чего у нас из этого получилось, и ни словечка не прибавила, хотя вы и не поверили. И заново про то еще письменно записывать, я думаю, что не надо. Хотя если вы еще больше настаивать будете, то в таком случае тоже напишу. Но только зря вы с нами по молодости связались, потому что я у юриста узнавала, что таких статей — нету, и никакого навару у вас с этого дела,

кроме хлопот, не будет. Так что лучше бы вы плюнули. С уважением — Пелагея Гордеева».

Напугала я Ольгу своими разговорами. С опаской она на меня посматривать стала — вроде как на больную. И поняла я, что разговоры эти мне лучше прекращать, а все в тайне только содержать надо. Ну и замолчала я. Кровь одна — а жизнь разная нами прожита, никуда этого не денешь. Уехали они — а слова-то все в ушах звучат, все-то я их заново переслушиваю, да и думаю: не приснилось ли мне это? А все равно уже полегче вздохнулось.

Как Ольга-то с Сашей у меня побывали — так ровно сам воздух, и тот в моих комнатушках сменился. Никаких вихрей вокруг меня не ходит, никто мне не является. И сначала все же напряженье у меня кое-какое было — а вдруг он опять заявится? А только зима совсем тихо идет. И еще с одной стороны поспокойней мне стало — Кузьмич собаку завел. И собаку свою Кузьмичом назвал. Крикнешь ему через забор, позовешь чего-нибудь:

— Кузьмич! — оба бегут: и он, и собака сломя голову летит.

Не сильно злая собака, не строгая, а все же кто-то нас сторожит и во дворе охраняет.

Я еще потом себя ругала: чего это сколько лет я собаку завести не догадывалась? Как ведь с ней спокойно на душе.

Ни Кузьмич, ни Анна ко мне не заходят, и меня к себе не зовут, а встретимся — по-соседски хорошо разговариваем. Все их привычки я знаю, ну и они мои — тоже. Вот как завижу, что Кузьмич из сарая большие резиновые сапоги в дом несет — в паутине сапоги, пыльные,— так знаю, что лампочка у них перегорела, и Кузьмич, значит, лампочку вкручивать в сапогах полезет, потому что боится, что без резиновой обуви его током стукнет. С Анной встретимся — тоже какой-никакой разговор затеем. Она меня все агитировала с ней вместе в парикмахерскую сходить, завивку сделать.

— Старуха я, никакой мне завивки не надо! — говорю.

А то в ум не беру, что Анна — старше меня. Вот Анна полгода на меня в обиде ходит и сама в парикмахерскую идти не осмеливается. Только встречаю я ее один раз — выходит через калитку, нарядная, в новом пальто и в шали пуховой, перед Новым годом, значит. А на ногах — те самые Кузьмичовы сапоги, из сарая которые, надеты.

— Это куда ты, Анна, так вырядилась?

— Я все-таки завивку себе сделаю,— говорит.— Ты как хочешь, а я себе сделаю. Только она к току подключается, так вот, чтобы током не убило, я Кузьмичовы сапоги надела, и теперь меня электричеством не прошибет. Если надумаешь, стукни в дверь, ладно уж, я тебе тоже сапоги вынесу, до парикмахерской дойти,— говорит.— А то мало ли что? Вдруг у них там на бигудях замыкание приключится?

За сапогами, значит, зовет,— а в избу все равно не приглашает. Ну бог с ними, я тоже не из навязчивых.

И вот, значит, письма мы с Олей друг дружке потихоньку пишем, Саша за Лёню Тарутина вроде замуж собралась. Ни про какую свадьбу не сообщают, а только что Саша уже у Тарутиных, у Лёни живет. Ну чего же — дело молодое, как хотят. Это если кто другой бы был, не Лёня, тогда бы и переживанье за Сашу было, а тут ни Ольга, ни я сильно не тревожимся, и насчет свадьбы никакого беспокойства у нас нету. Только вот нехорошо, что в год високосный они сошлись... Год-то нехороший наступил.

И вот, на святки уже, средь бела дня, вычистила я золу из печки да одеваться стала, чтобы золу вынести. Только к двери-то повернулась — как вдруг вроде парализовало меня. Испугалась я за себя, не пойму, что такое,— по позвоночнику прямо так меня и сковало. И в глазах враз потемнело. И слышу — голос за спиной, как из погреба ровно голос, и не звучит он — а я его слышу:

— Вышло твое время!..

Я силы-то собрала да дверь и толкнула. Снежок мелкий на улице вьется. Кузьмич на крыльцо свое с коробкой огромной картонной лезет, а сам расстроенный.

— Вот,— говорит.— Нету у меня на этом свете понимающей души, и что на сердце накипит — ничего этого Анна понимать не хочет, только с собакой душу и отвожу. Собака не прекословит, и понимает все, Кузьмич-то мой. А только слова живого разумного от нее не дождешься. А Анну мою слушать никакой мочи у меня больше нет, так я приемник купил, «Ригонду». Перед собакой выговорюсь, а слова разумные мне приемник теперь скажет,— коробку на крыльцо поставил.— Поверишь, нет,— говорит,— Катерина, всю избу Анна своими словами глупыми забила, никакого житья мне нету, хоть разводись на старости лет.

Поругались, видно, только что. И рада я его слушать, потому что назад, в избу, идти боюсь. А Кузьмич свое толкует.

— Кузьмича-то,— говорит, у нас нынче поутру чуть

не пристрелили. Слыхала, что ли, какой шум во дворе был? Я его теперь на цепь посадил, потому что на подводе ездят и собак отстреливают. Я участковому на собачников жалобу написал, отнес, а он жалобу не принял. Я чего в жалобе-то написал? Что кошек бездомных полно развелось, и кошек надо отстреливать, а собака человеку в отличие от кошки — друг. Тогда как кошка — не друг. А участковый мне и говорит: «Вот ты, Кузьмич, насчет кошек не прав. Потому как в древней стране Египет приписывалась кошкам магическая сила таинственная, Кузьмич. И они там у египетских народов считаются совершенно неприкосновенными животными. На этом основании я твой документ про отстрел кошек тебе возвращаю...» Я думаю, что участкового нам лучше бы сменили; этот, наш-то,— заочно учится и для участкового стал неподходящий по знаниям человек. Это если каждый участковый такой начитанный станет, то весь порядок в стране пошатнется. Начитанность, Катерина, на участковом уровне боль-шой вред приносит, я считаю. Вот на участкового Анна мне жалобу велит писать. Может, и напишу, чтобы, значит, за грамотность его разжаловали.

— Ты приемник теперь слушай, тебе и не до жалоб будет,— говорю.— А участкового сейчас не трогай. Он в моей жизни теперь разбираться задумал.

— Да, забыл совсем! Может, тебе краски половой надо? Там за краской половой душатся, за ацетоновой вроде, хорошую краску выбросили.

— Ну? — говорю.— Вот хорошо-то как. Я давно полы покрасить думала. Прямо перед сестрой да перед племянницей неудобно мне было, какой у меня пол затертый. У тебя деньги от приемника не остались? А то бы я сейчас и сбегала, а как вернулась бы, так бы тебе и отдала.

— На,— говорит,— четвертную, да Анне только не говори. Вот,— говорит.— Я от Анны в носок четвертную себе засунул... Ты мне не заноси. А когда мне надо будет — я у тебя спрошу.

Побежала я в магазин. И два раза по две коробки принесла этой краски себе. И ведь когда в очереди-то душилась, совсем я не думала, что среди зимы красить начну,— на лето ведь вроде краску закупала. А как вошла в дом — батюшки! — труба открыта, ветер через печь задувает, и пепел по полу раздуло, прямо как нametелило. Ведь чисто печку выгребла всю, и откуда только, скажи, пепла столько налетело! Ну, думаю, это без нечистого тут не обошлось. Да только вот я ему устрою: накрашу сейчас

полы, только половицы отдельные себе оставлю, чтобы пройти. Потом их, во вторую очередь, замажу. Так, может, он по краске-то и не взойдет. Авось и не угорю как-нибудь — вон форточки настежь открою, голову платком пуховым закутаю, переночую!

Репродуктор на всю громкость включила — редко я его втыкаю, а тут вроде не так с ним страшно,— полы перемыла, да около печки в первую очередь, где половицы быстрее просохли, сразу красить начала. Печка у меня топится, репродуктор во всю моченьку орет, а я крашу! Ну и посмотреть скорее хочется, что за краска мне досталась. Глянула я на половицы эти, а они, как яичный желток, блестят, я и не видала никогда такой краски замечательной. Наверно, потому что ацетоновая. Я раньше-то только масляной красила...

И до того я разошлась, что к вечеру в комнатах обеих перекрасила, и в прихожей тоже, и только как собиралась, так половицы некрашеные оставила от порога к печке, от печки к столу, да от стола к кровати. И думку свою подумываю: теперь уж никто ко мне не явится. Потому что из какого измерения не заявись, а в краску влипнуть никому, я так прикидываю, неохота.

Ну и в этот самый вечер, ни раньше ни позже, Пелагейку ко мне принесло. Мальчишка у нее в Ленинграде пропал. Работать было стал, да работа ему не сильно по носу пришлась. Все Пелагейке в письмах жаловался, что всю жизнь прогорбатишься, а толком ничего не наживешь, как другие-то наживают. А после такой своей жалобы и вовсе документы забрал, да и сгинул, а куда, и не понятно. Вот Пелагейка с ума и засходила — куда Костечка делся. Да теперь уж ей невмочь стало, срочно на блюдце гадать приспичило про Костечку ненаглядного... Только я и знать ничего не знаю про это, а она — ни «здрасьте», ни «как живешь», а сразу — по некрашеной половичке — к столу. Ни на меня, ни на работу мою малярную не смотрит, а только говорит:

— Как краской-то пахнет! Фу-фу! Не вздохнешь! — и носом вертит.

А сама уже бумагу расчерченную с кругом да с цифрами, с буквами разворачивает, свечку ставит, и блюдечко со стрелкой нарисованной над этой свечкой коптит. Я и не заметила, как она разделась — только пальто ее на кровать перелетело, да платок она свой на плечи приспустила.

А я-то про голос думаю, который у себя за спиной слыхала, и чудно мне: год, значит, он меня не тревожил,

бдительность мою, выходит, усыплял. А как объявился, Пелагейка будто знала про то, в ту же секунду с блюдцем-то да со свечкой прискакала. Ну — судьба, значит. Так я все это на свое переворачиваю.

— Зря ты,— она мне говорит,— полы накрасила, на половице одной стоять неудобно. Ну все равно давай, подходи, как-нибудь пристраивайся.

И палец в блюдечко ткнула.

Я — без разговоров всяких — тоже палец положила. Ждем. Стоим-стоим — никакого движения нету. Пелагейка и говорит, завздыхала:

— Плохо блюдце нагревается. А от нас в старости мало энергии выходит, напряженья нашего не хватает. Это ведь как ламповый приемник! Когда ламп не хватает, ему заработать трудно! — а сама между делом-то блюдце пальцем туда-сюда вихляет.— Ему, Катерин, движенье первоначальное сообщить надо! Ведь если приемник в кнопку, к примеру, не ткнешь, он ведь и не включится.

Я говорю:

— Пелагея! Это ты чего-то озоруешь, ты не по делу блюдце тревожишь.

Уж она его тыкала-тыкала:

— Вот погляди,— говорит,— без Лидии совсем шевелиться не хочет.

Опять с ней стоим — а я что-то и не верю, что получиться что-то может.

А Пелагейка:

— Я на блюдце только вся целиком сосредоточилась! И ты сосредоточивайся.

С полчаса, наверно, не меньше, простояли. Пелагейка совсем расстроилась:

— Развела ты красильню свою не ко времени. Как только в голову тебе пришло среди зимы полы перекрашивать! Тут вся обстановка не только для духов неподходящая, здесь любой живой человек окочуриться может. А духи все-таки — они, я так думаю, из тонкого всего состоят. Нет... Не получится тут, сколько ни стой, не получится тут никогда и ничего. Да и в доме холодно, какой дурак по такому холоду заявится, зови-не зови... Давай-ка, пока я на автобус успеваю, проводи меня домой, я в этом ацетоне не выдержу у тебя спать. Зря ехала.

Я за калиткой своей остановилась:

— Пелагейка, не пойду я тебя дальше провожать, что-то голова у меня кружится. А сама все на домушку напротив поглядываю, да и думаю: вот бы достучаться до

кого — до вечной бабушки бы ссыльной, и чую — вот тут-то был бы толк...

И только так подумала,— то сквозь ставенки только свет пробивался, а тут полоска светлая в дверях мелькнула,— да и пропала. Вроде старухину дверь кто приоткрыл изнутри на минутку. Сроду, сколько живу, а такого я не видала.

Опять стоим разговариваем, Пелагейка мне про Костечку чего-то городит, а я на ставенки поглядываю.

— Как бы не опоздать мне на автобус-то! — Пелагейка заторопилась.

— Ладно, темно, и не хотела я идти, а пойду с тобой до остановки,— говорю,— а сердце у самой прямо так чего-то и чует!

И как через двор старухин проходить стали, я и говорю:

— Пелагейк, гляди, на крылечке-то чего — блюдечко вроде.

— Да не вроде — а блюдечко и есть. Тут кошек полно бездомных ходит, а старуха им в блюдечко какой-то провиант ненужный выставляет, наверно.

— Гляди-ка,— говорю.— Никогда я внимания на это не обращала! — а сама к крылечку подошла, и ясно вижу, что пустое это блюдце.

— Пелагейка, безо всякого провианта блюдце!

— А сколько мы с тобой у калитки стояли? Уж вылакал кто-нибудь, вылизал! Долго ли им, кошкам да собакам, умеючи-то!

Ну и дальше пошли. К станции подходим — нет народа на остановке.

— Вот тебе и раз! — Пелагейка расстроилась.— На пять минут только и опоздали. Вон уж и кассу закрыли,— сама на часы круглые смотрит, под фонарем которые.

А назад-то идем — все Пелагейка ворчит.

— Вот если бы не ты с этим блюдцем, вон тем старухиным, не опоздала бы я.

— Чего же теперь, если так получилось. Только погоди, Пелагейка, ты как хочешь — а блюдечко-то все-таки я разгляжу, подойду как следует.

Подобрала — не видно ничего, что за блюдце, только пальцами чую, что совсем оно чистое, холодное.

Пелагейка вздыхает — так все это ей не нравится.

А как вошли да на блюдечко я глянула — при свете-то, то и поняла: не даром оно выставлено было! Старинное блюдечко, и такой тонкий фарфор, что аж светится. И рисунки на нем темно-коричневые странные — вот прямо не рисунки, а знаки какие-то. И посередке самой будто

спираль в одну точку уходит, от краешка начинается. Перевернула я блюдечко — а на обратной стороне тоже рисунки, только зелёные, да стертые-стертые, и будто солнце — да семь планет по кругам ходят.

— Вот,— говорю,— Пелагейка, вот чего мы крутить будем!

А она мне:

— Я к этому блюдечку и близко не притронусь. Оно — кошачье. Я спать лягу, все равно у тебя сидеть не на чем.

— Не взбрыкивай,— говорю.— Блюдечко, ладно, я помою, а табуретки прямо на крашеный пол ставь, наплевать. Я потом эти места закрашу.

— Ой! — она кричит.— Там, в комнате, кто-то, Катерина, ходит у тебя! Зажги-ка свет скорей, как страшно.

А я уж и сама почуяла — темным клубом в темноте-то как будто прошло что-то медленно, да и пропало, только холодом ненормальным обдало. Включила свет — никого. Да чтобы Пелагейку успокоить, говорю:

— Ветер ходит, форточка-то открыта... Да вон — погляди, погляди опять круги по небу. Это на полигоне испытывают, а ты и напугалась, не знаю чего подумала...— а у самой и руки дрожат: и посторонних глаз не испугался — прошел, хорошо, что Пелагейка не уехала, что со мной она.

И начинать обе боимся: свет тушить да свечку зажигать. Пелагейка посидела, посидела, говорит:

— Вот после взрыва каждого, считай, сутки, а то и двое, я не человек. Прямо тошнота на меня находит, и в голове все мысли наперекосяк становятся. На жизнь гляжу — а она вся мне незнакомая представляется и чудная какая-то... А ведь некоторым эти взрывы что есть, что нет их. Не чуют... Давай-ка чаю горячего, как холодно. Хоть согреться.

Подбросила я дров, которые на плите с краю сушились для растопки,— куда уж за углем-то идти, темно, чайник вскипятила. Не торопясь попили, успокоились вроде обе, в общем, так до двенадцати часов и дотянули...

«Продолженье Пелагеи Гордеевой уважаемому участковому милиционеру. Я, товарищ участковый милиционер, в объяснительной от вас не уклонялась, хотя вы и считаете, что суть я не изложила, а только вас запутала. А если вы суть хотите, то так бы сразу и сказали. Только суть эта будет в том, что вы в этом деле — тоже зачинщик. Потому что никто вас за язык не тянул воздействовать на

Анохину Екатерину кошачьим разговором. А как только она узнала, что вами слова про кошек были сказаны, что кошки в южной стране Египет ихними жителями были разоблачены как животные из таинственного мира, то тут Анохиной Екатерине и приспичило гадать по кошачьему блюдцу, а не по человеческому, как я, например, настаивала. Если бы мы на человеческом блюдце остановились, то никакого другого измерения нам бы не открылось. Я много раз гадала у Лидии Самариной с дочерью ее Идкой, и знаю поэтому хорошо, что человеческое блюдце, если его не толкать, никакой безбожной партийной науке не противоречит, а только ее всеми силами подкрепляет. Что, значит, никаких миров нету, кроме того, в котором мы живем. А пока мы над кошачьим блюдцем сидели без дела — и у Анохиной Екатерины, и у меня от него начала сильно кружиться голова, и мы вроде ненормальные стали. И я еще ничего. А Анохина Екатерина гораздо сильней. Потому что блюдце вроде и двинулось: как тут сразу Анохина Екатерина бросила его тыкать, а стала смотреть в стенку во все глаза.

— Слышишь? — говорит.— Началось.

А потом спрашивать стала; в стенку глядит и спрашивает:

— Надя? Это ты? Я тебя не вижу.

Тут и я своими ушами услыхала, как кто-то поет. И я сразу подумала, что какой-нибудь ламповый приемник за стенкой. Я Анохиной Екатерине сказала:

— Какая Надя, когда это Сметанкина поет или Русланова.

Потому что я всегда на Русланову думаю, что это Сметанкина, а на Сметанкину — что Русланова поет. Тут Анохина Екатерина сильно взвинтилась. И сказала, чтобы я замолчала, потому что тут не футбол, и чтобы я, как комментатор, ее бы не сбивала, а у нее и без меня голова кружится. Тогда я тоже поняла, что и у меня голова кружится. Тут Анохина стала совсем не в себе, потому что прослезилась в полотенце, а мне сказала:

— Время, Пелагея, это время сейчас в обратную сторону раскручивается, вот чего.

И тут мы стали крутить блюдце, и оно завертелось сразу, и соображенье у меня было очень плохое. Я только помню, что я говорю:

— Дух Владимира Владимировича Маяковского, ты здесь? — И про Костечку спросить собираюсь, а Анохина Екатерина в это время меня не слушала, а говорила:

— Дух... Степана Викторовича Одинца. Я тебя вызываю!

Это живого человека, значит! Вот до чего Екатерина Анохина договорилась, и в каком помрачении, значит, была.

И тут я уже не помню, крутили мы блюдце или нет, потому что чего-то такое вроде как кино пошло, и я саму себя молоденькую увидала, как мы перед войной на танцплощадке танцуем с одним, который... самый первый мой ухажер был. И я не удивляюсь, а только вижу, как мы с ним с танцплощадки ночью идем, ясно вижу, а Анохина Екатерина в это время совсем другое бормочет, и ее слова тоже до меня доносятся.

— Ну вот,— говорит и смеется, тихо смеется, прямо жуть.— Здесь,— говорит,— здесь ты. И будто слушает кого-то и сердится, и перечит:

— Не верю! Не обманешь! Ты врешь, что по всему свету ты рассеян и что вас в этом обличье множество великое! А сейчас, пока ты во власти моей, хочу я знать, как Лёня Тарутин-старший погиб.

А потом и вовсе заговариваться стала.

— Нет! — кричит, лицо руками закрывает.

Потом поуспокоилась.

Долго молчала и голову на стол уронила, бормочет:

— Знала я, Степан, что вы у них жизни себе забрали,— они должны были жить!.. А вы их под смерть поставили и сами жизнью воспользовались и ее испаскудили. Вместо них стали жить и испоганили все. Да только они мертвые живее вас, потому что — чище. Кто чище — тот и живее!..

Это совсем немногое я услыхала, что она там бормотала, потому что совсем другое я видала,— не то, что она. А видала я... как сама к окошку крадусь, да, беременная уже, подглядываю... за одним человеком подглядываю. И всю свою судьбу прошедшую я увидала и плакала в это время сильно.

А очнулась я уже тогда, когда листок расчерченный горел, да и то не сильно, потому что кое-как огонь мы с Анохиной потушили, а как на крыльцо выкарабкались... В общем, Анна с Кузьмичом, хоть и осуждали нас и нас не одобряли с Анохиной, а «скорую» вызвали и в больнице мы с Анохиной вместе под кислородом лежали, и глюкозу нам — в одни места кололи, и хоть признали у нас отравление ацетоновое от краски половой анохинской — а я так думаю, что все — от кошачьего блюдца.

Анохина в себя плохо приходила, потому что и в больнице твердила, что вот назло ему она теперь выздоровеет, а то знанье ее в могилу уйдет, а он так и будет ходить да процветать махровым цветом без этого. И меня раньше нее выписали.

А про Костечку моего так я ничего и не узнала. В чем и подписываюсь.

Пелагея Гордеева».

«Уважаемый Булалаев Петр Семенович! Я, Анохина, забежала к Барановой Авдотье Федоровне с надеждой, что вы еще не уехали. Но узнала от нее, что вы уехали. Я выписалась из больницы. А тут мне Пелагея Гордеева сказала, что вы все записанное мной прочитали и повезли согласовывать в Прибалтику, а еще в Москву. Зачем же вы меня прежде не спросили, и со мной этот шаг свой не согласовали? Я прибежала, думала, вас застану и записи у вас отберу. А теперь только прошу, чтобы вы сразу, как вернетесь, срочно мне бы обо всем рассказали, потому что, может, Пелагея чего не так поняла. А то у меня много обиды на вас и тревоги. Я же не знаю, что за встречи вы себе задумали, Петр Семенович.

И еще: я вам продолженье обещала. Так вот, больше я после того, как дьявол мне в образе знакомого человека явился при гадании, уже ничего писать и ничего вам рассказывать не буду. Не обижайтесь. И не потому, что вы передо мной сейчас виноваты, а потому... В общем, во время гаданья и когда врачи меня отхаживали, во все это время открылось мне многое. Даже мысли и представленья того человека, на которого я гадала, я все знала в эти дни. Но никогда вам про то и никому не скажу, потому что на этом знанье — запрет. В общем, не имею я права из того, что мне там привиделось, в эту жизнь ничего вносить. И кажется мне, что как только выздоровела я, очнулась совсем, то про знанье то сразу должна была бы забыть. Мне бы самой для жизни так лучше бы было. Но если у меня память не как у людей, то никто в этом не виноват, вот только сильный запрет я ощущаю и его нарушить не смогу никогда.

А видала я так, будто сама там была и даже мысли слыхала, до самой последней мелочи: видала, слыхала и знаю. Так у меня это все перед глазами и стоит».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

...Уже под вечер Степан Викторович Одинец почувствовал, что с ним творится что-то неладное. В предвесенние дни все одолевала его какая-то ломота, зевота, а в Касьянов день — последний день февраля, навалилась еще и непонятная, ничем не объяснимая тоска. К полуночи он вдруг оказался в полуподвальном помещении за пластмассовым неприятно легким столиком...

Степан Викторович уже не преподавал в институте, однако регулярно получал пригласительные открытки на институтские вечера, прочитывал их и бросал в мусорное ведро. Приглашение на сегодняшнюю дискотеку он выбросил тоже. А к вечеру затомился, походил из угла в угол и вдруг полез в мусор за открыткой. Потом быстро переоделся и долго ловил такси на темной сырой улице. И долго стучал в двери полуподвальной студенческой столовой, откуда доносилась бойкая и местами тягучая музыка,— вахтерша в берете из кроличьего пуха не хотела его впускать... А немного погодя Степан Викторович уже сидел в столовой, оборудованной теперь под дискозал, и вполне благодушно посматривал на огромные буквы «диско», сооруженные из новогодних лампочек-гирлянд, на лампы, льющие мертвенно-голубой и красный свет сквозь целлулоидные фильтры, на низкие окна, раскрашенные теми же буквами «диско»,— на всю эту мишуру, пестроту, крикливое убранство зала охочей до праздников студенческой толпы. Пульсировала, гремела, лязгала и нежно попискивала стереомузыка, и девушки, обтянутые блестящей тканью, старательно танцевали на маленькой эстраде резкий свой танец, выбрасывая вперед руки и невидяще глядя в зал: полудетские лица их были совершенно похожи одинаковостью грима и выражения, и поблескивали от пота.

За одним столиком с ним, за самым ближним к эстраде,

сидели три парня в блестящих тяжелых браслетах и в металлических ошейниках; любители тяжелого рока. С ними Степан Викторович уже поговорил. Не особенно охотно, с плохо скрытым пренебрежением к старику, парни обсказали в двух словах свою «жизненную программу»: их идол — металл, их культ — сила, их путь — он не в познании истины (парни вяло захохотали), пусть этим занимаются убогие, поиском... Жизнь здорового тела — остальное к чему же? Ну и музыка, конечно,— музыка, которая вливает в тебя силу металла! Они неуязвимы, им нечего бояться. А размазываются пусть амебы, все другие, прочие, «неметаллисты»... Так что у них все о'кей. Пожизненная преданность металлу! «Травкой», «дрянью» они не увлекаются. И даже не курят. Пока жизнь тела им нравится... Их считают агрессивной частью молодежи. Но они только умеют постоять за себя! Постоять как следует. А что?

Парни Степана Викторовича не раздражали — чем бы дитя ни тешилось... К тому же в их «программе» как будто было что-то ему симпатичное, весьма и весьма... Раздражало другое. Какая-то девица за соседним столиком упорно разглядывала его исподлобья. И уводила взгляд в сторону, когда он оборачивался. Она сидела рядом со знакомым ему преподавателем с биофака, тот поступал на работу еще при Тарутине...

Девица была одета неподходяще для дискозала — какое-то платье с карманами, шаль... Не танцует... Тип Мирей Матье, упрощенный вариант, никогда не привлекавший Степана Викторовича и в самых изысканных женских воплощениях... Впрочем, ему даже показалось, что он видел ее раньше. В который раз он обернулся — нет, она решительно раздражала его. Весь вид ее вызывал катастрофически накатывающее чувство досады. И это чувство досады было как будто старым цепким чувством, пришедшим из незапамятных дней, давно утонувших в темной воде времени... Он не мог ее вспомнить...

Девица поглядывала в его сторону. Он прикрыл глаза: в конце-концов он волен уйти отсюда, когда ему заблагорассудится. Музыка клокотала в зале. Он слушал, слегка пошевеливая в такт вытянутой под столом левой ногою.

...«Шевелите ногой, притопывайте, важно сохранить подвижность сустава»,— скороговоркой наказывал ему щуплый и маленький, словно карлик, доктор, снимая гипс... Все это ушло в прошлое. Но привычки прошлого устойчивее, чем память о нем.

Музыка перешла в звон, затем в тонкий писк — и оборвалась. Танцевавшие девушки гуськом сошли с эстрады и, сутулясь, расселись за столиками. И он ощутил резкий влажный запах духов. Дежурная швейцарша, не хотевшая впускать Степана Викторовича, заперла двери на засов, прошла в зал, в самую середину. А потом встала, прислонившись боком к колонне. Она стояла долго в байковом синем своем халате посреди блесток и гирлянд и равнодушно и откровенно разглядывала танцовщиц, устало развалившихся на стульях. Толстое лицо ее было неподвижным и плоским — отражаясь в зеркалах четырех колонн, оно напоминало лица каменных идолов.

— Охо-хо-нюшки! — вдруг сурово пробасила она, кивнув на девушек и обращаясь к Степану Викторовичу, как к равному — равному по возрасту и по отношению ко всему происходящему.— Ох, бесово сутолпище!..

Потом скучно засмеялась и направилась к дверям, к рабочему месту своему у порога, все еще что-то бормоча. «Ревнивая женская старость. Она труднее прощает чужую молодость»,— подумал Степан Викторович, глядя ей вслед и отмечая тяжелую, нездоровую ее поступь. В зеркале колонны он увидел свое отражение, холодновато улыбающееся ему. «И все же — не так уж я стар!» — подумал он, задерживая взгляд на зеркале.

Биолог негромко рассмеялся за его спиной — девица с карманами и в шали что-то говорила. Прислушался Степан Викторович совершенно невольно.

— ...Темный бурый какой-то свет. Четырехугольником. Ты уверен, что вокруг него нет этого бурого темного четырехугольника?

Степан Викторович понял, что девица говорит о нем. «Металлисты» сонно болтали соломинками в длинных стаканах.

— Я уверен только в одном: надо доверять собственным ощущениям. В искусстве важнее всего...

— Странно...— перебила она его.— Я вдруг подумала о том, что он умрет... а его четырехугольник так и останется на свете сам по себе. После смерти. Этот бурый его свет... Нет, это светом нельзя назвать, наоборот. А после смерти?..

В сильнейшем раздражении Степан Викторович обернулся, намереваясь сказать, что злословить о впереди сидящем можно было бы и потише. И сердито выкрикнул совсем не то, что хотел:

— Мертвые — мертвы! Их — нет! Нет! ...Впрочем, из-

вините...— вяло закончил он, спохватившись. И чтобы не выказать ужасного недовольства собой, сел свободней и стал притопывать левой ногой. Что-то творилось с ним сегодня.

— ...Только в пальцах роза или склянка,—
Адриатика зеленая, прости! —
Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?
...Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой граненый. В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла...

Кто же и когда читал это? Ах, да. Это читал Другой. Читал накануне смерти тот, Другой. И на небритой щеке его, у самого носа, вздрагивала от дыхания пушинка одуванчика. Молодой Степан Викторович не мог оторвать взгляда от этой пушинки. И еще он прислушивался, как отрастающие волосы на макушке при движении бровей ощущаются жестко и непривычно в коже головы, остриженной наголо.

Его — ранило. А убило — не его. Другого. Как давно это было.

— Да, брат...— сказал тогда Степан Викторович, единственно, чтобы сказать что-то Другому, и, откинувшись на спину, стал смотреть на пилотку, отброшенную Другим в сторону на траву.

— Как хорошо ты говоришь всегда — «брат»...— рассеянно отозвался тот. И Степан Викторович усмехнулся: Другой был поэтом. Поэтом, стесняющимся читать свои стихи. И потому читающим Мандельштама.

Прямо над ними светилась холодная бездонность неба, солнце сияло где-то сбоку, но ощущалось каждую минуту безбрежное, растекающееся, плавящееся его ликование. Степан Викторович щурился от непрямого сильного света.

— «Чем больше неба мне...» Как это ты читал недавно? — спросил он.

— Чем больше неба мне — там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще, воронежских холмов —
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане...

Степан Викторович, не дослушав, стал подниматься — глубинный холод теплой сверху земли уже проступал сквозь гимнастерку, и спина начинала вбирать этот холод, и словно бы соединяться с ним, навечно теряя живое тепло тела.

— Искупаемся? — сказал тот, Другой.

Степан Викторович не ответил, а лишь смотрел теперь, как стыдливо раздевается он за ольхой: на теле его алели острые головки мелких фурункулов, высыпавших от грязной походной жизни, от пота и сна на холодной земле. Он был интеллигент, тот, Другой,— потомственный интеллигент! Степан Викторович откровенно расхохотался. И одобрительно сказал ему, прячущему глаза:

— Вот т а к и должен выглядеть поэт! Сын лекаря! Именно так!..

А через сутки, под вечер, лиловый и влажный, они едва успели поменяться местами на обочине раскисшей дороги, по которой месила грязь длинная унылая колонна. Там, мгновенно вжавшийся в землю, пахнущую тленом и влажной сильной молодой травой, почувствовал он, как раскаленный до белого свечения столб мысли свергся с неба и вошел в его затылок, и прошил насквозь тело, землю, и черную бездну под ней: ж и в и — т ы. Страшный смерч прошил тело, землю и ушел в черную бездну под ней... «Я — живу!» — тонким старушечьим вскриком отозвалась его душа, уже понимающая, что убило — Другого. Потом он зачем-то полз к вялому трупу его, полз в горячке, и лишь схватив за плечи Другого, удостоверился наконец в своей жизни. И очнулся от вопля своего — торжествующего, звериного вопля... А потом долго пытался разжать пальцы. И разжал. И с отвращением уставился на них, все еще скрюченные судорогой страха. И тогда стальные нити боли натянулись от ступни и, натягиваясь все туже, замкнулись в колене, внезапно набрякшем и отяжелевшем.

...Потом он смотрел из большого окна госпиталя на молодые лица ненормально веселых солдат. Солдаты пели отчаянно и горласто и уходили строем в неизвестное — туда, где калечат и убивают и где отстаивают огромную северную землю, ничего не успевшую дать им, кроме жизни и любви.

Ему только что сняли гипс, он слушал у окна мальчиков-солдат, уходящих в неизвестное, и с трудом старательно притопывал раненой ногой в такт их сбивчивой громкой песне.

— Мертвые — мертвы! Их — н е т! После — не остается ничего!

...Он перестал размахивать пальцем и отвернулся, досадуя, что против воли и обыкновения ввязался в чужой разговор. Но никто не заметил, должно быть, этого. По-

тому что биолог продолжал говорить как ни в чем не бывало:

— ...Что такое смерть, если вселенная переполнена счастьем? Каждый атом во вселенной несет в себе состояние счастья... Каждый заряжен счастьем... Вы этого не ощущаете?

— Ощущаю,— невесело засмеялась она.— А если человек умрет, куда же денется его ощущение счастья?

— Оно останется во вселенной... И воплотится в живое вновь, даже если пройдут триллионы лет: они пройдут как миг. Миг пройдет как миг — и триллионы лет пройдут как миг. Есть же у вас бессознательное, но совершенно ясное для вас ощущение, что вы жили уже когда-то раньше. Надо верить своим ощущениям.

— Вы... Как вы вычислили мое ощущение бессмертия? — она спросила почти враждебно.

Он продолжил не сразу.

— ...Ваша сущность — порыв. А человеку порыва, и только человеку порыва, дарована фантастическая глубина ощущений. Не стесняйтесь этого. Она дарована не многим.

— А его сущность? — опять торопливо перебила она. И Степан Викторович понял, что это снова — о нем.

— Как это ни странно — способность к порыву.

— Этого не может быть...— упал ее голос.— О какой способности к порыву может идти речь, если вы сейчас говорите о... О старике, который...

Грянул стеклянный, оглушительный ливень музыки, сразу наэлектризовавшей зал — молодежь вскинулась, и танцующие забились в красивом и страшном припадке танца.

— ...И все же именно в нем я вижу способность к порыву,— равнодушно и громко, перекрикивая музыку, сказал биолог.— Способность эта может не реализоваться никогда. Но он ею обладает. Он, может быть, всю жизнь борется с искусом порыва. Но порыв — не исключен.

...Степан Викторович запер дверь. Она стояла перед зеркалом, расчесывая невероятной густоты сыпучие красные волосы. И была очень худа. Пестрый дешевый, наверняка самодельный, сарафан висел на плечах на каких-то тонких черных бечевках. Степан Викторович стоял и смотрел, как волосы под расческой падают на ее незагоревшую жалко-бледную спину с открытыми лопатками. Она обернулась, собираясь что-то сказать. И как будто вздрогнула.

— Проходите,— смутившись, сказал он...

Какой жаркий июль стоял тогда... Напряженный душный воздух сдавливал виски, и полусонная зелень деревьев безрадостно вбирала тяжелый солнечный свет. Потом изнемогшее рыжее солнце падало за крыши многоэтажек. Наступал душный обморочный закат. Но по ночам лил дождь. В его слабый шорох, шелест, шуршание всякий раз не верилось поначалу — так он был робок и слишком желанен. Но уже через считанные минуты он лил как из ведра, безветренный щедрый проливной дождь, и тогда окна города жадно распахивались настежь, в темную грозовую свежесть...

Они пришли втроем — Ахуров, она и какой-то студент. Никого, кроме Ахурова, он тогда не ждал. Он многое собирался сказать Ахурову накануне выступления своего на ученом совете. «Ты думаешь, нам всем не хотелось бы работать над чем-нибудь этаким? Над этим можно работать, но это не проходит! Конъюнктура диктует свои законы, и защищались мы — по ним, по этим законам,— собирался сказать он.— А ты... Ты вообразил, что этим законам должны подчиняться только мы, черная кость!!! А для тебя они как будто и не существуют...»

Ахуров сам был виноват, что Степан Викторович вдруг раздумал говорить об этом ахуровском трактате и о том, как он, Одинец, будет выступать завтра. Верхом легкомыслия, да и просто неуважения к ученому слову Степана Викторовича было привести с собою ни с того ни с сего этих молокососов.

...Перед их приходом Степану Викторовичу показалось, что в комнате запахло незнакомыми духами. Впрочем, запах был не парфюмерный. Степан Викторович стоял тогда около письменного стола, к которому уже давно не было охоты подходить, и тогда-то едва уловимый запах цветущих яблонь — да, как будто цветущих яблонь, стал неприметно заполнять комнату. Степан Викторович распахнул окно. Но запах, тонкий, свежий, едва уловимый поначалу, стал лишь густеть — он становился все более и более ощутимым. Но...— стоял июль. Степан Викторович отпер и распахнул дверь. Сквозняк зашелестел бумагами на письменном столе, вздулась занавеска на окне — и опала. Брякнул звонок. В прихожей раздались шаги.

На пороге топтался длинноволосый студент с широкими скулами и блестевшим высоким лбом, он вопросительно смотрел на Степана Викторовича нежными карими глазами и не знал, куда деть гитару в шершавом чехле. Какая-то девушка маячила за его спиной в прихожей. И голос невидимого Ахурова прозвучал едва ли не из-за порога:

— Прости. Я не один к тебе.

Почти оскорбленный Степан Викторович не удержался от того, чтобы сразу, на кухне, не попенять Ахурову:

— Это что за сопровождающие лица?

И только рассердился еще больше, когда оказалось, что про студента с гитарой Ахуров и сам толком ничего не знает. А про девушку говорил что-то и вовсе невразумительное, прислонившись спиной к стене и сильно наклоняя голову вниз с высоты своего роста.

— Что она такое? — допытывался Степан Викторович.

— Сестра милосердия. Саша Сергеева.

— Какая еще сестра? Кому?

— В самом деле сестра. Медицинская. Я был сегодня у профессора, занимающегося проблемой выживаемости близнецов. Видишь ли, я хотел знать, действительно ли это так, что когда один из близнецов во внутриутробном состоянии забирает львиную долю питательного вещества из плаценты в силу большей своей активности и... агрессивности, грубо говоря... Забирает у брата, и делает таким образом брата своего нежизнеспособным, то сам же в результате и оказывается нежизнеспособным: он тратит на борьбу с братом столько жизненных сил, что ничего не выигрывает и обессиливает сам себя.

— Только мирное сосуществование...— понимающе вздохнул Степан Викторович, иронизируя.— Вот бы профессор посмеялся над тобой, если бы ты все это ему изложил. Она, что же, работает у профессора в клинике? Эта Саша Сергеева?

— Да, я не застал там профессора. И застал Сашу. Этот парень ждал ее... Мне хотелось поговорить с ней. А он...

— Ухажер, значит,— хмыкнул Степан Викторович.

«Ты не предупредил ее, что ведешь в квартиру бабника?» — чуть было не сорвалось с языка Степана Викторовича. Но удержался он от этого легко — вопрос мелькнул в голове, вызвал мимолетную усмешку и только: он в достаточной мере дорожил своей репутацией бесстрастного человека в институте и не собирался личную свою жизнь приоткрывать налево и направо, как в последнее время было принято у многих других.

Они прошли в комнату. Только в прихожей Степан Викторович немного задержался — девушка еще стояла перед зеркалом и, не торопясь, расчесывала длинные, до пояса, невообразимые свои волосы, сияющие как трансформаторная медная обмотка.

— Проходите,— вдруг смутившись от взгляда ее, сказал он.

Потом она мирно сидела на диване рядом с Ахуровым, и разноцветные дешевые бусы ее едва приметно вздымались при вдохе на ключицах. Она была неприятно бледна и спокойно-тревожна.

«Ничего особенного»,— разочарованно думал о ней Степан Викторович, заботливее обычного накрывая на стол.

— Я думал поговорить без свидетелей,— все же во всеуслышание упрямо произнес Степан Викторович.— Но... разговора сегодня у нас с тобой не получится.

— Я понял тебя,— кивнул Ахуров, и больше к теме работы своей не возвращался, только заметил без особого, впрочем, энтузиазма: — Не осуждаю. И все же — спасать мир, значит спасать душу...

— Он верит в свое всесилие! — как бы пошутил Степан Викторович, обращаясь к молодежи, тем самым закрывая тему совсем.— Любая форма мессианства — отклонение от психической нормы. А нам нужен здоровый, трезвый взгляд на вещи. Не так ли?

Студент и Саша принужденно переглянулись.

Разговор за чаем так и не завязался. Лишь выяснилось ненароком, что девушка не закончила какой-то факультет по искусствоведению, потому что все время «училась хорошо», и, провалив экзамен, «не могла пойти пересдавать».

— Было стыдно...— опустила голову и пробормотала она едва слышно, на что Степан Викторович недоуменно пожал плечами, но расспрашивать ни о чем не стал. Девушка закончила сестринские курсы после этого...

— Очень интересно! — заметил Степан Викторович небрежно. Ахуров вдруг встал и со всеми распрощался. Саша и студент в недоумении переглянулись — и остались. И тогда студент сразу потянулся за гитарой. Он долго и неловко высвобождал ее из чехла. Степан Викторович при этом и не подумал поощрить его или приободрить — ему доставляло странное удовольствие это их замешательство.

Неуверенно потрогав струны, студент все же запел:

— Я смертельно боюсь... золотистого плена...
Ваших медно-змеин-ных волос...
Я влюблен в... ваше тон-нкое имя Ирээ-на...

Пел он хорошо. Саша не поднимала глаз, и разглядывать ее можно было сколько угодно. Так, от нечего делать.

Будто исполнив все, что требовалось от него, студент стал так же неловко засовывать гитару в чехол. А когда застегнул молнию на чехле, то пошел к выходу, держа гитару на руках, как держат грудных детей. В прихожей он остановился, поджидая Сашу, и Саша встала. Она на мгновение подняла глаза — Степан Викторович взглянул на нее в ту же минуту. Мир отступил куда-то.

Мгновение длилось. Почти потрясенный неведомой властной силой притяжения, он, с трудом справившись с собой, сказал спокойно и резко:

— Отнеси-ка это на кухню.

Она отрицательно покачала головой, но отвести взгляда от глаз его не могла. И тогда он протянул ей тарелку с сухим печеньем. Руки его коснулись ее рук — и снова мгновенье длилось, и страшно было разнять их, а она все смотрела на него, будто спала с открытыми глазами.

— Отнеси, пожалуйста...— волнуясь, повторил он.

Студент беспомощно звал Сашу из прихожей. И скороговоркой сообщал, что они куда-то опаздывают.

— Отнеси...— повторил Степан Викторович.

Среди тишины, среди остановившегося времени вдруг закричал студент.

— Я видел!..— вдруг обличительно закричал студент.

— Что?! — рассеянно отозвался Степан Викторович, не узнавая его.

— Я видел, как вы!..— кричал студент ломающимся, жалким голосом.— Как вы весь вечер ...летели друг к другу! Вы весь вечер!..— едва не плакал он,— летели друг к другу! Мне было трудно сидеть между вами! Я — пересел!.. Я видел!..

— Разве? — холодно переспросил и повернул к нему непонимающее лицо Степан Викторович. Потом подумал — и жестко добавил: — Прости, брат. Но тебе нужно сейчас уйти. Так-то, брат...

Саша, не поднимая головы, прошла мимо студента на кухню. Однако он еще долго топтался в прихожей, заносчиво ероша чуб.

Степан Викторович сразу забыл о нем. И как будто убирая со стола, не замечал того, что делает, вовсе. Невидимые огни опасности засветились в сознании, и на мгновенье красноватый их свет облил комнату. Какая-то огромная, непостижимая значимость происходящего не давала ему опомниться. И только одно он знал твердо: эта девушка — не для него. А может, как раз — для него, и тогда... Что тогда? Тогда... он не сможет оставаться ни

уверенным, ни... Перед ним открывалась захватывающая игра, правил которой он никогда не знал... И в которой он будет беспомощным, только беспомощным. Потому что... это не игра. «Нет,— почти ошеломленно думал он про Сашу, и приказывал себе: — Нет. Никогда». Но тут же разбрезжила и проступила другая мысль: «Да полно! Так ли страшен черт! И... лучший способ избежать искушения — это поддаться ему». Он все повторял это про себя и криво ухмылялся. Но ощущение опасности было куда сильнее привычной этой мысли.

Он постелил Саше на диване.

— Ты будешь спать здесь. Я — уйду туда! — жестко выговорил он в пустой комнате. И заглянул в коридор — студента давно не было в квартире.

— Ты будешь спать здесь!..— повторил он, переступая порог кухни.

Она поднялась, глядя на него тревожными неяркими глазами,— она его боялась. И снова дикая сила притяжения потянула его к ней, потянула мучительно, надолго.

— Что же это...— не понимая себя и не умея противостоять этой силе, коснулся он худых ее плеч.— Что же это такое, а?

Лицо его болезненно дрогнуло.

— Что это? — спрашивал он неизвестно кого, едва дотрагиваясь губами до неестественно бледного, холодного ее лба.

Он вдруг ясно увидел, что лицо ее ассиметрично, и что уголок левого глаза опущен заметно ниже, чем уголок правого. Она улыбалась — улыбалась нерешительно и жалко. И прилив сильнейшей нежности к ней заставил его задохнуться на мгновенье.

Теплый ливень вновь хлынул за распахнутым в ночь окном. Он взял в ладони испуганное ее лицо.

— Не надо бояться себя. Не надо только бояться себя...— твердил он то ли себе, то ли ей.— Я... всегда был только с тобой. С одной тобой. Ты... веришь мне?! Ты — веришь?.. Веришь?!

— Нет. Увольте... Никаких порывов...— бормотал старый Степан Викторович, протягивая пальцем по столу длинную дорожку от капли к краю.— Никаких порывов.

«Металлисты» подвели остриженную наголо девушку в блестящих шароварах. Степан Викторович поднял голову и зачарованно стал разглядывать крошечную булавку у ворота ее свободной кофты. Парни усадили девушку и стали искать свободный стул.

Собравшись уйти совсем, Степан Викторович поднялся. И вдруг спросил у биолога:

— Можно к вам?

— Да, пожалуйста,— равнодушно ответил тот: биолог Степана Викторовича не узнавал, однако принес коктейли и себе, и ему. Перед девушкой в поношенном, с карманами, платье он поставил стакан с соком.

— Что вы, что вы! Благодарю! — Степан Викторович замахал протестующе руками, отодвинул коктейль от себя. Не обратив на это никакого внимания, биолог наклонился к девушке, сказал ей что-то и ушел. Она рассмеялась.

— Отчего вы не пьете? — с любопытством спросила она.

— Хм, здоровье имеет способность уходить с годами. Здоровья осталось так мало, что приходится сберегать его по крупицам.

— Зачем? — подняла она брови.

— Что «зачем»? — не понял он.

— Для чего вам необходимо беречь здоровье?.. Для этого у вас должна быть какая-то веская причина? — она, вероятно, иронизировала.

— Чтобы... жить, разумеется. Жить... еще.

— Зачем — жить?

— Зачем — жить? — переспросил он. И не ответил.

— Чтобы реализовать способность к порыву! — откровенно засмеялась она — откровенно и недобро.

— Вот уж нет! — по-стариковски замахал он руками. И задумался. А потом повторил снисходительно и как бы брезгливо: — Нет, детка! Зачем? Упаси бог. Нет...

Тарутины редко приходили к Степану Викторовичу вдвоем. Не чаще раза в год. И тогда ему поневоле приходилось играть свою старую роль, которую играл он перед Павлом Аркадьевичем давно, как вернулся с войны. Эта роль дала ему в свое время многое. Очень многое. Степан Викторович опять демонстрировал спокойное умение «просматривать ситуацию», включая сюда же как бы ненароком по-деревенски простоватую тревогу за Павла, и заботу о его делах — для пользы Тарутина же, для пользы института. Иногда все втроем вспоминали прошлое. И деликатные Тарутины избегали тогда произносить Катино имя. Чтобы не бередить его, Степана Викторовича, несладившееся и незажившее!

— Меня заклинило! — нервно говорила Степану Викторовичу Нина наедине.— Я все время лгу. Лгу Павлу,

какая это травма для тебя — неведомая Катя. Он любит слушать об этом,— и морщилась.

К свободе нравов Павел Тарутин относился с большим недоумением — это давно понял и усвоил Степан Викторович. Размахивать красной тряпкой неразборчивости в связях при нем не имело никакого смысла. Конечно же, Саша пришла тогда не вовремя...

С Сашей все получилось иначе и куда сложнее, чем с другими. Он понимал, что свободою супружеских отношений перед нею тоже щеголять нельзя: напротив — он берег ее от встреч с Таей, почему-то берег особенно тщательно. И вынужден был изображать семейную свою жизнь таким образом, чтобы у Саши и мысли не возникло о легализации их отношений. С Сашей было невозможно многое, что было возможно с другими. И... очень уж не вовремя принесло ее тогда.

Едва Степан Викторович при сидящих в комнате Тарутиных открыл ей, как Саша обхватила его шею и ткнулась лицом в щеку его. Соскучившийся Степан Викторович быстро, однако, уклонился, с опаской оглянувшись на дверь, ведущую в комнату.

— Ты не можешь зайти часа через два? — тихо спросил он.

Солгать, что приехала неожиданно Тая, он не сумел, хотя и собирался: встречу с Сашей это отодвинуло бы на долгое время, а скорым свиданием с нею он дорожил сейчас больше всего.

— У тебя гости? — зашептала она, съеживаясь.

Степан Викторович кивнул.

— А я тихо посижу. Ладно?

— Сашка... Господи... Тебя же и впускать нельзя — у тебя на лице все написано,— едва слышно проговорил он, украдкой целуя ее.— Проходи. Только постарайся, маленькая, не смотреть на меня. Они скоро уйдут. Будь умницей. Проходи.

Он деловито подтолкнул ее к двери комнаты, а сам, нахмурившись, скороговоркой представил ее как «девушку, приехавшую порыться в справочниках,» и отодвинул свой стул от Сашиного поближе к Нине.

— В каком районе живете? — спросила Нина, высоко поднимая брови.— В Марьиной роще? А, это не там... У нашего Лёни, у сына, есть знакомая девочка, которую тоже зовут Сашей. Но... Та — удивительно одаренная девушка. Художница. А чем вы, собственно, занимаетесь?

— Она — медсестра...— поспешно ответил Степан Викторович.

— Медсестра? О! Замечательно!.. Медсестра, справочники...

— ...Так вот, Павел,— как бы продолжил Степан Викторович.— Все, что возможно создать в гуманитарных науках, человечеством уже создано. Что я могу добавить к тому, я, маленький человек? Да, я могу перетасовывать факты. И разложить пасьянс таким образом, что он будет подтверждать ту или иную мою мысль. Но! В гуманитарных науках обосновать можно практически все! Вот в чем беда. А что такое исторический факт? Поль Валери еще заметил: «Мне неведомо, что такое исторический факт. Все, чего более нет,— ложно!» И какой же смысл в такой перетасовке?.. Самое разумное сейчас не сочинять, а хотя бы приобретать то, что создано другими. Я хотел бы быть просто коллекционером, создать свой храм!.. Но с моими средствами это не так просто,— он кивнул головой в сторону стеллажей с книгами: их, действительно, было не много.— Мой храм!.. Вот все, чего я теперь хочу.

— Не веришь ты в себя. Плохо. Не веришь. Но... может быть, путь твой в науке лежит через сомнение...— Павел улыбнулся.— Ничего. Это лучше, чем через самомнение.

Степан Викторович только пожал плечами и заспешил на кухню. Вернулся он с кофейником, прикрытым полотенцем, и замешкался, не зная, куда его поставить.

— Тебе помочь? — радостно вскинулась Саша.

— Нет. Спасибо.— Отчужденно ответил он: ее «ты» в присутствии Нины и Павла было совершенно неуместным.

Нина расставляла чашки, движения ее рук были замедленными от транквилизаторов.

— Поставьте сюда, вы обожжетесь,— почти по слогам сказала Нина.— Мне нездоровится что-то.

— Можно пройти в ту комнату и прилечь...— откликнулся он.

— Я действительно хотела бы, вы позволите?

— Да, Нина,— Степан Викторович с готовностью поднялся, и с готовностью проводил Нину в полутемную комнату.

Нина остановилась перед кроватью, но, подумав, полулегла в кресло.

— Какая милая девушка,— обиженно усмехнувшись, сказала она.— Такая непосредственность! Очень мило! — Нина теребила рукав своей кофты, быстро ощипывая пух.

— Она здесь случайно, Нина. Она... давно хотела по-

смотреть... Но мне все некогда было. И вот... Это — знакомая Ахурова! Знакомая Ахурова!

Но Нина смотрела мимо, на дверь, и он обернулся тоже. Саша стояла на пороге спальни.

— Я хотела спросить... Мне уйти? — проговорила она упрямо и беспощадно.

— Никаких порывов. Все это — глупость одна...— бормотал Степан Викторович, покачивая головой.

В зале стоял полумрак, и молодежь танцевала за колоннами медленный танец. Музыка была такой тихой, что казалась самосветящейся, как лунный рассеянный свет. Приглашенные студентами преподаватели давно разошлись. Но... ощущение какой-то незавершенности не позволяло ему оставить эту девицу. Она же туго стянула шаль у самого горла крупной и, должно быть, сильной рукой, покачивалась слегка, слушая музыку. Лицо ее было не лишено приятности, однако линия подбородка обрисовывалась явно тяжеловато. В глазах же, распахнутых, темных, проскальзывало неприкрытое выражение какой-то власти над ним, Степаном Викторовичем, и это было странно.

— В чертах вашего лица я улавливаю нечто бесконечно знакомое,— сказал он.— Вам говорили, что вы похожи на Мирей Матье?

Она кивнула, не взглянув на него, и никак не откликнулась на эти слова.

— Я случайно услышал несколько нелестных слов ваших... в мой адрес,— решился продолжить он,— и знаю, что есть люди, которые... создали мне определенную славу. Славу профессионального ломателя хребтов! — в тоне его прозвучал вызов и едва ли не гордость.— Есть такие люди. Они распускают обо мне эти ужасные слухи везде. Впрочем, на весь свет не угодишь,— он мягко улыбался.

— ...Говорят о вас плохо,— равнодушно согласилась она все так же раскачиваясь.

Он покашлял, вопросительно поднял глаза:

— Вы верите этим слухам? Да, у меня много завистников. И, смешно, смешно сказать — кое-кто создает мне славу книжного спекулянта!..

— Это не самое тяжкое обвинение. Хотя это и на самом деле так,— просто отозвалась она.

Определенно она знала его. Но откуда? И почему, собственно, это так занимает его, человека бесконечно далекого от того, чтобы зависеть от чьего бы то ни было

мнения? Что-то было в чертах лица ее такое, что нельзя было оставить неразгаданным. И теперь он уже боялся, как бы она не встала и не ушла совсем. Степану Викторовичу хотелось ясности.

— Ну, скажите же мне еще, что я хожу в анонимщиках! Недурное обвинение для полного комплекта?! Что из ненависти ко всяким выскочкам!..— он внезапно и сильно взвинтился, и говорил теперь резко, и даже щурился от страстного и будто сладостного приступа самобичевания: он с ужасом понимал, что его понесло — и... не мог, впервые в жизни не мог остановиться.— ...Что у меня есть мелкая, подлая страстишка — подсекать! Подсекать этих выскочек! Чтобы не воображали, что им дозволено больше, чем другим! А? — с угрозой допрашивал он.

Она смотрела на него с бесконечным удивлением:

— Мазохист вы, что ли?

— А вот этого, детка, за мною никто никогда не наблюдал! Этого греха на моей совести — нет!

— Да... — вяловато отозвалась она.— Это на вас не похоже.

Степан Викторович без нужды принялся разбалтывать соломинкой коктейль, стараясь взять себя в руки и не понимая своей выходки совершенно.

— Довольно. Мы с вами знакомы? — напрямик спросил он ее.

Она долго и безучастно смотрела на танцующих, в сторону. И наконец подняла голову.

— Да. Наверно, мы знакомы. У вас в квартире... очень много книг. Ими заставлены все стены. Даже в прихожей у вас — книги. И рояль в большой комнате. Беккеровский. А на нем — посмертная маска Бетховена. Белая. Маленькое гипсовое белое лицо... По ночам вам страшно на него смотреть.

— Ах, вон что...— облегченно вздохнул он.— Была у меня короткая пора, после того, как от меня ушла жена... Когда ко мне приходили студенты, мои студенты некоторые, сейчас всех и не вспомнить. У меня еще появилась тогда японская стереоаппаратура. Я создал наконец-то тогда свой храм и... У меня совершенно уникальные записи скрипичных концертов. Которые я, кстати, приобретал, продавая очень дорогие для меня книги! Ничего-то не дается без жертв, и... какой мы все же нищий народ! ...Вы, видимо, приходили т о г д а !

— Есть люди, которым пожизненно суждено ощущать себя нищими,— безо всякого выражения сказала она. И удивительно уверенная ухмылка тронула ее крупные, гру-

боватые губы.— Скажите, а вам действительно до сих пор не дают покоя эти книги? ...Не зря же вы так... разволновались сейчас.

— Вы все время кутаетесь,— поспешил сказать он.— Вам холодно?

— Вы про шаль? Нет. Не холодно,— она подумала — и рассудительно объяснила.— Я беременна. Нет, я ничего не стараюсь скрывать, но... мне кажется, что так...

— Вы замужем?

Она молчала. Молчала долго.

— Юридически — нет. Вас ведь это интересует?

— Хм...— сочувственно сказал он.— Тогда понятно, откуда она, эта привычка прикрываться. Вам, видимо, неловко перед сотрудниками на работе... Подсознательно хочется прикрыть... Замужние женщины ходят иначе. Да! Как бы мы ни считали, что мы н а д правилами приличия, однако... Правила игры существуют, и...

Она резко двинула локтем, стакан из-под сока упал со стола, и Степан Викторович невольно напрягся, ожидая услышать звон бьющегося стекла. Но звона не последовало. Она быстро подхватила стакан со странной в ее положении легкостью.

— Видите ли,— сказала она, держа стакан на ладонях прямо перед собой и разглядывая его самым внимательным образом,— я не из тех, которые принимают условия л ю б о й игры, навязываемой обществом. Тех правил, которые не соотносятся... с совестью, я...

Он не дал ей договорить:

— Вы знали Ахурова! — в полной уверенности, что это так, сказал Степан Викторович, сказал жестко и выставил вперед палец.

Она только прищурилась. Глядя на него по-прежнему сквозь неразбившееся стекло, с вяловатой улыбкой повторила:

— Я не принимаю правил игры. Если они не соотносятся с моей совестью.

И тогда он рассмеялся:

— Правила игры вынуждены принимать все! Все! — и уже сердито добавил: — Или выходить из игры, или принимать ее правила. Среднего не дано. Я надеюсь, вы понимаете, что я подразумеваю под этими словами? Ведь сама жизнь — это довольно запутанная, но в общем-то примитивная игра. Как это ни покажется вам циничным. И пока мы ж и в е м — мы эти правила принимаем. Лишь в силу этого мы живы. Иного не дано. Третьего не дано!

И он рассмеялся в полной уверенности в своей правоте.

После отъезда Катерины из Москвы в доме Степана Викторовича все неуловимо изменилось. Тая вернулась вскоре из Улан-Уде и почти не разговаривала с ним. Он пытался сгладить отношения, вернуть их в прежнее течение — но стоило ему сказать любой пустяк, как лицо Таи становилось еще более отстраненным, и выражение непритворной брезгливости стало пугать Степана Викторовича: он заподозрил, что с этим ему уже не справиться. Враждебность шла отовсюду — от Таи, от Нины, так сразу и надолго запомнившей Сашу. «Ты не женишься на ней!» — это было похоже на истерику, и ничего другого, как отстраниться на время от Тарутиных, Степану Викторовичу не оставалось. К тому же эта дурацкая Нинина выходка со стрихнином... Но по-настоящему он боялся только одного: что вышедшая из-под управления Нина вздумает исповедоваться перед Павлом. Что будет со службой в таком случае, становилось непонятно.

Скверно. Все было скверно. А ведь какими простыми казались ему отношения с Ниной на протяжении многих лет! Они никак не мешали его жизни — наоборот, удобны были те мимолетные, ни к чему не обязывающие связи с женщинами! Мало что давали они сердцу, но проблем — не было никаких. А с Сашей... С Сашей надо было что-то решать. Ну не жениться же на ней в самом-то деле?

— Какой сон мне приснился...— неразборчиво говорила Саша,— неразборчиво, хрипловато, еще не подняв лица от подушки.

Было утро, их с Сашей утро — Тая неожиданно уехала в Сибирь, уехала на полгода, ее командировка была связана со строительством нового города.

— Миленькая,— Степан Викторович гладил Сашин подбородок.— Мне хорошо с тобой. С тобой удивительно хорошо.

— Какой сон...

— У тебя кожа чудная... Бархатная...

— ...Знаешь... Деревянные кадки, ковши с водой на широких деревянных лавках стоят,— она прокашлялась со сна, прикрывая рот ладошкой.— Их много! И я во все заглядываю по очереди. И вижу себя в них. И мое лицо... Мое лицо смотрит на меня из них, знаешь, с угрозой! Страшное, осуждающее мое лицо на меня смотрит. И я боюсь смотреть на себя — и трушу ужасно, и — смотрю. Вдруг вода разошлась кругами. Широко разошлась кругами. И теперь это стало озеро. И вода на озере полы-

хает... низким голубым пламенем. И стоишь на берегу — ты. А рядом с тобой — ребенок. Твой и мой ребенок. Но меня рядом с вами нет. Просто я все это вижу. А из огня, из озера выскакивают лягушки. Знаешь, хорошие. Какие — в сказках. Растерянные лягушки. Спасаются от огня, выскакивают!.. И ты говоришь ребенку: «Бросай!» — и показываешь, как это надо делать. Хватаешь лягушку — и швыряешь в огонь. И он тоже ловит, ловит лягушку. И тоже бросает. И весело ему! И вот меня там нет. А я кричу, кричу ужасно, страшно мне! Я тебе кричу: «Зачем? Зачем?» А ты оборачиваешься медленно-медленно. И говоришь: «Я научу его стрелять в иконы. Надо всех научить этому. Важно, чтобы у всех притупилась способность ощущать. Нам! Нам это необходимо». И сердишься, что я не понимаю ничего. «Я научу его стрелять в иконы. Я благодарен тем, кто научил меня стрелять в иконы. И когда это будут уметь все, то уже никто на свете не сможет угадывать чужое чувство, и все разучатся проявлять свое чувство, свое собственное. Важно, чтобы у всех притупилась возможность ощущать. Я хочу жить без глаз, заглядывающих в закоулки моей души. Ведь все мы носим в душе своей темные закоулки. И не к чему их разглядывать во мне каждому встречному!.. Он тоже научится этому, и никто никогда не разглядит его прошлого. Тогда люди станут неуязвимы и трезвы, они станут исполнительны — и только. И никаких иных претензий друг к другу у них не будет: исполняй — и ты свободен от подглядывания... Он — вырастет неуязвимым!» — Она задохнулась в волнении.

— Ну, миленькая... Это уж и не сон, а не знаю что! Как же ты запомнила такой длинный монолог? — Степан Викторович отнял руку от подбородка, от шеи ее и повернулся на спину, нехотя посмеиваясь.

— Подожди! Ты перебиваешь меня! А потом ты сказал. Подожди, потом ты сказал как-то непонятно... «Я научу его стрелять в иконы, и тогда я буду спокоен: он не узнает ничего про столб мысли, и никогда не потребует отчета от меня, как я вместо... как я жил вместо...»

— Саша! Не пугай меня! — перебил он ее.— Ты не подозреваешь, какую ты чепуху мелешь.

— Такой сон мне приснился...— оправдывалась Саша.— Я помню каждое слово твое. Я... Я даже переврать ничего не могу! Я каждое слово твое в том сне еще слышу. Прямо вот сейчас — слышу!

— Саша, не кричи. Ты же кричишь!!!

— Ужасный сон...

— Ты только притворяешься нормальной!!!

— ...Почему ты никогда не говоришь мне про то, как ты... где родился?

Он посмотрел на нее с бесконечной неприязнью:

— Тебе нужно уйти сейчас. Ко мне могут прийти с работы. Тебе нужно уйти.

— Зачем?.. Разве ты меня не любишь?

— Я — женат! Мы не можем, не умеем уже скрывать на людях наших отношений. Чтобы сохранить то, что между нами, надо... соблюдать правила игры. Я не хочу тебя терять! Нет, ты ничего не соображаешь. Глупенькая. У нас впереди — столько времени! Чтобы не потерять его...

— А... разве оно кончится когда-нибудь?..

— Как это вы сказали? — переспросила она, закутываясь в шаль.— В противном случае игра выбрасывает нас из себя? Третьего не дано? — и задумалась о чем-то.

— Третье может существовать только в воображении. Но не в реальности.— Он покровительственно улыбнулся.— Третье — по ту сторону реального. От третьего нас надежно удерживает инстинкт самосохранения.

— Подойдя к стене, следует решить, что здесь кончается мир,— в тон ему продолжила она.— Если я не вижу того, что за стеной, значит, там ничего нет.

— Вы перечите нашему поколению из молодой потребности перечить старшим! Так и должно быть. Вам в реальном бы мире сначала разобраться...

— Как это у вас запросто получается... Говорить от имени поколения. Ну что ж, давайте попробуем в реальном разобраться. Если вам так хочется. Только — начиная с вас.

— Сделайте одолжение, детка.

— Я вот смотрела на вас — и думала... Какая же от вас польза? Вот — ценитель прекрасной музыки, живописи, книг. Но может ли человек мыслящий всю жизнь только брать из мира? Ничего не давая ему взамен? Может быть, я не права в достаточной мере, но трагедию вашего поколения я вижу в том, что брало оно из мира гораздо меньше, чем хотело бы: оно искусственно переключило себя на то, чтобы давать, давать, не обладая — я говорю об известных фильтрах, сквозь которые просачивалась к вашему поколению мировая культура. Это трагедия поколения. Но вы — вы умудрились, Степан Викторович, брать и в этих условиях. А дали-то — что?

Степан Викторович с ненавистью уставился в ее переносицу.

— ...А вот я — горжусь тем, что я в своей жизни никогда и ничего не создал! — процедил он сквозь зубы.— Горжусь! Кандидатская моя не в счет. Я всегда знал ей цену. И знал, для чего она мне была нужна. Занять определенное положение в обществе. Занять ячейку! Да, я пересказывал студентам то, что они и без меня могли бы прочесть в учебниках, впрочем, написанных в основном такими же, как я! Так что не будем отторгать меня от моего поколения, детка! Хотя, впрочем, каюсь... создал! — он расхохотался.— Я создал в своей жизни стихотворение! Не пугайтесь — оно всего из двух строк! «Я иду — на огород. А жена — наоборот».

— Вы юродствуете...— сказала она равнодушно.

И Степан Викторович почувствовал неодолимое желание сказать ей что-нибудь... чудовищно гадкое. Внимание его ушло от лица ее и сосредоточилось на джинсовом нефирменном платье с множеством карманов: «Вы — Венера с ящиками!» — захотелось крикнуть ему. А потом встать и уйти. Но взгляд, брошенный на шаль, заставил его сдержаться.

И тогда он сказал:

— Вы знаете, а у меня никогда не было детей.

И подумал: «Зачем я сижу здесь и толкую что-то первой попавшейся...» Сегодняшний вечер как-то неуловимо, непостижимо, непонятно выбил его из колеи. Мелькнула опасливая мысль о старческом маразме — мелькнула и пропала: чушь, он сегодня отчего-то не владеет собою. Но и только. Какой к черту маразм? Но продолжил, однако, доверительно, походя отыскивая в этой интонации сильный сладкий оттенок самообнажения, известный разве что больным эксгибиционизмом:

— Заводить детей в молодости — хлопотно, рискованно, нецелесообразно, это могло помешать многому. А потом оказалось поздно. Да я и не жалею, впрочем, об этом. Я ведь создавал то, что мне было по силам создать! И что нужно было — мне! Мне одному! Я создавал свою среду обитания. Не хватало еще в моем храме орущих и что-то требующих от меня чад! Да! Да! Да! Отличный рояль! Уникальные записи! Редчайшие книги! Самые редчайшие! Мне достаточно руку с дивана протянуть... У меня есть все! Кто может в этом состязаться со мной? Таких не много, детка. Более того — я счастлив, что от меня сбежала жена! Чудная женщина, что и говорить! Не догадайся она сбе-

жать, я бы вряд ли создал свой храм!.. Я выстроил жизнь по принципу наивысшей целесообразности. Я ни в ком не нуждаюсь. Я не нуждаюсь в пресловутом стакане воды, который мне будет некому подать! И меня так просто не возьмешь! Я сохранил себя лучше, чем многие другие, закончившие инфарктом и инсультом на почве зависимости своей от... близких! Ха-ха... Впрочем, она, жена моя, сбежала единственно потому, что мне было так надо! Там были свои переливы настроения, но подсознание мое само вело меня по пути наивысшей целесообразности!

Он осекся и поднял бровь, пораженный своею болтливостью.

— «Разорите храм сей, и в три дня воздвигну его...» — покачала она головой.— Все-то у вас наоборот. И храмы у вас другие... Храм-то ваш — не храм души. А то, что вы себе натащили... Но вы — умрете насовсем! И храм ваш пойдет прахом, и не воскреснет никогда. Люди растащат то, что вы накопили, но растащат — такие же, как вы.

— Ну, знаете...— он почувствовал вдруг, что смертельно устал.— Вы меня в чем-то уличаете? А? У меня такое чувство с первого взгляда на вас, что вы меня в чем-то уличаете. Что вы специально пришли сюда... смотреть на меня, как на экзотического зверя и... уличать!!!

Она как будто хмыкнула, не отрывая взгляда от больших своих рук, лежащих на коленях, и отвечать явно не собиралась. Он огляделся. За сдвинутыми в ряд столиками оставалось не так уж много людей, да и те были готовы в любую минуту подняться и уйти. Швейцарша перестала дремать на своем стуле около самой двери, и что-то неслышно бормотала сама себе, разводя руками и не замечая, что жестикулирует в лад бормотанью. Он торопливо поднес часы к глазам,— и тут же забыл, который час показывали стрелки.

— Мне неловко признаться вам, но я не помню, как вас зовут,— сказал он.— А судя по тому, что вы разок назвали меня по имени...— сказал он и не закончил, выжидательно выгнув шею.

— Я ношу то самое имя, которое принадлежало вашей матери.

Он откинулся на спинку стула, ему стало душно на мгновенье. Никто в этом городе не знал имени его матери. И он мог поклясться в этом. Чушь, какая-то. Чушь! Нет, не зря она сразу стала притягивать его внимание, да так, что отделаться от этого нельзя было, не зря...

— Прощайте! — сказала она, поднимаясь.— Мне пора.

— Подождите минуту! — беспокойно крикнул Степан Викторович, и кинулся за нею следом, припадая на левую ногу.— Подождите!.. Да! Я ничего не создал!!!

От волнения он кричал на весь зал и был похож на пьяного. И испугавшись, что на них смотрят, закричал еще громче, и теперь уже как будто не только для нее, но и для тех, кто оставался в зале.

— Да! Я прохалтурил жизнь! Но я никогда не опустился до того, чтобы встать в один ряд с жалкими творцами, разбивающими свои лбы о стены и не способными понять тщетности своих усилий! И не вам судить меня! Шекспирам в юбках, Леонардо из Бердичева, Бодлерам из Сызрани!!! Жалкое время жалких творцов!!! Шекспиры из Урюпинска!.. Шекспиры... из Урюпинска...

Она вдруг подошла очень близко и сказала тихо:

— ...А я нахально думаю, что именно во мне собралось все, что накопили великие — каждый в отдельности. И только я смогу сделать то, что не сможет сделать никто, кроме меня. Как это ни нелепо по-вашему.

Он не дал ей договорить.

— А вы!..— уставил он на нее длинный свой палец.— Вы, воображающая, что вы чего-то там можете, вы — ...нелепы!!! — он обвел руками вокруг себя.— Вы — все! — смешны! Смешны в своей претенциозности! Вы — ничто, как и я! И я не устану вам это доказывать всеми, всеми средствами, лю-бы-ми! Вы самоуверенны — потому что вы безграмотны! Ваша самонадеянность — самонадеянность хамов! Темных невежественных хамов, читающих на ночь сборник гималайских сказок! Я всю жизнь доказывал вам это, даже тогда, когда вы этого не подозревали! И вы оставались в дураках неизменно! Я вас переигрывал! Всегда!

Она зябко поежилась и пошла к выходу.

Лысеющий и знакомый ему откуда-то организатор подбежал, участливо заглядывая в глаза сквозь дымчатые очки:

— Что-нибудь случилось, Степан Викторович?

Но он все смотрел белым незрячим взглядом на молодые лица сидящих за столами и не проявляющих к его выходке никакого интереса людей, и обессиленно бормотал:

— Хамы... Хамы...

Степан Викторович пошел к вешалке, сильно прихрамывая, она стояла перед зеркалом и заправляла волосы

под шаль. Явившийся откуда-то биолог, улыбаясь, подавал ей пальто.

— Я, пожалуй, зайду к вам завтра. В пять.— Неожиданно сказала она Степану Викторовичу.

Он остановился, набрал в легкие воздуха, чтобы ответить ей тихо и подчеркнуто вежливо: «Ни-ког-да!» Однако вместо этого пробормотал раздраженно и слабо:

— Мы действительно не договорили. Придите. Завтра в пять. Я вас очень прошу. Прошу вас.

— Ну, будет вам...— она коснулась рукою его плеча мягко и покровительственно.— Я приду.

Биолог и она вышли. И Степан Викторович остался у зеркала один. Он сжал лицо руками, медленно приходя в себя.

— Старик! — прошептал он — Я — старик!!! Вот оно что!..

...На улице шел снег. Обильный, сырой, он падал на подтаявшие тротуары, и там, где проходили люди, оставались темные глубокие следы. Нарядные огни светофоров слабо пробивались сквозь пелену падающего снега, и медленно, очень медленно двигались по проспекту машины, неся перед собою нерассеивающийся свет фар. Степан Викторович посторонился, прижался к стене — рослая красивая женщина в меховой шубе катила перед собою по узкому тротуару детскую оранжевую коляску. Он дал женщине обогнать себя, но, обогнав, она не спеша развернула коляску и направилась ему навстречу. Он прошел мимо, прижимаясь к стене, и еще раз посмотрел ей в лицо, бездумное и ясное.

«Что происходит? — думал он.— Какая-то раздвоенность. С появлением этой девицы вдруг пошла какая-то раздвоенность. Будто что-то отдирается от меня в прямом физическом смысле,— он поморщился, вспомнив, как маленький доктор снимал гипс с его ноги.— Скверно. Я поступаю не так, как я хочу. Скверно. Я стал плохо подчиняться себе,— однако это чувство было не так уж незнакомо ему; он мучительно поморщился, пытаясь вспомнить, откуда известна ему эта неуправляемость собою, в слабой, совсем слабой форме — но известна. Когда-то он сумел как будто с этим справиться... Но только помотал головой, так ничего и не припомнив.— Скверно...— повторил он про себя.— И это беспокойство... Будто сам себя усадил на скамью подсудимых. Ведь я сам, с а м весь вечер провоцировал это, вот что ужасно! Явилась какая-то беременная ревизорша, и я, будто только этого

и ждал, я сам устремился к ней! Заинтриговала. Назвала имя матери... И всему этому наверняка найдется простое житейское объяснение, наверняка — банальное. Ничего сверхъестественного на свете не бывает! Но откуда ей известно?.. Не ясновидящая же в самом деле?..

Все объяснится со временем... А если у меня уже не осталось... времени? — он с опаской стал прислушиваться к ударам сердца: толчки показались ему неровными, неприятно частыми.— И потом... потом, будто сам разум мой отказывается искать... житейское объяснение происходящему, он явно уходит от такого поиска и противится ему!!! Что это? Старческая инфантильная тяга к чуду? Ерунда... До этого он еще не дожил! Только не впадать в детство! ...Может, потеряв веру в божий суд, мы ищем его на земле? А? И сами, сами себе норовим устроить его при жизни? Ведь казалось же, казалось же временами, что придет н е к т о, неизвестно в чьем обличье, и с п р о с и т! Придет некто — и спросит.

На перекрестке он остановился, ожидая зеленого света. На той стороне дороги стоял на тротуаре щуплый, печальный милиционер с красной папкой под мышкой и тоже смотрел на светофор. Вспыхнул желтый свет, и наконец зеленый. Милиционер не двигался.

Потом загорелся желтый, красный... и снова — зеленый, Степан Викторович сделал шаг на мостовую — и в ту же минуту навстречу ему шагнул печальный милиционер. Они прошли, едва не задев друг друга плечами, и, перейдя улицу, одновременно обернулись и посмотрели друг на друга долгим, бесконечно долгим взглядом.

Это старость,— снова подумал он, шагая домой.— Нога так не беспокоила, а тут... Беспокоила, конечно, но не так же! Ломота какая-то... Впрочем, погода дрянная, вот и все. Хм... Я всегда боялся милиционеров!»

«До какой выходки опустился... Обозвал всех хамами...

Но... я сказал им правду! Конечно, правду, но тошно, тошно! Какая-то умственная жвачка. Я жую одно и то же. Что творится со мной... Все пройдет. Пройдет само собою. Видно, и это надо пережить человеку. Пережить как-нибудь полегче, вот в чем задача. Все пережить полегче, все, что неприятно!

Так решил он, входя в прихожую. И тут же зажмурился и замотал головой. Квартира вдруг показалась ему той, прежней, в которой он жил с Таей до размена. Все, однако, сразу стало на свои места, и только дыхание не выравнивалось досадно долго. И отчего-то ныла и ныла душа, и не было в ней привычного, непоколебимого покоя.

И еще... ему хотелось кричать. Кричать во всю глотку, до хрипа. Покричать минуту, две, три — и свалится с души весь этот морок!

«Мендельсон, Мендельсон...» — подумал он, как будто торопливо попросил лекарства у самого себя.

Не снимая тяжелого коверкотового пальто, он упал в кресло, опустил иглу на диск и выключил торшер. Беспокойный страдающий голос скрипки подхватил захворавшую душу его, и понес ее, как ребенка,— над миром, над мукой, над безвозвратностью жизни. Она жалела его, скрипка, она уговаривала и скорбела, и возносила светло и трепетно грешную душу его.

— Мать...— беззвучно выговорили губы — беззвучно, благоговейно.

Александра,— прозвучал, словно резкая, чужая нота, негромкий, но явственный голос в мозгу. Он вздрогнул.

...Он вспомнил мать свою, босую, неповоротливую женщину в грязном переднике, хранящем запах сарая, коровьего молока и печной гари. Пальцы ее, потрескавшиеся у самых ногтей, — коротких, неровно стертых от стирки... И неумелую, широкую улыбку ее на темном лице. Он вспомнил солнце, нависшее над мусорной кучей за огородом, и себя, бегущего к матери с зеленой бутылочной склянкой, зажатой в кулаке до боли.

...Отец возвращался с найма, с грохотом опускал на пол мешок со столярным инструментом, потом рылся в кармане штанов и протягивал ему коричневатого, мутного петуха на длинной деревянной ноге.

— Смотри-ка, кочета тебе привез,— говорила мать, повернув голову от шестка, глядя с интересом, будто видела леденец впервые в жизни.

Леденец было жалко лизать просто так, и он шел к Ильке. Илька собирался лезть на сеновал, потом раздумывал. Садился на нижнюю перекладину лестницы и чесал колено. А он останавливался поодаль и часто нюхал пахнущего горелым сахаром петуха. Потом крутил его на круглой струганой палочке — и медленно лизал. Илька смотрел, а он лизал еще и еще.

Однажды Илька не стал смотреть, а сразу хмыкнул и поднес к сощуренному глазу зеленое стеклышко, а другой крепко зажмурил. Задравши голову, Илька ловил осколком солнце и не обращал уже никакого внимания на

его леденец. Он подошел еще ближе к Ильке. Петух очистился от редких крошек и стал меньше, но прозрачней. И Степушке уже до смерти хотелось поглядеть в зеленое стекло тоже. Но он понимал, зачем Илька так нарочно смотрит в бутылочный осколок: потом Илька попросит лизнуть леденец. Чтобы не маяться, он ушел с Илькиного двора и дососал леденец безо всякого интереса, потому что смотрел себе под ноги. Зеленого стеклышка ему не попадалось.

Но скоро он нашел такой же осколок — даже больше, гораздо больше. И глянул, и увидел нарядный зеленый мир. А потом повел стекло выше. Тогда его позвала с крыльца мать. Он заспешил и, подбегая, торопливо спросил про солнце:

— Смотри, я нашел!.. Оно зеленое?

Мать подхватила его на руки, больно отерла передником заветривший нос и сказала, прижимая к себе:

— Знамо, зеленое! Какое же еще... Зеленое. Обрежешься. Давай сама покажу тебе.

Она разжала его пальцы, осторожно взяла стекло и подержала немного у него перед глазами.

Он не помнил, он никогда не мог вспомнить, что же увидел он тогда. А от лица ее, от постоянно меняющихся зеленовато-карих глаз, сощуренных в неумелой улыбке, шла теплая, ласковая волна, согревающая мир...

Тогда еще отец был не хворым, и, возвращаясь с найма, не кашлял, зажимая рот худою рукой. Он не озирался по сторонам в собственной избе, как в чужой, и не задерживал настороженного взгляда на ситцевой занавеске, которой был задернут закуток по ту сторону печи. Он не закашливался до слез и не говорил матери, натужно улыбаясь:

— Толстеешь, зараза...

И у матери еще не было привычки пугливо одергивать и оправлять подол, встречая отца.

Он вспомнил ее.

Но неожиданные, много лет нетревожимые воспоминания удивили его, и он вдруг понял, что десятки лет слово «мать», даже при жизни ее, не вызывало образа той толстой женщины в грязном переднике. Он повторял иногда при случае это слово. Но неизменно представлял совсем иное женское лицо — лицо-символ, несуществующее, благородное, со слабой всепонимающей улыбкой, словно начертанное чьими-то легкими и неспешными штрихами.

Сейчас понял он: его мать не имела ничего общего с вымышленным окультуренным ликом, который так приятно было представлять. И десятки лет не вспоминал он имени ее, имени женщины, породившей его когда-то для счастья.

После госпиталя он не вернулся в те края. А она не особенно надоедала ему письмами, написанными чужим почерком. Однажды — это было после защиты кандидатской, он написал ей большое письмо, единственное письмо, написанное не впопыхах. Письмо было хвастливым. Но не очень. Оно только давало понять, что сын ее устроился в жизни хорошо, но эта самая жизнь его, чем легче она кажется другим, тем тяжелее становится на самом деле для него самого, и что он себе — не хозяин. Он писал о том, как бездумно растраченный час может обернуться для него крушением всех надежд, но что иного он и не представляет, потому как обречен на высокий и трудный полет... Она как будто и вовсе перестала писать после этого — пара весточек пришла от нее за полтора десятка лет. А потом пришло письмо неизвестно от кого, написанное старательным детским почерком и без единой грамматической ошибки: «Степан Викторович, здравствуйте! Мама ваша очень плохая. Она не велит писать, но болеет уже давно. Извините за беспокойство. Мы взяли ее в избу. До свиданья».

Он ждал тогда приезда жены из Сибири: из своей полугодовой командировки Тая возвращалась в Москву на десять дней. Однако приехала позже, чем обещала. Квартира наполнилась запахом дорогих лосьонов, маникюрных лаков и легкими клочками ваты, которые оставались у кресел, на диване, на кухне — везде, где присаживалась она на минуту. «...Ужасно запустила себя...» — быстро проговаривала она — и то протирала лицо, то массировала шею и округлые белые локти и все с тревогой посматривала в зеркало.

— Кажется, я выхожу замуж,— сказала она ему сразу, еще не отдохнувшая как следует с дороги.— Кажется, я выхожу замуж. Поставь мне горчичники. Есть у тебя горчичники? Простыла...

И стала снимать кофту, сорочку. Он ничего не ответил на это и не совсем поверил ей.

Потом она принялась заниматься собою, проговаривая что-то и не замечая этого. И среди парфюмерных запахов и крошечных белых клочков ваты, разбросанных там и сям, он прочитал последнее то письмо, написанное все тем же детским ровным почерком, сообщавшее, что мать его, Александру Егоровну, «похоронили в субботу», и что «до-

лго думали все, давать телеграмму или нет, но потом не дали, потому что Александра Егоровна перед смертью сильно наказывала телеграммы не давать, чтобы не беспокоить «вас как ученого человека», и говорила, что дорога трудная, длинная и что она за это время мертвая «пропадет».

Жена поднесла письмо к глазам, близоруко сощурилась, прочла. И хмуро сказала:

— Я уеду отсюда насовсем. А ты поезжай туда. Остался дом. Ты захочешь его продать.

И посидела некоторое время, ничего не протирая, а держа клочок ваты без дела.

Он проводил жену. На перроне, перед посадкой, его, навьюченного чемоданами, остановила сотрудница по институту, низкорослая Валентина Дмитриевна,— она уезжала этим же поездом в отпуск.

— Кого провожаете? — любезно спросила она.— Или сами?..

— Провожаю. Невесту,— коротко буркнул Степан Викторович.

— ...Это какая-нибудь аллегория? — не поняла Валентина Дмитриевна, которую Степан Викторович звал про себя «женщина-пенек».

— Да нет. Тут не до аллегорий.

Оказалось, что Тае и Валентине Дмитриевне досталось одно купе. Это было досадно почему-то. Степан Викторович торопливо рассовал чемоданы той и другой,— обе они вызывали у него теперь сильное раздражение, и вышел, не помедлив ни минуты и не прощаясь. Но на перроне стоял в стороне от провожающих до тех самых пор, пока поезд не тронулся и не прошел. Тогда он, наклонив голову набок и разглядывая вагоны, двигающиеся все быстрее и быстрее, проговорил вслед с равнодушным и коротким вздохом:

— Поехали. Две змеи.

И передернув плечами, направился к кассе предварительной продажи билетов.

Он отправился в дорогу через три дня — Саши он так и не дождался — и ехал на медленных поездах с пересадками, на рейсовых автобусах и попутной машине. А последние семь километров — от центральной усадьбы до отделения — и вовсе шел пешком, рассуждая о том, что торговаться не стоит: дом наверняка обветшал, и продать его надо сразу, за первую предложенную цену.

Какая-то чужая, неузнаваемая, плохо наезженная до-

рога вела его мимо незнакомых ивовых кустов, устало нависших над пересохшей речкой. Потом взгляду открылся десяток домов, стоящих в странной пугающей немоте. Он понял, что попал в брошенную людьми деревушку; тускло смотрели стекла пустых окон на заросшую сорной травой единственную улицу, хотя калитки — все до единой, были аккуратно притворены, и только повалившиеся кое-где звенья серого штакетника, уже пробитого травою меж старых досок, открывали сквозную картину запустения и заброшенности.

Он вошел в дом свой — неприятно проскрипела открываемая им дверь и тут же слетела с верхней петли, кривобоко осела и замерла. Темные шары шевельнулись на полу, норовя разбежаться, но успокоились и только настороженно вздыбили иглы — изба с широкой самодельной кроватью, застеленной лоскутным одеялом, с голым дощатым столом и кухонной полкой, задернутой ситцевой тряпкой, была заселена ежами. Тихий непонятный ровный шорох раздавался из окованного сундука в углу. И сильно и сухо пахло мышами.

Степан Викторович попятился. Оставив дверь распахнутой и все так же криво держащейся на одной нижней петле, он отправился на кладбище, не помня, но угадывая, где должно было оно быть.

Он угадал и могилу, хотя ни креста, ни памятника, ничего не было над бугром земли, еще не осевшим и потому высоким,— единственным бугром, на котором не взошла трава, и лишь одинокая бледная сурепка, изогнувшись, вытягивалась из-под тяжелого кома глины и слабо шевелилась на ветру. Голый этот бугор ничего не сказал сердцу. Лишь страшновато касалась души сонная полдневная тишина, усыпляющая и ослепительно мрачная. И текучий солнечный свет, пустой и жаркий, лился в могучем, властном своем величии и царил над бесчувственным пространством, среди которого терялось небольшое, убогое это кладбище, не огороженное и волнисто переходящее в луга и холмы. И чахлая роща на горизонте была тоже чем-то вроде зеленого холма, над которым зависло длинное неподвижное облако, так неправдоподобно отчетливо видное в своем далеке, словно было совсем рядом.

И снова Степан Викторович шел брошенною деревней, но остановился, почти напуганный явственным стуком и бряцаньем пустого ведра. Он пошел на стук — и оторопел, увидев прибранный огород с широкими грядками и занавески на окнах. Скрип половиц раздавался совсем рядом,

за низким забором, в сенях. Тонкий, невероятно высокий голос пропел что-то беспечальное — и стих, словно тот, кто пел, ушел в глубь дома, притворив за собою дверь. Потом зазвенел снова за дощатою перегородкой сеней, рядом со Степаном Викторовичем, зазвенел негромко и чисто, с глубокими и долгими перерывами:

— ...Ты ль река-а-а... моя ль ре-э-э-эченька...

— ...Ты течешь-течешь... не колы́бнешься...

— ...Ты ль дитя-а-а, мое ди-и-итятко...

— ...Ты сидишь-сидишь... не улы́бнешься...

Степан Викторович скорым шагом прошел через двор и, не постучавшись, просто, как к себе домой, вошел сначала в сумрачные чистые сени, потом — в хорошо убранную горницу. В дальнем углу избы — окна от жары были занавешены цветастыми занавесками,— под образом, единственным и темным образом, обвитым бумажными цветами, невообразимо далеко, казалось, от него, Степана Викторовича, сидела девочка годов тринадцати с тугими темными косицами, причесанными на прямой пробор, и мрачно смотрела на вошедшего, не шевелясь в своем углу.

Боясь напугать ее, он сказал тихо и весело:

— Ну вот, нашел я тебя хотя бы, здравствуй. Где же ваши взрослые?

— ...Уехали. На кукурузе. Вечером будут,— сипловато и не сразу сказала девочка.

— Не страшно тебе тут одной?

— Тут нет никого. Не страшно,— все так же, не двигаясь, произнесла девочка и лишь переложила косицу за спину.

Огромная серая муха с жужжанием стала летать по горнице, и девочка теперь следила за нею глазами, но довольно равнодушно.

— Похоронили по-хорошему,— сказала девочка, не поворачивая головы; муха билась в стекло где-то под занавеской, и девочка смотрела туда.— Из совхоза приезжали.

Она явно повторяла чьи-то чужие слова — они звучали по-взрослому и были просты и обстоятельны.

— ...Деньги совхоз выделял. И поминки для совхозных справили. Похоронили по-хорошему.

Она замолкла.

— Это хорошо, что по-хорошему,— сказал от порога невообразимо далеко сидящей от него девочке Степан Викторович, и, словно оправдываясь перед нею, пояснил: — Я был. На кладбище.

Девочка, немного поколебавшись, привстала было, со-

бираясь что-то сказать или сделать. Но снова села и будто застыла.

Он вышел.

...Щелкнул автостоп. Степан Викторович включил свет, уложил пластинку в конверт и огляделся: в молочном свете люстры мертвенно белела на черном, уставясь на него слепыми глазами, маленькая маска.

Он никому не сказал тогда ни о кончине матери, ни о своей поездке, но уже к концу лета стал часто задумываться о смерти. Сашу Степан Викторович так и не видел, и поздно, гораздо позже многих узнал о том, что она, неожиданно для всех, стала женой Ахурова. Он дотошно выспросил, когда именно это произошло, и предчувствие его подтвердилось: в те самые дни, когда не стало матери его Александры Егоровны. Еще Степану Викторовичу было сообщено, что Саша и Ахуров собираются уезжать куда-то под Кокчетав, куда «колония разума» съезжается в период отпусков, и где в складчину построен ими дом с зимним садом и с огромной библиотекой. Дом числится за местными газетчиками, мужем и женой, уже на протяжении пяти лет служит прибежищем всякому единомыслящему, особенно же в пору трудную. Потому что де «колонисты» от превратностей судьбы застрахованы хуже всех прочих, или даже совсем не застрахованы, и без взаимной поддержки выживать им сложно в эти смутные времена, да еще упорно не кривя душою даже в мелочах. Сколько времени Саша и Ахуров пробудут там — неизвестно, кажется, об этом не знают и они сами. Но сроки могут быть самые различные. А уезжают, кажется, дня через три, если не раньше...

Успокоенная августовской прохладой, неподвижная зелень деревьев отчужденно темнела внизу, под окном. В сумрачные предосенние дни очертанья предметов становятся резче, комнаты кажутся теснее, острее выдаются углы мебели. И сильнее раздражает беспорядок — малейший беспорядок сразу кидается в глаза. В пасмурные дни ближе подступают стены. И люди чаще думают о смерти.

Двое суток Степан Викторович не выходил из дому, в бездумной подавленности слоняясь по квартире. Однако погода переменилась — мягкое, умудренно-спокойное солнце позднего лета осветило город. И Степан Викторович справился с душевным оцепенением последних дней, и выбрался побродить безо всякой цели. Разыскивать Сашу

было уже, видимо, поздно. Он просчитал несколько вариантов, как можно было бы найти ее,— они были так приблизительны, что никуда не годились. Да и зачем? Решительно незачем. На этом Степан Викторович как будто успокоился. Однако прошло время обеда, а он все вышагивал по разным малознакомым улицам, тупичкам, переулкам того самого района, где жил, по его представлениям, Ахуров.

Он увидел ее издали, выходящую из дверей углового хлебного магазина. Следом за нею бежала коротконогая женщина в пупырчатом зеленом плаще и что-то кричала вслед Саше. Саша остановилась, а женщина подбежала к ней и теперь норовила вырвать сумку из Сашиных рук. Саша нерешительно сопротивлялась, но рассмеялась, когда Степан Викторович был уже в двух шагах от них.

— Я смотрю — что такое? Не моя сумка! А мне говорят: вашу девушка сейчас взяла, бегите. Бегите, говорят, только-только вышла!..— женщина и Саша обменялись сумками, и женщина, развернувшись, начала повторять все сначала уже Степану Викторовичу: — А я смотрю — не моя! А моя-то где? Бат-тюшки! А мне говорят...

Степан Викторович стоял перед Сашей и видел, как быстро меняется ее лицо. Волосы у Саши были острижены и собраны на затылке в жесткий и ровный пучок, похожий то ли на кисточку для бритья, то ли на малярную кисть. Он видел аптечную резинку, перетягивающую жесткий и толстый красноватый этот пучок, коротко торчащий на затылке, а женщина уже похлопывала Сашу по плечу и утешала:

— Ничего! А вы и не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь, голубушка. И мы, бывает, всё путаем. Чего в жизни не бывает?..

— Вас дома ждут,— резковато сказал женщине Степан Викторович.

— ...Чего? — не поняла женщина.

— Дети, внуки. Ждут,— объяснил Степан Викторович. И женщина в пупырчатом плаще сразу двинулась по тротуару, покорно опустив голову.

— Ну? Отчего же ты не задашь мне этот свой вопрос? Почему ты не спросишь: «Зачем ты так?» — спросил Степан Викторович Сашу. Она дернулась, норовя обойти его. Он удержал ее за руку и тут же отпустил.

— Не уходи,— попросил он. Саша замерла.

— Как же это так, Саша? — невесело улыбнулся

он.— Ведь мы не ссорились с тобой, правда? Зачем ты... пропала?

Саша наклонила голову, и теперь пучок волос ее торчал прямо перед глазами Степана Викторовича.

— А разве могло быть иначе? — едва слышно сказала она.

— Я нигде не мог найти тебя.

— Ты не искал. Ты же меня... ты же боялся, как бы я... С тобой всё беспросветно было.

— Я не отстранял тебя.

— Ты не удерживал.

— Ах вон оно что! — с любопытством посмотрел на Сашу он.— Я и забыл, что вам без этого счастье не в счастье, когда вас не удерживают. Жаловалась на меня Ахурову?

Саша покраснела, упрямо сдвинула брови и не приподняла припухших бледных век.

— С тобой все беспросветно было,— повторила она.— Безвыходно. Так нельзя со мной. Не могла же я всю жизнь...

— Вот... какие мы гордые. Саша, я... Тая не вернется в Москву. Она подала на развод. Да. Не я. А она. Подала на развод.

— А разве могло быть иначе? — не удивилась Саша.

— Кто же мог предположить, что она не вернется?

— Я знала,— не поднимая глаз, сказала Саша.

— Как же ты знала? — насторожился он.

— Я не знаю...— Саша наморщила лоб.— Я это только ощущать могу. А объяснить — не могу. Ты не поймешь,— она подумала немного.— Я чувствовала, что ее с тобой не будет. Сразу чувствовала. Я знала, что она есть, но около тебя уже тогда как будто было пусто. Понимаешь? Незримого присутствия ее не было рядом с тобой. Вот. Ты сразу был один. Если бы я чувствовала, что она рядом с тобой, у нас бы... ничего не могло бы быть тогда между тобой и мной, понимаешь?! Понимаешь?! У нас бы тогда ничего не было. Не произошло бы.

— Ты любишь его? — усмехнувшись, спросил он.

— Я? — она улыбнулась растерянно и слабо.— Я должна быть с ним...

— А он тебя?.. Ты счастлива с ним?

Она молчала.

— Вы счастливы? — требовал он ответа.

— О каком счастье ты говоришь? — голос ее дрогнул и сорвался.— О какой любви ты говоришь? Ты ведь не

о той любви говоришь. Как можно спрашивать так, когда и он и я — мы выживаем, мы помогаем друг другу выжить. Мы вместе — выживаем, глупый ты человек. Ты же о другом счастье спрашиваешь, а про это ты не поймешь! И отношений наших ты не поймешь, они совсем не такие, какими кажутся всем, тебе... О чем ты толкуешь? Все у тебя со своей колокольни. Это отношения из другой системы. Не из твоей! — она сердито оглядела его и надулась.

— У тебя некрасивая прическа.

— Да,— кивнула она с готовностью.

— Можно тебе будет... зайти ко мне? Попрощаться. Так скажем. Ну, поговорить, поговорить, просто поговорить! — удержал он ее.

Она подняла испуганные глаза и быстро сказала:

— Нет.

— Я приду к вам сегодня! Мы должны втроем все решить.

— Ради бога. Избавь... Да ты и не придешь.

Она пошла прочь скорым путаным шагом. Но Степан Викторович нагнал ее.

— Это — фиктивный брак? Я правильно понял?

— Ничего ты не понял,— не замедляя шага, ответила она.

— Ему можно было бы вернуться в институт. Я поговорил бы с Тарутиным. Он поймет. Ахуров... знает, что это в моей власти.

— Чтобы его снова мучили проверками и подозрениями? Ты же знаешь, что его мучили! Ему же всё время нужно было оправдываться. Что он вовсе не влияет дурно на студентов... Говорят, это не без твоего участия, вся эта атмосфера подозрительности к тому, что он делает... Я знаю, что это не так,— поспешила уверить его она,— но на него все время кто-то чего-то писал!

— Что же он так быстро сдался? — не без злорадства заметил Степан Викторович.— Ведь это — бегство, миленькая. Бегство от борьбы. Если он так уверен в своей правоте...

— Ему надо работать. А не оправдываться всю жизнь неизвестно за что. Работать ему надо,— вдруг строго прикрикнула она. И Степан Викторович не рискнул продолжить начатое.

— Постой. Помолчи просто. И постой со мной,— попросил он.— У тебя действительно очень некрасивая прическа.

Она остановилась, держа сумку с хлебом обеими ру-

ками и глядя в сторону. Под ногой его, на асфальте, что-то хрустнуло. Он подвигал ногою осколок бутылочного стекла и посмотрел на нее с болью. «У меня умерла мать, Саша»,— хотелось сказать ему. И рассказать, рассказать всё — про брошенную людьми деревушку, про глиняный высокий могильный холм, про длинное облако, близкое в своем далеке,— и про мрачную девочку, сидящую невообразимо далеко, под темным одиноким образом.

— А скажи-ка мне напоследок,— странно каменея лицом, спросил он вместо этого,— ...бывает на свете... зеленое солнце?.. А?

Она подняла недоуменные глаза. И улыбнулась.

— Да. Какой ты смешной... Да. А что? — и старательно объяснила: — Знаешь, белые, самые белые, невероятно просто белые кувшинки... у Клода Моне. Так ведь и тут...

— Репродукцию помню. Но хотелось бы объяснения почетче.

Она задумалась.

— Да вот же, «Белая лошадь» у Гогена!

— Которая — зеленая? — без иронии уточнил он.

— Которая — б е л а я...— улыбнулась она ему, как маленькому.

— По-нят-но. Иди. Спасибо.

Легонько притопывая левой ногой, он долго смотрел ей вслед, недобро прищурившись и о чем-то думая.

Осень мелькала за осенью. Но на пороге последней он ощутил еще одно изменение в себе: радость обладания тем, чем так дорожил он, стала заметно притупляться. Он понимал, как это опасно, и вскоре выучился искусственно поддерживать эту радость-страсть; тогда он приглашал к себе библиоманов, профессиональных музыкантов, студентов, искусствоведов, и завистливый блеск чужих глаз, беспомощная растерянность ценителей его альбомов, книг, фонотеки, возрождали ее вновь.

— Какое богатство!..— бормотали пораженные нечастые гости.

И тогда он небрежно говорил то, чего не чувствовал, чего не понимал и не принимал, но что всегда еще сильнее разжигало чужую зависть:

— Мне вовсе не важна материя, собранная здесь. Мне важны свойства ее... По Аристотелю источники наших впечатлений — не сами материальные тела, а их свойства, действующие на наши органы чувств.

Он тихо посмеивался, подыгрывая гостям и дурача их — посмеивался снисходительно, тихо...

Но в сумрачные дни, когда очертанья предметов становятся резче и когда ближе подступают стены, всё чаще думалось о смерти.

Проснулся он поздно. Не сразу вспомнилась дискотека и пульсирующий, лихорадочный ее свет,— весь этот балаган и эта беременная девица, не такая уж, впрочем, и молодая.

Степан Викторович нехотя поел сардин в масле, запивая рыбу томатным соком,— ел он скучно, будто с похмелья,— и, выбрасывая банку, порезался. Глядя на скудно выступившую кровь, он вдруг почувствовал, что устал. Он долго и старательно прижигал ранку йодом, но сильно перепачкался, потом взял чистый лист бумаги, написал: «Ушел. Приду поздно»,— и деловито прикрепил на специальный гвоздик, справа от номера квартиры. В подъезде сквозило, пахло сыростью.

Вернувшись и прислушиваясь, как, замыкаясь, звякают английские замки, Степан Викторович вспомнил некстати, что еще совсем недавно, принимая у себя полузнакомых, но всегда — очень красивых женщин, он вывешивал наружу точно такие же записки. Вспомнил — и даже не улыбнулся.

Он лег и тепло укрылся: раненая нога зябла со вчерашнего дня. Грелку он не взял, чтобы не разбаловывать ногу, а только закутал ее шарфом, одеяло же выбрал стеганое, на верблюжьей шерсти... Когда-то старость представлялась ему чем-то вроде болезни, недомогания.

— Нет, старость — это не болезнь...— пробормотал он, глядя в потолок.— Старость — это усталость. Постоянная, возрастающая день ото дня усталость.

За окном шумел влажный ветер. Предвесенье... Или уже весна? Откуда он знал это слово — предвесенье? Дурацкое слово. Наверняка его придумал кто-нибудь из этих... «созидателей». Как раздражали они его!.. Как раздражал его этот Ахуров со своим самодельным «законом нравственности», который он способен подоткнуть под любые проблемы — под экономику, под социальную структуру, под международные отношения, и этим «законом» объяснить все как есть несоответствия в жизни человеческого общества,— как будто что-то может значить слово его и что-то решать в мире, что-то менять!!! Или тот, другой, один из Тарутиных, несущий себя по жизни этаким

лучом света,— один из Тарутиных, погибший на обочине военной дороги. Нежизнеспособны они изначально уж потому, что много о себе понимают. Или Тарутин-мальчишка... Славный мальчишка с тем же самым заскоком наглости — а как еще назовешь это их убеждение, что вот пришли они в мир облагодетельствовать человечество!.. Кто вы такие?! Да тьфу на вас! Обыкновенные букашки. Как миллионы других, и всё тут. Всё! Только с заскоком... Или эта вчерашняя девчонка с карманами... «Никто, кроме меня, не сделает того, что могу только я!» Она — явно из их числа. Все они отмечены одной печатью — инфантильной, потрясающей доверчивостью взгляда, и чем же еще? Ах, да... На их лбах начертано сострадание ко всем и вся, сострадание, которое так претило ему всегда и приводило в бешенство. Но эта беременная девчонка не просто доверчива, нет — она доверчиво-непримирима! Она придет в пять. Пожалуй, он ей не откроет.

... Но в половине пятого Степан Викторович, одетый и причесанный, уже сидел, облокотившись о крышку рояля, и беспокойно барабанил пальцами по его полированной поверхности, напряженно вслушиваясь в тишину.

В пять в дверь постучали. Потом раздался короткий звонок.

Он медленно поднялся и направился в прихожую.

Это была она. В ее имя он до сих пор не верил, а может быть, не хотел верить.

— На улице сумасшедший ветер,— простуженно, и как ни в чем не бывало, сообщила она.— Даже не столько на улице, сколько в небе. В небе — ветер... Суматошная чехарда в природе. Облака прямо как бешеные.

— Проходите,— он аккуратно встряхнул ее пальто и повесил на вешалку, а кресло придвинул поближе к столику.— Присаживайтесь. Вам удобно? Вот и ладненько. Но пальтецо ваше, прямо скажем, не для наших зим. Очень уж легкое.

Он укоризненно покачал головой, и от взгляда его не укрылось, что плоский пакет, обернутый газетами и перетянутый бечевкой, она в комнату не внесла, а оставила его в прихожей. «Плоская мина замедленного действия»,— усмехнулся он.

Она постояла, глядя себе под ноги, и села в кресло, натягивая шаль на плечах очень туго,— все-таки это была, видимо, привычка, старая привычка — кутаться и зябко поводить плечами.

— Какую музыку предпочитаете? — спросил он.

— Вы забыли снять записку с двери,— напомнила она.

— Вы не прочли ее? Я... пришел раньше, и, признаться, забыл. Забыл ее снять,— Степан Викторович немного посмеялся.

— Вы не уходили никуда,— крупный рот ее растянулся в почти добродушной улыбке.— Я знала, что вы откроете.

Поглядывая на гостью искоса, он помедлил и деланно изумился:

— Ах, что это за поколение такое?! Все-то вы знаете... Посидите, посмотрите книги. Я похлопочу на кухне. Присутствие женщины на кухне делает сущий ад, а у меня там свой порядок. Моя жена...— он не договорил. Потому что вовсе не Тая предстала перед мысленным взором его — нет, не Тая, не Катя: маленькая женщина, маленькая немолодая женщина припала к его гимнастерке, и через плечо ее он видел, как маленькое, обмотанное женской кофтой существо глядит на него во все глаза с середины тесной комнаты в коммуналке.

Тогда он подхватил легонькое тельце — оно сразу и молчаливо прильнуло к нему. Разжимая ручонки и осторожно ставя мальчика на пол, почувствовал он, как обмякло вздрогнувшее сердце. И понял: зря приехал... А мальчик уже ходил по комнате в пилотке, наползающей на глаза и, боясь шевельнуть головой, громко спрашивал: «Папа! Ты летчик?» «...Да»,— машинально пробормотал он тогда почему-то...

— Моя жена...— в замешательстве повторил он, не зная, как продолжить.

— А... это правда, что у вас нет детей?

— А? — рассеянно обернулся он.— Нет. Я вам говорил об этом еще вчера. Я же говорил. Детей у меня никогда не было.

Он поспешил на кухню.

— Я ничего не хочу, не надо! — крикнула она из комнаты.

«...и вот мы сидим у них, а я всё гляжу — ну, пацанка совсем,— что это за черное такое на стенке висит? Как сковорода. И вот это черное зашипело-зашипело! А дядина-то жена вышла как раз. Я на стул-то вскочила, ухом прижалась, пока ее нет; чего-то это черное там говорит, а чего — не пойму! Да сильней слушаю. И вдруг слово услыхала — с о л д а т ! «Мамань! — кричу.— Оно «солдат» сказало!» Да с испугу-то со стула — прыг! А она мне: «Будет-ка болтать-то чего не надо!» А сама уж глядит, как

бы самой на стул заскочить!..— да тоже послушать»,— маленькая женщина уронила гимнастерку в таз и заплакала, неловко вытирая слезы о плечо свое.— Говорю да говорю...— всхлипывала она, держа на весу разъеденные щелоком руки.— А ведь счастливее меня и нету никого. В нашем-то доме только ты один вернулся; первый. Другие -то не дождутся... Мне одной вот, видишь, чего выпало!..»

Он налил чайник, поставил его на плиту и вернулся в комнату:

— А что это вас, уважаемая, так заинтересовал вопрос отцов и детей? — почти небрежно сказал он.— Ах, да...

...Прежде чем переступить порог, прежде, чем уйти, он оглянулся. И увидел деревянную крашеную тумбочку, зеркало над нею и белые трофейные туфли, привезенные в подарок. Она как поставила их, так и не примерила, а только подходила часто и, приоткрыв рот, проводила пальцем по блестящему лакированному каблуку... Потом он шел по длинному белому коридору коммуналки, остро пахнущему известкой, и мальчик, закутанный в большую темную кофту, бежал следом, крепко сжимая в руках его пилотку.

«Ты куда? — звонко кричал он.— Ты вернешься?» — Степан Викторович подхватывал мальчика на руки, убирал со лба мягкие неровные его волосы, вносил в комнату и говорил: «Посиди здесь. Придет мама. Жди ее». Мальчик послушно и весело кивал белокурой головой. Степан Викторович плотно закрывал за собою дверь, норовя прикрыть так, чтобы замок хоть слегка, а придержал бы ее, но язычок замка только корябал выщербленный косяк. И снова за спиной его раздавался топот детских ног: «Ты вернешься? Да?» И эхо билось под высоким белым потолком.

— ...Ах да, конечно. Понимаю. Вы-то решились иметь ребенка без мужа. У кого чего болит. Ох-хо-хо...— тяжело вздохнул он.— А вы — смелая женщина. Ребенок без отца — это очень смело.— Он тщательно протер край столика чистым полотенцем.

— Без отцов детей не бывает,— усмехнулась она.— У к а ж д о г о ребенка есть отец. Только отцы разные бывают. Бывают бездетными при детях...

— Да, конечно,— торопливо сказал он.— Конечно, детка. Но сколько их, не знающих имени своих отцов...

— Мой ребенок будет знать имя своего отца. Я и вам могу это имя назвать...

— Ну зачем же,— пожал плечами Степан Викторович.— Я не так уж любопытен. Нелюбопытный я старичок! Мне эти подробности ни к чему, детка.

— ...Его имя — Леонид Павлович Тарутин,— вдруг сказала она.

— Что? — тихо спросил Степан Викторович, вскидывая брови.— Что?

Лицо ее потемнело, взгляд ушел в сторону. Она молчала.

— Я... Я был другом его покойного отца...— забормотал Степан Викторович.— Как же... Как же... Прекрасный был человек, умница. Столько лет на руководящем посту! Страшно, страшно тяжело. Если бы не мы, не наша группа... Мы поддерживали его, да, очень. Просто руки у Павла Аркадьевича до всего не доходили. Только начнет разбираться с чем-нибудь — вызывают!.. Совещания. На ковер. Отчеты. Много его поручений на мне было. В секретарях партийной организации пять лет при нем состоял, да... Он мне... очень помогал. Очень. И когда в аспирантуре я учился, и когда на работу надо было устраиваться, да... Трудно бы мне пришлось, если бы не он. Это — правда. Да и ему без меня. Смею думать.

Степан Викторович понемногу успокаивался и даже откинулся на спинку стула, сел свободнее.

— ...Да. Нелепо как они с Ниной погибли! Лёня в армии был, когда там рвануло... А ведь умнейший человек был — Павел Аркадьевич, не нам грешным чета! Ужасно...

— Ужасно...— негромко повторила она.

— Да, конечно, детка. Что может быть ужаснее? Я — неверующий человек, но... Не приведи, господи.

— Вы — неверующий,— согласно кивнула она.— Над вами в небе — дыра... Ужасно, что вы воспользовались этим,— она впервые окинула взглядом стеллажи, плотно уставленные книгами.

— Многие книги я потом приобрел...— напряженно и медленно выговорил Степан Викторович,— из их библиотеки.

— Вы взяли ее всю,— слабо махнула она рукой.— Лёня оставил вам ключи после похорон. А когда отслужил, книг в квартире почти не было.

Степан Викторович старательно отер платком губы и спрятал его в карман так же старательно.

— Значит, в вашем представлении такой вот я подлец?

Что же вас, интересно, заставляет разговаривать с подлецом?

— Все люди достойны внимания.

— И вы уже сделали окончательный вывод? Вы не живете с ним, насколько я понимаю? Он не женился на вас?

Она не отвечала, хотя ответа он ждал довольно долго.

— Милая девушка,— добро и снисходительно заговорил он.— А ведь у Лёни ко мне никогда никаких претензий не было. Прошу заметить! Он ведь ко мне — как к отцу родному!.. Так что — не надо, милая девушка. Он-то помнит, сколько я доброго для него делал. И кто сейчас докажет, что такого же ключа не было ни у кого, кроме меня? Кто? Это, во-первых, в ответ на обвинение, так сказать. Во-вторых, часть книг действительно исчезла раньше того, как я оставшиеся перенес к себе. Соседи сверху устраивали Тарутиным такие потопы! После потопа самые ценные, чтобы спасти их, я и перенес к себе. Там было сыро. Книги могли попортиться. И Лёня мог забрать их все до одной у меня, детка! Те книги, которые я спас, я выкупил у Лёни! Тогда еще у Лёни пошли неприятности на службе, он — если вы в курсе — должен был оставить службу и на что-то жить, на что-то существовать и покупать еще всяческие химические штуки,— пластик, да уйму чего для бредовой своей затеи. Простите... Не мне, так другому бы он их продал, это ценнейшие книги. Мне просто жалко стало, что такие книги уйдут... А Лёня в любое время мог бы приходить ко мне и читать! Он мне был едва ли не сыном... Я выкупил у Лёни книги его отца, и обо мне же пошла гулять ужасная легенда среди знакомых. Вы, должно быть, от них и наслушались, потому что сам Лёня — никогда!..

Она покачала головой:

— Вы заплатили ему гроши. Жалкую смехотворную сумму за те книги, которые «исчезли» из квартиры. Вы объяснили ему, что, как друг отца, считаете своим долгом возместить ущерб, нанесенный неизвестными похитителями, ведь квартира была оставлена на попечение вам! Лёня сначала отказывался, но Лёне предстояло жить, нигде не работая, и он... очень нуждался в деньгах. И тогда вы все же всучили ему эту жалкую сумму. «Я оставляю кое-что из книг на эту сумму себе, и мы будем квиты»,— чтобы не смущался он, успокоили вы его. А после... он уже считал себя не вправе требовать с вас остальные книги — те, которые вы перенесли к себе. А вы — вы «забыли» предложить ему забрать их. Вот как было.

— В моей библиотеке нет ни одной книги, которую я оставил бы себе без ведома Лёни,— строго и важно проговорил Степан Викторович.

— Они все — в вашей библиотеке. Целиком. Никто их не похищал. Кроме разве что тех, которые вы распродали когда-то. Хорошая музыка — дорогое удовольствие. Да и сейчас к вам приходят скупщики время от времени. Говорят, вы не продешевили ни разу. У вас большие культурные запросы — чтобы удовлетворять их, чего душеньке захочется, немало надо...— она говорила, казалось, равнодушно, словно не испытывала никакого интереса ни к своим словам, ни к его. И он, переняв ее тон, заговорил так же спокойно, хотя и резковато.

— Вы столько нафантазировали сейчас... что у меня разболелась голова. Вам что-нибудь нужно от меня? — он смотрел ей в глаза очень прямо.— Я, кажется, понимаю, что вам нужно. Я должен оставить завещание, по которому после моей смерти всё, что здесь есть, перейдет вам, как матери ребенка Леонида Павловича Тарутина. Не зря же вас так интересовало, есть ли у меня наследники. Теперь я вас правильно понял? Только не следовало, деточка, в таком случае так долго морочить мне голову. Всё ясно как день. А вы вымотали меня совершенно. Мы — деловые люди, и начинать надо было с главного.

Она встала, потерла поясницу — и одернула шаль на плечах:

— Мне ничего не нужно.

— Ну-ну-ну! — не поверил Степан Викторович.— Так уж и ничего! Зачем же тогда всё это было? Не надо держать меня за дурака, детка. Не советую.

— Мне ничего не нужно,— повторила она.

— В самом деле?

— В самом деле,— она прикрыла глаза, словно превозмогая приступ дурноты, поднесла ладони к вискам — и опустилась в кресло.

— Вы же не в браке... Это еще нужно доказать, что ребенок — ребенок Тарутина,— рассуждал он едва ли не сам с собою.— Он мне, естественно, ничего не мог сказать о вас — мы не виделись годы, и... потеряли друг друга. Каков-то он теперь? Розовый туман, должно быть, рассеялся в его жертвенной жизни...— Да, пора бы уже рассеяться туману! — он снова посмеялся немного.

...Ее молчание, наконец, смутило его. Она сидела неподвижно, не отнимая ладоней от висков. Он смотрел теперь на ее живот, видимо, небольшой еще, скрытый

шалью, и чувствовал, что смотрит неприлично долго. Он попытался отвести взгляд — и не отвел, потому что в ту же самую минуту дикое, нелепое, необъяснимое желание возникло в нем и прошило его насквозь — ему захотелось вдруг, до покалывания в кончиках пальцев, прикоснуться хотя бы на миг к животу этой женщины. И ощутить тепло жизни — в жизни. Он отвернулся. Его зазнобило; внутренний холод всколыхнулся со дна души — и отпустил.

— Откуда вам известно имя моей матери? — с усилием спросил он.

Она заговорила. И с первых же слов лицо ее задрожало, как в солнечном мареве, и стало странно прозрачным. Она беззвучно шевелила губами. Мрак пополз из углов комнаты, будто неясный серый снег замелькал, сгущаясь, и страшно заломило над глазами. Беззвучно шевелящая губами женщина уходила от него, удалялась, стремительно уносилась туда, далеко, невообразимо далеко,— в угол горницы, под самый темный образ, убранный бумажными цветами, и только время от времени прорывался сквозь немоту серого снегопада тонкий ее голос: «...вы не ответили... а ей уже было совсем плохо... я думала, что на почте в совхозе... я ходила туда, там всего семь километров... чтобы быстрее получить... там не было...»

Он нагнулся, опустив голову в колени, как можно ниже. Мало-помалу снег начал рассеиваться. И он спросил с усилием, не поднимая головы:

— Разве... так бывает?

— Не знаю,— растерянно отозвалась она. И как будто испугалась перемене, произошедшей с ним.

— Бурый свет...— испуганно проговорила она.

Но он не слышал ее.

— Теперь я не удивлюсь ни-че-му!!! Даже если вы!..— он расхохотался,— ...начнете мне вправлять мозги про луч! про столб! про смерч мысли! Я не удивлюсь ничему! — кричал он в странной ярости.— Оголтелое племя!.. Вы все против меня! Все!

— Перестаньте! — закричала она.— У вас что-то... Что с вами?!

— Да. Да, конечно,— невпопад забормотал он.— Я... Я лягу. Позвольте мне...

Он с трудом встал и побрел к дивану. Она помогла ему лечь.

— Я одинок...— вдруг расслабленно вымолвил он, не поднимая век.

— Я верю...

Ему вдруг стало совсем легко. Повернув голову, он снова увидел ее шаль, прикрывающую живот, очень близко, рядом. И снова то же немыслимое, дремучее желание возникло в нем остро и мгновенно. Оно было почти неодолимым. Он застонал, отворачиваясь.

— Чудовищно... Пусто, холодно. Не уходите.

— Я посижу.

— Вот вы всё про плохое. Было и хорошее! Было! Ведь я чувствовал ответственность за Лёню. Когда он осиротел. И если он сейчас хоть чего-нибудь достиг в жизни — то это мои советы помогли ему, детка. Только они и могли помочь ему в жизни... Я развернул перед ним беспроигрышную схему жизни! Никто на свете не был так щедр, как я в тот момент! Беспроигрышную! Я. Так бы напутствовал я своего сына, если бы... он у меня был. Я не лгу вам. Мне ничего от вас не надо,— потому мне незачем вам лгать... Лёне было что взять от меня.

Она не проронила ни слова.

— У мальчика было столько заблуждений. И еще этот Ахуров... Скольких людей сбил с толку Ахуров, если б вы знали! Скольким испортил жизнь! И старшие дома... Старшие только и делали, что поощряли в нем самостоятельность мышления. И какая же мешанина была у мальчика в голове... Он не понимал в жизни элементарного, без чего страшно и невозможно жить! Я вовремя его предостерег. Я спас его от многих заблуждений! Если только он был достаточно умен, чтобы внять моим словам. Случай с Лёней — тяжелый случай... Почти безнадежный... Но моя схема — она не могла не оставить хоть какого-то следа в его сознании, не могла!

...Я говорил мальчику: есть в мире один и великий закон — закон-бог. Имя ему — Рацио. Или ты подчинишь жизнь ему — или он сомнет тебя. Не надо дергаться в жесткой системе его правления — система его подчинена ритму, и ты не вправе и не в силах ломать этот ритм, каким бы неразумным и диким не казался он тебе. Важно лишь почувствовать его — и жить в нем, в этом ритме. Закрой глаза на всё — и подчинись, глупый человек! И забудь, насовсем забудь о всяком новаторстве! О творческой инициативе! Двух страшнейших этих искусах на пути твоем. Ибо это никому не нужно. Более того, творчество враждебно ритму изначально — оно претендует на сбив его. Шалишь, брат. Ты быстро увидишь, как вся размеренная мощь Рацио обрушится на тебя с твоими новаци-

ями, сомнет и растопчет, будь ты трижды, четырежды прав в праведных порывах своих. Представь себе огромное конвейерное производство. И возникает некто, который издает слабый писк: надо менять то! Надо менять это! Надо менять черт знает что! И как только ты пропищал слово менять,— так и поставил ты себя в разряд изгоев, мальчик. На что покушаешься ты, жалкий человек? На то, чтобы сбить ритм? Попробуй. И ты увидишь, как возмутишь этим всех служителей ритма. Тебя сдуют с пути как досадную, жалкую помеху. Твоя инициатива — это прямая угроза спокойствию людей Кресел, стоящих на страже ритма. И не для того эти люди шли к Креслам и проделали долгий и трудный путь к ним, чтобы какой-то щенок поставил под угрозу их пребывание в Кресле. Они тебе скажут, что ты прав, что ты тысячу раз прав, и как люди они тебя понимают. Но как чиновники они вынуждены будут посоветовать одно: заткнуться навсегда. Никогда человек Кресла, даже искренне любя тебя, не встанет на твою сторону. Ибо встать на нее — значит, отстаивать тебя в дальнейшем со всеми твоими убеждениями, значит, идти вместе с тобою против ритма, а это всегда риск, риск потерять Кресло. Выигрыш — сомнителен, угроза потери Кресла — реальна. Да и нет ничего труднее на свете, как отстоять очевидное. Человек Кресла не пойдет на это. Он открестится от тебя с твоими новациями, как от чумы, изыди с инициативой своей, не искушай, не втягивай в борьбу — все равно она никому не по силам. Борьба чревата поражением, и лишь служение устоявшемуся — беспроигрышно! И ты будешь вытолкнут из системы, но ритма — не изменишь! Ты можешь морщиться сколько угодно, но на этом свете тебе уготована одна-единственная роль, и даже не роль: по сути своей ты должен быть Конъюнктурщиком. Другого тебе не уготовано. Ты должен все время держать нос по ветру и не высовываться с тем, что не влазит в устоявшиеся рамки. Надо хорошо знать правила игры, мой дорогой. И никогда не пытайся менять их самовольно. До сумы да до тюрьмы тогда — один лишь шаг. Ты должен быть Конъюнктурщиком, как тот, другой, третий, как все, на ком держится заданный и так не нравящийся тебе ритм. Великий и незыблемый ритм,— основа порядка в обществе! Ты же будешь только маленький возмутитель, выступающий против заведенного порядка. А без порядка — ничего хорошего не бывает.

Не надо только говорить мне о Новом времени, которое

грядет, которое не за горами! Ты можешь протянуть ноги прежде, чем оно наступит, ты — живешь до Нового времени, давай себе в этом отчет. Но почему бы не потеоретизировать, брат, если тебе так угодно? Настало Новое время! Кто выиграет от этого? Выиграет Конъюнктурщик. Потому что у тебя с твоими устремлениями — одно лицо. А у Конъюнктурщика их тысячи. У него в руках — маски, маски, маски! Тысячи масок! Ему ведь не составит труда в мгновение ока сменить маску. И вот уже он — служитель Нового времени, которого так ждал ты. И тут уж он будет вынужден добить тебя, как бы ему этого не хотелось бы. Добить тебя, соответствующего Новому времени по сути: борьба пойдет не на жизнь, а на смерть, ибо твоя победа — его смерть. Он вынужден будет уничтожить тебя — ты сам вызовешь огонь на себя и заставишь его уничтожить себя. Но какие навыки борьбы у тебя? Что ты знаешь, кроме своего дела?! Он же, поднаторевший, изворотлив,— у него в активе тысячи средств борьбы с тобой, и в основе своей таких, какими ты, по чистоплюйству своему, не обладаешь! В его активе — ложь, клевета, подлость, против которых ты бессилен. А у тебя, бессильного, одно лишь жалкое оружие — совесть да правота. Он обскачет тебя — тысячу раз, он опередит тебя! — а там поди, разберись, кто прав, кто виноват; со всеми не наразбираешься! Он затопчет тебя с твоей совестью и с твоей правотой в один миг. И он еще, именно он, Конъюнктурщик, заклеймит тебя, и обвинит тебя во всех смертных грехах! Он скор на это дело, у него — навык! И под видом борьбы с «конъюнктурой», что самое парадоксальное, умудрится пожрать тебя — и ведь не подавится, не поперхнется, будь спокоен! Непременно съест. Человек творческой инициативы — слаб и беззащитен. Человек Конъюнктуры — всесилен: у него сотни лиц! И побороть их все — нельзя! Он воспримет любые, любые лозунги, и он встанет в позу проповедника Нового времени, и будет кричать эти лозунги куда как громче тебя! Кричать на каждом углу! Ему все равно, какие слова произносить, лишь бы на то было указание! Он будет кричать их — а дело будет идти в том же самом ритме, что и до этого. А ты — останешься в круглых дураках; ведь тебе нет нужды выкрикивать то, что жило в тебе всегда и живет. Ты будешь рваться к делу, обманутый этими криками: и наткнешься на ту же самую стенку, и только рассекретишь себя уже со всей очевидностью. Бросайся же, брат, на стенку — и тут-то он тебя уж вынужден будет при-

хлопнуть. Да так, что и комар носа не подточит. Этого даже никто и не заметит в общем-то — прихлопнутых будет много. А верят — тому, кто громче кричит! Борец, значит, крикун-то выходит!.. Ему надо будет либо прихлопнуть тебя, либо вычеркнуть себя из жизни — третьего не дано. И ты — будешь рваться к делу, а он — к сохранению своих позиций. И закон Рацио работает на него. Потому что вас — мало. А их — тьмы и тьмы.

— Вы — об оборотнях...— негромко сказала она.

Степан Викторович надолго замолчал.

— ...«И я потерял свое легкое сердце еще до того, как его потерял...» А это откуда? Откуда?! — вдруг завозился и забеспокоился он.— Откуда этот человек мог знать это? Сочинитель этот?

— О ком вы? — она с недоумением смотрела, как озирался Степан Викторович по сторонам, как напряженно щурился, будто пытаясь разглядеть что-то на самом верху шкафа.

— О том, о нем! О том, кто написал это! — вдруг закричал он в припадке сильнейшего недовольства, пытаясь встать.— Как он смел?! Как он смел заглядывать туда, куда его не просят?! Где вы взяли эти свои рентгеновские аппараты?! Что вы просвечиваете меня ими!!! Кто вам позволил?! Что он делает там наверху? Маленький, очень маленький...

— Вы больны...

— Вы считаете, что я сумасшедший? — необычайно живо откликнулся Степан Викторович. И в запальчивости продолжил горячечной скороговоркой: — Но Лёня-то понял, что вы за штучка! Лёня не женился на вас! О, это хороший показатель. Симптом, я бы сказал. Вы — из т е х ! А он не захотел связываться — с вами! Вы ему не нужны даже с вашим ребенком! — он торжествующе поднял палец кверху, затряс им, и всё как-то странно будто подмигивал ей.— А ведь вы думали, что он на вас — женится! А? А? ...Лёня! Не давай им заморочить себя! — кричал он в пространство.— Молодец, брат! Беги от них! Я! Я учил тебя благоразумию! Вам не свести меня с ума! Нет, детка. Скорее вы сойдете с ума, чем я. У меня все четко. У вас все расплывчато. Вы не умеете, детка, крепко стоять на ногах. В отличие от меня. Чувство стабильности жизни не дает сойти с ума человеку! А оно на моей стороне. Не на вашей. Нет. Вам со мною не сладить. Я понял. Вы пришли свести меня с ума. Но у вас с этим ничего не выйдет, точно так же, как не вышло

у вас с тем, чтобы прибрать Лёню к рукам. Нас так просто не возьмешь, детка! Нет. Нет,— всё подмигивал он ей. И уже добродушно посмеивался.— Пустой номер, детка. Мне вас жаль. Ах, как мне вас жаль, со-зи-да-те-ли!!! И как вас только земля носит, господи! — умильно бормотал он. — Витаете! Витаете! Да на вас дунь — и нету вас! Нету! И тот — маленький, сидит!.. На шкафу — маленький какой!..

Она отошла к окну.

На дворе стоял тот самый час, когда прозрачная голубизна сумерек ровно и глубоко заполняет пространство и когда кажется, что небо сошло на землю,— короткий, тихий, быстро синеющий час. Вскинутое лицо ее на фоне окна было непроглядываемым и темным.

Степан Викторович совсем по-молодецки встал, чтобы включить свет,— как вдруг ему почудилось, что она плачет. Он пристально посмотрел в сторону окна — и увидел все тот же неподвижный профиль, и все так же высоко было вскинуто ее лицо. Он отвернулся, шагнул к выключателю и почувствовал спиною: плачет. Приостановился — и снова был поражен: ничего похожего на слезы не было и в помине; она будто закаменела.

Он включил свет,— сумерки мгновенно стали лиловыми.

— Мне показалось, что вы плачете.

— Нет...— покачала она головой.— Нет...

— Я обидел вас. Я понимаю, что все время обижаю вас, как досадно всё выходит.— Степан Викторович в раскаянье подошел, взял ее за руку и ласково усадил в кресло, еще раз обратив внимание свое на то, что руки ее крупноваты и грубы: странную неразборчивость замечал он за этими потомственными интеллигентами — нетребовательность их вкуса была ему непонятна; у Степана Викторовича никогда не было женщин с некрасивыми руками.— Простите старика. Я сам себя не узнаю. Я все-таки по-своему был привязан к Лёне, да и сейчас привязанность моя к нему...

— Лёня погиб.

Степан Викторович молчал долго, недоверчиво. И наконец тяжело выговорил:

— Нет. Нет. Что это за мор на них... Впрочем, в этой центрифуге, называемой жизнью, труднее удерживаются — они... Они отлетают первыми. Жизнь не для них. Но... Вы успокойтесь.

Она только послушно кивала и говорила:

— Я спокойна. Давно.

— Кто ваша мама. Она с вами?

— Она преподаёт физику. Лёня у нее учился.

— В школе познакомились?

— Нет. В школе мы в разных сменах учились. Младшие классы — в первую, старшие — во вторую. Лёня приходил к нам. К маме.

— Как же вы жили с Лёней?

— ...После аварии, там... После аварии Лёня работать не мог долго. И у нас почти все время был. Дома одному ему трудно было. А у нас он так и... не приноровился работать. Потом мы с ним ходили в их квартиру, чтобы прибрать. И когда я была у него, он за свои бумаги хватался и сидел над ними. А уходила — он бросал все и снова к нам приходил. Так я стала у него жить. То у мамы, то у него... А он уж очень плохо одет был, зимой в плаще одном ходил. В черном. И пуговицы разные. Без перчаток ходил. А пуговицы заменить не давал, стеснялся. Его за тунеядство таскали одно время. Потом он дворником устроился. А я над своими картинами работала... Они все у меня — не на заказ. Безденежные, значит. И тогда Ахуров, ну все они — помогали нам. Он приходил, Лёнину работу просматривал и деньги всегда оставлял. Ничего не говорил, а уйдет — где-нибудь деньги лежат... Он по четыре часа в сутки спал и на что похож был... Помню, к маме пришла, заплакала: «Он сжигает себя,— говорю.— Разве так можно?» А она мне: «За Лёню страшно. Пошел в одиночку... А время одиночек в науке давно прошло». Говорят, есть альпинисты, которые в одиночку восхождения делают? — вдруг спросила она.

— Каких безумцев на свете не бывает...

— И мама еще говорила Лёне, чтобы он одну работу сделал сначала, по солнечной энергии, а потом — по мерцанию времени. А у него ничего не получалось, обе работы рядом шли... Мама тоже говорила, что это безумие. Но в лаборатории его пускали. Тайно, конечно, но пускали свои же... А другие гнать велели, которые его «городским сумасшедшим» называли...

— А с женой... Ахурова вы незнакомы были?

— Я один раз только встречалась. На посиделках их. Ну, про «колонию разума» все же знают, и вы, наверно... А народ что-то плохо собирался. И она мне вдруг говорит: «Пойдемте со мной, тут комиссионка в двух шагах, а у меня туфли развалились. Быстро сбегаем. Что-то не хочется одной». Я пошла. И вот она стала выбирать, и

выбрала крепкие, но ужасно старомодные. И я вроде пошутила, говорю: «Несовременная вы женщина...» А она мне сказала: «Я до смерти готова проходить в красном шутовском колпаке с бубенцами. Лишь бы рядом с Ахуровым». Я потом все время это помнила...

— Она... действительно так сказала?

— Да.

— Успел Лёня что-нибудь сделать?

— Не знаю. Только последние дни он уже совсем почти не спал. Какая-то лихорадка рабочая у него была. А Ахуров звонил все время, говорил: «Вы теперь очень его берегите, теперь — очень». А я в тот день на закате что-то уснула, просто так легла и не заметила, как уснула. А от шороха просыпаюсь, голову подняла — он быстро-быстро бумаги со стола собирает и в портфель большой... Это Павла Аркадьевича портфель еще был, а может, Аркадия Ильича... Да вы помните, Павел Аркадьевич с ним ходил... Совсем он стертый... В портфель этот все-все бумаги запихивает и полупрозрачные куски такие, пластик голубовато-серый, тоже. «Ты куда?» — я спросила. И чего-то испугалась со сна. А он сел на стул, поглядел на меня, поглядел... «...А знаешь, голода уже никогда не будет на свете». И так сказал, будто чего-то спугнуть боялся. А лицо — светлое... Смотрю — а не видит он меня. Только ладонями колени потер, встал, портфель взял и заторопился, черный плащ этот быстро накинул. И все... Его в подъезде у мамы нашли. Он еще живой был. К нему не пускали. Я халат белый достала, тапочки, косынку белую — думаю, много тут практикантов-медиков, авось, как проскочу,— везде же тетки на всех этажах на вахте сидят, не пускают, а разрешения не добьешься, и время, минуты-то уходят. Я в туалете переоделась, всю одежду свою там на подоконнике оставила. И точно. Прошла. Никто и внимания не обратил. А он... Под капельницами этими лежит... Два доктора около него, и один доктор мне говорит: «Выносите таз, кровь замерьте...» А я: «Сейчас»,— говорю. Над ним наклонилась... Он узнал меня. И я думала — он мне обрадовался, а он: «...Знаешь, там один был, который не ударил... Ему сказали: «добивай». А он... видел, что я жив. И сказал: «да всё уже!» Не ударил... Один был, который не ударил! — так только это и повторяет. И доктор закричал на меня: «Берите таз, видите — полон!» И я этот таз с кровью потащила, да по коридору — не туда... А мне медсестра кричит: «В предоперационную! Там замеряют!» И тут я уже ничего не помню, только помню, что таз успела на пол поставить...

— А что суд? Суд был?

— Нет. Не нашли никого. И портфель никуда не подкинули. Следователь говорил: могут портфель подкинуть, если там ценных вещей не было, а только работа научная... Свидетельские показания давал мне читать. А от Лёни они не добились ничего толком в больнице, и в протоколе только, что был один среди них, который не добил. Соседка с первого этажа свидетельница была. Она из магазина возвращалась. Подростков шестеро из подъезда выскочило, видела она. Говорит, что не пьяные, а как хмельные вроде были и встревоженные. Разбегались уже... Она и скорую вызывала. А мамы и дома не было... Они, когда выбегали из подъезда, что-то кричали друг другу, подростки, а соседка до сих пор ни слова не может вспомнить, все, говорит, из головы вылетело. Старая уже и перепугалась. Сердечница... Хворала сильно после этого. Долго... На похоронах много людей было, очень...

— ...Кто породил их? — тихо спрашивал Степан Викторович, раскачивая голову руками.— Эти истерические жестокие подросточьи орды — кто породил их...

— Вы не знаете, кто породил их?..

— Золотая молодежь да безотцовщина, крапивное семя! Вот это кто! Впрочем, и золотая молодежь — та же безотцовщина, только обеспеченная! Нет времени на детей! Нет! А вы мне — дети, дети... Зачем и нужны они? Круглые сироты — современные дети!

— Вы не знаете, кто породил их... Мне вчера на них посмотреть хотелось, на молодых... На лица их посмотреть, в глаза посмотреть...

— Ну? И что? — торопил он ее.

— ...В них жизнь есть, животная жизнь в них есть. А мыслящих лиц — мало. Мало мысли в лицах...

— Ты развлекающихся видела. А не тех, кто над книгами сидит,— вдруг перешел на «ты» Степан Викторович.— Может, такие чудаки существуют еще на свете...

— Да... Может быть...— она поднялась. И он поразительно быстро вскочил.

— Когда это было?

— Три месяца назад...— отвернувшись, ответила она.

— Я не отпущу вас так. Вам нельзя сейчас... А знаете что?.. Надо так: любой диск, первый попавшийся,— возьмите оттуда, просто протяните руку... Вы после музыки пойдете. Так нельзя уходить. И тогда я вызову такси. У вас есть деньги на такси?

Она покраснела.

— Что за чушь я несу! — хлопнул он себя по

лбу.— Пятерки, что ли, в доме не найдется, в самом деле? Поедете на такси. Это мне, мне нужно, мне так спокойнее будет!

— Вы всё спрашивали, что мне нужно. А я... я вам картину одну свою принесла. В дискозале разговор у нас с вами был... можно ли создать что-то. Я хотела, чтобы вы просто взглянули. И отругали бы, может быть. Я совсем не хотела ничего говорить. Что я про библиотеку заговорила — нехорошо мне сейчас от этого. Не надо было. Не про то мы говорили. И про Лёню... Растревожила я вас. Я, наверно, и права такого не имела...

— Ничего... ничего...— с состраданьем смотрел он на нее.— Сейчас всё хорошо будет. Сейчас послушать нужно. Потом картину вашу посмотрим. Машину вызовем — и посмотрим.

Она вынула не глядя из ровного ряда пакетов с дисками один и протянула его Степану Викторовичу. Он глянул — это был снова Мендельсон.

— Хорошо, пусть так...— пробормотал Степан Викторович, ставя пластинку.

И снова беспокойный и светлый, страдающий голос скрипки начал раскачивать душу, и бесполезно было противиться этой мелодии...

Он очнулся, когда музыка стихла. И понял, что в квартире уже никого нет, кроме него. Медленно он обошел комнату, кухню... И понял, что уже давно стоит в прихожей, рассматривая плоский пакет, перевязанный бечевкой.

С пакетом в руках он возвратился в комнату. Голос скрипки словно отступил от души его и звучал теперь сам по себе. Некоторое время Степан Викторович смотрел на неподвижный диск, на поднятую головку звукоснимателя... Но воплощенная в музыке светлая скорбь звучала, и уже не имела отношения ни к кому в этом мире, а взмывала над ним, и жила, и лилась над миром — над миром, над временем.

Он не заметил, как распаковал пакет, как установил картину на рояле — он даже как будто не вглядывался в нее. Но о н а смотрела на него, и от постоянно меняющихся женских глаз шла теплая волна, согревающая и любящая его.

Музыка в комнате неожиданно смолкла — и только теперь он увидел: это была небольшая картина, выполненная маслом.

— Автопортрет...— пояснила она негромко,— та, что недавно ушла отсюда.

— Нет. Это не ваш портрет,— в раздумье возразил он ей.

Он всматривался в женское лицо и не мог уловить странного эффекта: лицо менялось. Он принял вначале лицо это за лицо матери — но видел теперь, что это не так. И чем с большим напряжением всматривался он в картину, тем больше убеждался: это была Саша, его Саша... Да, это была она.

— Как она вам сказала? — спросил он у той, которой не было здесь.— ...Что готова пройти по жизни в шутовском колпаке с бубенчиками?.. Лишь бы с ним?

Ответа не последовало. Но он вслушивался и вслушивался в тишину. И чтоб как-то нарушить ее, заговорил сам.

— А что... Любопытно. Очень любопытная работа.

Теперь он уже целиком был поглощен техникой, манерой письма; он то отходил — то приникал к картине почти вплотную. Недоверчивое изумление его сменилось неподдельным интересом.

— Превосходно выполнено. Это я вам говорю... Превосходно... уже ошарашенно бормотал он.— Не ожидал. Какая строгая, сдержанная кисть. Потрясающе. Никогда бы не подумал... Ай-яй-яй...— вдруг несказанно огорчился он.— На холсте — без грунтовки? Без грунтовки! Ай-яй-яй. Такая изумительная работа, и... Она же пропадет! Продержаться без грунта она долго не сможет, жалость какая... Такая картина пропадет!

— Ничего в этом мире не может исчезнуть. Что есть — то уже есть...— услышал он в пустой квартире ее негромкий голос.

— Ах, оставьте вы все эти ваши шуточки! — в раздражении откликнулся он.— Какая жалость, какая жалость... А ведь это действительно автопортрет! Да, ваш автопортрет! — изумился он. Но только какая-то общая нотка сбивала его с толка, какая-то нотка в этом женском взгляде, будто затягивающая его в прошлое, в далекое прошлое... Даже не в детство, а еще дальше, дальше, в до-рождение... А значит... значит, в смерть?

Он отшатнулся. Глаза недавней гостьи смотрели на него, смотрели мрачновато-строго, спокойно, печально. И усталые большие руки ее держали перед собою полупрозрачную, серую, с тусклою голубизной, прямоугольную пластину. Не из стекла, нет... На полупрозрачной этой пластине, как на подставке, стоял бронзовый старинный жертвенный треножник, с чашею в форме женской головы. Крышка чаши была откинута, и сильное дымное пламя

поднималось из бронзовой головы жертвенника. Сияние пламени лишь отсветом ложилось на темное, отстраненное, строгое лицо ее: женщина в рубище держала перед собою пылающую свою бронзовую голову и смотрела в глаза смотрящему спокойно и обреченно. Бронзовое древнее лицо повторяло живое лицо картины в точности. И столб пламени поднимался из бронзы — вверх.

И снова внимание его сосредоточилось на полупрозрачной четырехугольной, шероховато выполненной подставке...

— ...Лёня говорил про город будущего. Про город с полупрозрачными крышами, которые будут преломлять солнечную энергию в электрическую... Лёня сказал, что больше не будет голода на земле.

Ему вдруг захотелось заплакать.

— Что же это делается...— едва не плакал он. И проговорил голосу.— Ничего, ничего... Нервы ни к черту...

— Если хотите — я оставлю его вам...

— Царский подарок, деточка. Спасибо вам. Никогда я не жаловался на нервы, а тут...

— Прощайте прощайте прощайте,— прозвучало, будто эхо, непонятно где — и везде.

— Погодите! — окликнул он голос, хорошо зная, что в квартире никого нет.

...Он долго лежал с закрытыми глазами. А когда открыл их — тело его оцепенело: с портрета пристально смотрела на него его Саша. Степан Викторович готов был закричать. Он бросился на кухню — и плотно прикрыл за собою кухонную дверь. Сев за стол, он крепко сжал подбородок и сказал себе:

— Плохо дело.

Он просидел за столом до поздней ночи, вскидывая время от времени голову и бормоча. Потом замолкал ненадолго. И снова рассуждал сам с собою:

— Придет некто и спросит...

— Вот для чего греки выдумали себе эриний и эвменид. Они их выдумали для того, чтобы рано или поздно они являлись к человеку. Вот для чего.

Придет некто и спросит...

— Да будет тебе! Может быть, она вовсе не приходила? Эта... эриния, эвменида. Я ее вообразил!.. Может быть, я х о т е л, чтобы она пришла? И — вообразил ее?..

— ...Да нет. Она как будто все же приходила.

— То, чего больше нет,— ложно. Прошлого — нет. Уже, к счастью,— нет! Какого же дьявола я вздумал

вытаскивать его на свет из небытия? Я же никогда не забавлялся такими штуками! У меня хватало благоразумия... Или оно пришло само? Пришло, чтобы загнать в могилу. В могилу? Это любопытно...

— Всё знаю. Ничего не хочу. Всё пройдет.

— Это пройдет. Это непременно пройдет, это пройдет. Но если всё это пройдет — то что же наступит? Пустота? Холод, пустота?..

— Не хочу ничего.

— Хватит. Довольно с меня. В этой жизни я не хочу больше ничего.

— «Травить крыс в душе...» Откуда это? Не помню. Не хочу. Есть еще на свете транквилизаторы. «Травить крыс в душе...» Да откуда же это, черт побери?!

Он помотал головою, чтобы стряхнуть с себя навязчивые эти слова про крыс, прошел в комнату и остановился у самого порога.

— Тут всё мое!..— подозрительно озираясь, выговорил он.— Храм мой! Моё!

Вдруг, пригнувшись, он, крадучись, осторожно двинулся вдоль стеллажей к портрету. Затем прикрыл глаза ладонью — и с необычайной ловкостью схватил его. В прихожей он вытер испарину со лба, заставляя себя дышать ровно и глубоко.

— Нет! Ничего не выйдет! — взревел он вдруг.— У вас — ничего не выйдет! — и расхохотался, торжествуя, и сжал руками тонкую раму. Рама хрустнула, сломалась.— Тут все мое. А это — не мое! Мне этого — не надо!..— уже деловито бормотал он и отдирал сломанную темную раму от холста, и рвал холст, рвал долго и упорно. И наконец швырнул все на пол.

— Всё! — облегченно сказал он.— Всё! Теперь всё!

Однако взгляд его привлек довольно большой кусок холста, и он подхватил его с пола — глаза матери его Александры Егоровны глянули с полуосыпавшегося лоскута. Он в бессилии швырнул его прочь.

Вернувшись на кухню, он хладнокровно вылущил из прозрачных гнездышек упаковки все таблетки и долго смотрел на них, сложенные на столе аккуратной горкой. Потом властно сгреб — и с силой швырнул в открытую дверь, в прихожую, туда, где валялись на полу обрывки холста и обломки рамы.

«Ничего мне не надо. Мне главное — только в глаза ему посмотреть...» — кротко думал Булалаев, втирая в те-

мя жидкость от выпадения волос перед зеркалом тесной вагонной уборной. Он с любопытством следил за тем, как темнеют, увлажняются и тяжелеют от лекарственной влаги редкие пряди, как распадаются под расческой на ровные бороздки. «В глаза бы только посмотреть. Одному сначала. Потом другому, может быть... А там — понятно будет. Насчет дальнейших действий. И, в общем, перспектив...»

Покачиваясь от быстрого хода поезда, он развернулся, осторожно бросил пустой пузырек в унитаз и долго не отпускал педали — внизу уныло мелькали шпалы, в отверстии вьюжило и тянуло холодом. «В глаза только посмотреть. В Москве сначала. Потом — дальше...» — успокаивал, уговаривал и настраивал он себя, уже предчувствуя как будто, что никакого разговора и решительного согласовывания с этим человеком — и другим — будущего Свода законов всеобщего порядка, сочиненного Булалаевым вчерне, не получится.

Участковый нервничал. И не только оттого, что боялся встречи с московским стариком, а пуще — с лейтенантом Таты. Перед отъездом собственная неказистость стала огорчать участкового и даже пугать. А с самого начала важного и ответственного пути Булалаева принялась шпынять ежесекундно тощая женщина-экономист с длинным носом, хозяйничающая в купе и уже прожившая безбоязненно на свете сорок пять лет. Она шпыняла его, и почти не спала с того самого момента, как вошла в вагон и как обнаружила под своей нижней полкой его, Булалаевский, чемодан. «Никакого порядка! Я наведу порядок! Я сорок пять лет навожу порядок!» — кричала она, с гневом выбрасывая чемодан и затискивая под полку узлы и баулы, и уже не успокаивалась.

Участковый вернулся из туалета хорошо причесанный и так старательно умытый, что на скулах стягивало кожу и резало все ещё от воды глаза. Он совсем неслышно взгромоздился на верхнюю подрагивающую свою полку и сразу проверил под подушкой наличие красной папки, раздувшейся от анохинских записей, взятых им с собою на всякий случай с туманной и непонятной еще ему целью. Но картавый и раскатистый крик женщины-экономиста согнал его в ту же минуту вниз.

— Уберите ваши сапоги! Они пахнут дегтем и р-рибой! — заносчиво кричала попутчица.— Надо было думать, когда вы их мазали ваксой, что людям может быть неприятно, когда они будут нюхать ваш сапожный крэм!

Участковый, потоптавшись в носках, пристроил давно не чищенные свои сапоги у самой дверцы и снова без-

молвно взобрался на верхнюю полку. И только услышал сразу, как попутчица-экономист, резко толкнув дверцу купе, с грохотом выставила сапоги наружу. Про «деготь и рибу» женщина кричала до самой Москвы и все поводила длинным своим носом целые сутки, хотя Булалаев понял уже, что «дегтем и рибой» пахнут вовсе не сапоги, а жидкость от выпадения волос. И даже дважды вымыл голову под краном холодной водой с хозяйственным мылом. А женщина все возмущалась в ночи и спрашивала себя в недоумении и бессильной злобе: «Нет, почему я не поехала на крише? Лучше ехать среди зимы на крише, чем в купе с такой обувью, когда окно закрыто. Я не знаю, к кому вы едете, так если не к себе, а к людям — скидайте вашу обувь в подъезде! На крильце!..»

«Я — только посмотреть...» — едва слышно приговаривал сверху участковый, стараясь не сбиться со своей собственной мысли перед сном и перед приездом в Москву. На привокзальной площади он остановился было перед чистильщиком в нерешительности, однако посмотрел на широкоплечего белоглазого парня со щетками с неожиданной для себя ненавистью и зашагал прочь от Казанского вокзала, прочь от чистильщика, прочь от запаха железной дороги и крика распорядителя такси. И пока разыскивал Булалаев через городскую милицию нужный ему московский адрес, все не покидало его торжественное и волнующее чувство генеральной репетиции, предшествующей премьере...

На другой день, под вечер, Булалаев поднимался вверх по лестнице, и с досадой разглядывал на каждой ступеньке то один, то другой нечищеный свой сапог. «Минутное дело — а вот непорядок получается»,— поругивал он себя за неопрятность и, переживая, сжимал под мышкой тяжелую красную свою папку.

На лестничной площадке Булалаев остановился и теперь медлил перед нужной ему дверью с криво висящей на маленьком гвоздике запиской «Ушел. Приду поздно».

В подъезде было тепло, но уличным холодным воздухом ощутимо тянуло откуда-то, и мерно, негромко брякало под ветром разбитое и невидное отсюда стекло. Стоял он так долго, очень долго. Как вдруг дверь с запиской быстро и неслышно приоткрылась, и женщина в темном легком пальто, выйдя, посмотрела на Булалаева в упор. Сердце участкового поджалось — и упало; Булалаев переложил папку под другую руку, суетливо посторонился — и женщина прошла мимо, опустив глаза. Булалаев шагнул к

двери, но остановился потом, озабоченно прислушиваясь к удаляющимся где-то внизу шагам. В следующую минуту Булалаев стремглав кинулся к лифту и не сразу попал пальцем в кнопку первого этажа. Женщину он опередил на самом выходе и совсем ненамного.

— Гражданка...— он пытался вспомнить её настоящую фамилию — и не мог, но дорогу загораживал уверенно и непоколебимо.

— Что вы хотите? — хмуро спросила она, не поднимая глаз.

— Что я хочу? Что я хочу? — переспрашивал он, топчась на месте и жадно вглядываясь в близкое ее лицо.— ...Много чего я хочу.

— В частности? — еще больше нахмурилась она.

— В частности?..— переспросил он, не отрывая взгляда от её глаз.— В частности? В частности я очень бы хотел понять, как получилось... да, как это так получилось, что древнеримский бог растительности Марс вдруг превратился у людей в бога войны. Как это получилось. Вот вам — в частности,— выдохнул он, волнуясь и бледнея.

— Ничем не могу помочь,— проговорила женщина. Она сделала попытку пройти, но Булалаев растопырил локти еще решительнее, доставая папкой до дверного косяка. Она усмехнулась:

— Мне курить ужасно хочется. Пойдемте на лавку — тут лавка перед домом. Вам ведь неудобно так стоять долго.

Но Булалаев упорно не двигался с места и лишь смотрел на нее напряженно, не смаргивая.

— Вы не сможете задержать меня,— подумав, сказала женщина.

— Почему? — не поверил ей Булалаев.

— Потому что т а м...— женщина оглянулась назад,— там — никакого криминала. Вот.

— Нет уж, погодите! Объясните!..— бестолково и настойчиво запротестовал он.

— Давайте так: я ухожу — и больше здесь не появляюсь...

Булалаев молчал.

— Да пойдемте на лавочку, курить же хочется! — попросила она. Крепко взяв женщину под руку, участковый повел её к скамейке.

— Не смейте держать меня! — вдруг прикрикнула женщина, рассердившись на ходу.— Милицейский пост через квартал. Вы — один. И вы меня сами же отпустите. Я буду

говорить с вами. Но не потому, что вы этого хотите. А потому, что я так хочу. Я вам это позволяю, понятно?

Булалаев выронил папку, и пока нагибался за нею, то уже решил обреченно, что женщина уйдет от него насовсем. Однако она стояла, сделав от него всего один шаг в сторону и не шевелилась.

— Знаете его? Степана Викторовича? Все о нем знаете? — спросила она подозрительно.

— Да вы курите, курите... Многое знаю, конечно... Садитесь, курите. Располагайтесь,— вздохнул он, смахивая с папки налипшую снежную пыль.

— Откуда это вы... такой?

Булалаев нерешительно ответил. И спросил с интересом:

— А вы думали — из Москвы?

— Нет... Думала — из древнего Рима.

Она чиркнула спичкой и закурила, а потом легко села и откинулась на гнутую спинку холодной, но чистой лавки.— Ну и как там у вас? Взрывают?

Участковый вздохнул, запечалившись, и не ответил ей.

— Уже легче... Да вы садитесь,— кивнула она.— Целый вечер не курить — знаете, тяжело,— и рассмеялась.

— Как вы на него вышли? На Одинца? — он собрался наконец с мыслями и потому спросил резко.

— Как?.. Очень просто. У художницы одной месяц жила. Она мой портрет делала. Но не поэтому... Я, видите ли, всю жизнь свою собиралась его разыскать. Это долг мой был. Я — искала его, понимаете? ...Когда-то, девчонкой, я писала ему письма. М-да... Поднесло же вас не вовремя. Этому... Одинцу вашему — поделом бы. Портрет жалко. Портрет бы у него забрать! Какие же эти талантливые — рохли!.. Я хотела вместо нее, Саши, сделать. То, что она сама никогда не сделает. Для восстановления справедливости. По системе Станиславского сделать. Есть такая система... Знаете? Система перевоплощения. Одно нехорошо — выдумать пришлось, что человек умер...

— Себя к талантливым — не относите? — осторожно поинтересовался он, глядя, как глубоко и редко она затягивается и как медленно выпускает дым.

— Как же тут отнесешь, когда... Когда за творческую несостоятельность со второго курса выгнали. Нельзя было девице у нас, в театральном, мастеру не угодить. Творческую несостоятельность в таком случае обнаруживал... Я до последнего не верила, что отчислит. Уж столько слов громких он произнес! И «будущая Ермолова», и в ладоши

на этюдах хлопал!.. Непритворно всё было!. От-чис-лил! — старательно затоптала окурок она и рассеянно почесала переносицу.

— Вы в результате... не обогащаетесь сами? В результате ваших действий преступных — не обогащаетесь?

Она помолчала.

— Ваши, в мундирах, знают. Что я концы с концами едва свожу. А работа — сложная. Пока разберешься!.. Да потом... Мне ведь важно, чтобы сами, с а м и, раскаявшись, отдавали... Чтобы — навязывали прямо, понимаете?.. А знаете, что странно? Странно, что будто не они мне — а я им нужна. Но это только, когда всё хорошо о них знаешь. Тогда... вот будто не я их, а будто они меня выбирают. Чудно мне это... Неверные у вас формулировки. Это ведь — не шантаж. Они у совести своей откупиться хотят! Старички.

— Под чьим именем вы к нему вошли? — перебил ее Булалаев вздрагивающим, чужим голосом.

— Под Сашиным, конечно, разве не понятно?

— Вот видите! А вы — «не шантаж!» Под Сашиным. Племянница нашей Анохиной — Саша. Догадываюсь. Под чужим именем — нехорошо. Непорядок,— укорил Булалаев.

— Порядок, начальник,— тихо ответила женщина и усмехнулась.— Порядок! Потому как о н и — неподсудны. На них — суда нет в жизни. А мы вот — уголовную ответственность несем. Срок вот отбыли. Да только ваши же, которые мое дело вели, сами с пониманием относятся, на плохое отношение к себе даже и пожаловаться не могу. Мы ведь одно дело с вами делаем. Разными путями. Я возможна в этой роли-то своей знаете ведь почему. Я потому и там только возможна, где в а ш закон бессилен... Вот что я своей профессией сделала, понимаете? Ну, что? Поговорили — разойдемся?

— Вы... Обещайте! Что к старому, к прошлому то есть, возврата не будет! Надо жить, жить... не так! — заторопился Булалаев.

— Нет,— она отодвинулась.— Этого не обещаю. Я ведь мало чего хочу. Чтобы через меня справедливости на земле больше было. Так я свой путь пожизненный понимаю, начальник. И на суде я так сказала. Не раскаивалась. И зал мне хлопал... Не ушли от меня мои аплодисменты!..

Женщина вздохнула и спрятала подбородок в воротник.

— Но ведь... ваша жизнь! Ваша собственная

жизнь?! — он два раза показал рукою на ртутный фонарь на столбе.

— А что — моя жизнь? Любая другая — больше смысла имеет, чем моя?.. Сомневаюсь, начальник. И если она, моя жизнь, уж так вам не нравится, то ваша в этом вина: ваши законы не срабатывают как надо. Эффект саморегуляции в обществе — вот что я такое,— и она, хмыкнув, снова принялась топтать свой старый окурок.

— Я думал. Я много насчет этого думал! Про вас знал — а что встреча выйдет, не надеялся даже!.. Представляете?

— Вы к нему сейчас? — перебила она.

— К нему...

— Просьбу выполните одну? Чего ж вы так сразу киваете?.. Пусть он, Степан Викторович, ничего обо мне настоящего — не знает. Пока хотя бы. Не надо его... размагничивать. Я уже все сделала почти. А тут вас поднесло. Ах, жалость какая!.. И портрет... Заберите у него портрет, а? Саше занесите. Очень я вас прошу. К ней я зайду обязательно. Она не знает ничего, ей — тоже не надо, не говорите... Давайте я вам Сашин телефон дам. А?

Булалаев увидел, что женщина дрожит от холода.

— Озябли вы совсем, ах черт... Ну подождите вы еще минуту. Чтоб я при вас анохинской племяннице Саше позвонил. Чтоб — с чистой совестью...

— Понимаю. Подожду,— кивнула она.

Булалаев повертел в руках книжечку, протянутую женщиной.

— Двух копеек у вас нет. Держите,— сказала она.— Автомат за углом. Идемте, я постою возле вас.

О папке, оставленной на краешке скамьи, участковый не вспомнил. Он шел рядом с женщиной, уже не придерживая ее под руку, но и на ходу смотрел в ее сторону и иногда спотыкался.

— Вы... красивая очень,— негромко сказал он.— Если у вас в жизни... Если к самому краю подойдете и жить вам дальше невозможно будет, то — приезжайте,— он приостановился.— Знайте, что человек есть — Булалаев моя фамилия!.. Если сейчас позвоню, и все нормально окажется...

— А если нет? — хрипловато засмеялась она.— Не приеду я к вам, человек Булалаев!.. Форма одежды у нас разная.

— И все же! Запомните! Мало ли что?!

Она открыла перед ним дверцу автомата.

— Звоните. Не бойтесь. Я постою,— снова усмехнулась она и подняла воротник, стянув его на горле рукой.

— Легкое у вас пальтецо...— медлил он.

— У меня еще шаль под ним. Перебьемся. Звоните.

Булалаев набирал и набирал номер — диск срывался. Потом шли короткие редкие гудки. Женщина все стояла, прислонившись плечом к стеклу с подветренной стороны, и терпеливо смотрела прямо перед собой.

— ...Саша? Племянница Анохиной? — радостно закричал участковый.— Ага. Участковый Булалаев. У вас два месяца проживала гражданка... Нет, с ней ничего не случилось. Нет-нет, всё в порядке... Нет, я не молчу. Я, видите ли, не из Москвы, а Екатерина Анохина — на моем участке. Нет! С ней тоже всё нормально. Никаких происшествий за последнее время... Я, собственно, про портрет — портрет ее вы рисовали? Ага... Моя фамилия Булалаев! Что Анохиной передать? Я очень в курсе вашей семьи и всегда готов...

Он отстранил трубку, вглядываясь в нее и слушая короткие гудки. Женщина открыла дверь.

— Ничего,— утер лоб участковый и повесил трубку.— Ничего, ничего...

Он вышел. А потом стоял, глядя на лиловый снег и на нечищеные свои сапоги, ярко освещенные фонарем. Женщина шевельнулась, поежилась.

— ...Она, Саша, автопортрет писала. Со своей пылающей головой... А у нее не получилось... Тогда она с меня писать стала. Странное лицо тогда вышло. При разном освещении все разное видят. Меняющееся лицо. Холодно.

— Документы у вас в порядке? — встрепенулся он.

— Не совсем,— сразу и невесело ответила женщина.

— Идите,— вздохнул Булалаев.— А бросили бы вы это всё, а? Свою личную жизнь наладили бы?.. А? Бросили бы! Правда.

— Да кому-то ведь надо... А вы, вижу,— не счастливчик,— не уходила она и качала головой, жалея его, но думая больше о чем-то своем.

— У меня — на старость надежда. А у вас вот? Непорядок. У вас — будущее смутно.

— Ну вот и поговорили... Про бога растительности. Который теперь — бог войны!..— улыбнулась она.

— А знаете что?! — Булалаев потер лоб.— Вы ведь сейчас мне... логическую цепь напрочь замкнули. Ах ты, черт, как все закольцевалось, с этой вашей... «профессией» да с богами! Ах, черт!.. Как замкнулось, а? Саморегуля-

ция! — вот чего в природе основа основ. В природе человеческого общества — саморегуляция в природе вообще — саморегуляция!.. Вот закон законов! Вот!

Участковый поднял голову, огляделся — женщины уже нигде не было видно. Она ушла, должно быть, сразу после своих слов. Но на ее месте стоял одноногий старик в фуфайке и на протезе и непримиримо смотрел участковому в лоб, готовясь возражать. Тогда Булалаев стремительно направился к подъезду. Однако обернулся и закричал старику.

— И все же в историческом и любом значении — саморегуляция!..— Булалаев строго погрозил пальцем. Потом заложил руки за спину и заспешил дальше, нервно насвистывая. Так же насвистывая, он толкнул дверь с болтающейся на гвозде запиской и, перешагнув через обломки рамы портрета, застыл, не решаясь пройти на кухню.

От стола поднял голову взлохмаченный человек с красными глазами. С минуту они смотрели друг на друга: хозяин — из кухни — на щуплого милиционера, застывшего в прихожей, милиционер — на хозяина с криво торчащей растрепанной бородой.

— Травить крыс...— вдруг сказал милиционеру хозяин.

— Да, да, я понимаю! — возбужденно откликнулся участковый, стягивая нитяные перчатки. — Я понял один из законов, один из... Саморегуляция! Колорадский жук!..— он засунул перчатки в карман и с живостью начал загибать палец за пальцем.— Колорадский жук! Нашествие новых форм болезней, оригинальных болезней! Энцефалитный клещ в чудовищных количествах в Новосибирской области!.. Это природа — борется против человека! Против — человека! Она давно поняла пагубность... Пагубность... его существования. Это... Либо человек уничтожит жизнь на Земле — либо сама природа, чтобы выжить, уничтожит человека! Она теперь, в преддверии катастрофы ядерной, просто вынуждена — уничтожить человека! Это — природа сопротивляется, чтобы выжить! Чтобы выжить, ей надо теперь о д о л е т ь ч е л о в е к а! Иначе человек уничтожит жизнь. Природе ничего другого уже не остается! Т а к о й человек ей — не нужен! Человек — убийца. Но природа — убьет его сама. Она успеет до катастрофы! И только тогда бог растительности победит бога войны. Вот! Вот! Ведь люди из бога растительности сделали бога войны!.. Представляете? А? А вот он и докажет! Что он — бог растительности. И что у людей с переименованием номер-то не прошел!!!

В полном изнеможении участковый по стенке опустился на пол и сел, вытянув ноги, на обломки и лоскуты, и шумно дышал теперь, сдвигая шапку на затылок.

Степан Викторович мутно глянул на сидящего в прихожей милиционера и прищурился слегка. Потом прищурился сильнее.

— Это ты сейчас сидел на шкафу? Ты — только очень-очень маленький? — спросил он с расстановкой, все так же сильно щурясь.— ...Ты еще светил двумя китайскими фонариками в потолок! Кто тебе позволил сидеть на моем шкафу?! — взревел он. Но сразу перешел на равнодушный, размеренный шепот.— Ты не бережешь батарейки, старина. Они быстро сядут. И будет темно, старина. Наконец-то будет темно. Ты мне надоел ужасно. Но... какой ты был маленький, когда светил!..— Степан Викторович зашелся в беззвучном хохоте, и плечи его затряслись.

Участковый Булалаев, перебирая напрягшимися пальцами по стене, медленно поднялся и попятился.

— Я сейчас пытался сшибить тебя грецкими орехами,— равнодушно шептал Степан Викторович, то и дело коротко позевывая.— Жаль, что у меня их было всего шестьдесят восемь. И всякий раз я промахивался лишь самую малость. Самую-самую малость... Впрочем-впрочем. Впрочем, у меня есть яблоки. Как же я не догадался... И он, настороженно поглядывая на милиционера, стал красться вдоль кухонной стены к холодильнику.

Странное ощущение испытывал участковый, выходя из квартиры — будто что-то тяжелое рухнуло в нем безболезненно и не улеглось еще толком, а между тем холодная и легкая ясность вселилась в него. Не чувствуя под ногами ничего и словно бы паря, не чувствуя себя, города, времени, он плыл мимо скамейки с забытой своею папкой, мимо нужной ему и все еще людной станции метро, мимо незнакомого чистого сквера за тяжелой оградой, и наискось надвигалось на него совсем не столичное звездное небо — не столичное, не городское, ничье...

А Степан Викторович Одинец тем временем, все так же коротко позевывая, захлопнул дверцу холодильника и вернулся в комнату, с тихим треском наступая на орехи и покачиваясь. Он постелил себе на диване, лег, тепло и старательно укрылся стеганым одеялом, но света на кухне не погасил и двери не запер.

Маленькое белое лицо промчалось перед ним,— гипсовая мертвая маска промчалась еще раз, и еще раз, и еще. И темная блаженная теплота окутала его, становясь все

просторнее и неощутимей. Потом появились врачи. Врачи столпились около длинного стола в больничном коридоре. И женщина хирург с голубыми перламутровыми веками сердито кричала:

— Ножницы! Скорее!

Усатая, молодая медсестра суетливо подала их ей. Безжалостно кромсая тугую майку на груди больного, женщина-хирург всё бранила кого-то. Ходячие больные, высунувшиеся из палат, не понимали, кого ругает доктор: врачей или самоубийцу? А дежурная сестра размахивала руками и загоняла больных в палаты, оглядываясь на врачей.

Степан Викторович понимал, что самоубийца — это он сам. И не понимал только, почему через считанные минуты, переложив его на кушетку здесь же, в коридоре, все отошли от него, как бы потеряв к самоубийце всякий интерес.

Он лежал с кислородной трубкой во рту, и в сосуде с водой, укрепленном на штативе, поднимались вверх легкие, редкие пузырьки воздуха, выдыхаемого им. Седая борода умирающего торчала неопрятно и криво. И самое странное — Степан Викторович видел всё это.

Он видел, как поодаль от кушетки остановились две санитарки с ведрами, в синих байковых халатах, и одна из них, пожилая женщина исполинского роста, в резиновых сапогах, забрызганных известкой, басом сказала другой — маленькой и опрятной, со смешливым морщинистым лицом:

— Еще один. Вчера женщину привозили. Хлорофосу выпила. Разнесло всю — еще помереть не успела. Распухла вся. А губы — крашеные. А кудерки желтенькие. А этого — ничего, не разносит... А у той, говорят, дома-то уж чего только нет. Разве что птичьего молока. На базе работала. Проворовались они там. В тюрьму после такой жизни как, поди, неохота, а?..

— Сейчас и птичье молоко у них есть,— беззаботно рассудила другая.— Конфетки теперь такие.

— А этот чего травился?

— Да так же, наверно, чего-нибудь проворовался. Из-за любови теперь не травятся, как раньше-то. Из-за измены — тоже. Теперь — прощают!

— Какая любовь тебе? Вон, борода-то у него — седая...— урезонила старушку большая санитарка.

— Все, погляди-ка, от него отошли...— жалостливо улыбнулась старушка.— Безнадежный, значит.

— А чего же?! — хмыкнула другая.— Лечить, что ли,

их, дураков? Людям только хлопот сколько делают. Возись с ними, подтирай. Их и лечить нечего,— и повторила, сердито громыхнув ведром.— Подтирай за ними!

Слова роились, звучали вокруг умирающего, не достигая сознания, но он словно бы смотрел сверху, слыша их и видя себя, лежащего с кислородной трубкой во рту.

Потом он увидел, как веки его дрогнули. И услышал собственное слабое мычанье, похожее на невнятный зов. Санитарки в одинаковых синих халатах переглянулись — и замолчали. Первая с презрительным любопытством наблюдала издали и двигала ногами в огромных резиновых сапогах, забрызганных при побелке. Вторая поставила ведро, тихонько и скоро подошла, склонилась над ним.

— Что, сынок? Больно? — боязливо спросила она.

— Нашла сынка! — негромко заворчала первая.— Он ей ровня, а она — «сынок».

— Кто? — трудно ворочая распухшим языком, спросил умирающий.

— Чего? — удивилась старенькая санитарка и громко ответила ему, тыча в себя пальцем.— Александра я, сынок!..

Уродливая судорога исказила лицо умирающего. Отрывисто захрипев, он закрыл глаза. Но светлое пятно человеческого лица все стояло перед ним, пока огромная зеленая вспышка не осветила тьму. Зеленое сияние стремительно понеслось ввысь, уменьшаясь и удаляясь от него в высокую тьму. Некоторое время там, в высокой тьме, крошечное зеленое пятно еще сияло ему и стояло над ним, едва освещая черноту слабым дрожащим светом. Потом свет погас.

Среди знакомых пронесся слух, что Степан Викторович умер. Одни говорили, что умер он от инфаркта. Другие утверждали, что им доподлинно известно, будто Степан Викторович покончил жизнь самоубийством. И находились люди, которые уверяли, что не далее как вчера видели его в городском саду гуляющим — старик брел по аллее, а выглядел — скверно, как выглядят тяжело и долго болевшие. И только искусствовед Шапошников не уставал доказывать знакомым, что Степан Викторович не только жив и здоров, но крепок и бодр необычайно. Но что вот ведет себя старик весьма странно. Три дня назад он продал Шапошникову за сногсшибательную, как всегда, цену хорошее собрание репродукций с картин Поля Гогена. И вот, когда Шапошников дома стал рассматривать альбом — а

был альбом в замечательной сохранности,— то обнаружил, что одна репродукция аккуратно вырезана лезвием. Знаменитая гогеновская «Белая лошадь» пропала из альбома бесследно.

Возмущенный Шапошников в тот же день поехал к Степану Викторовичу, кинулся к нему с альбомом и потребовал вернуть деньги, а испорченный альбом принять назад. Степан Викторович сидел, укрывшись пледом, в кресле и держал ноги на электрической грелке. Разгневанному Шапошникову он сказал, улыбнувшись криво и презрительно:

— Денег я вам не верну. Нужно было смотреть раньше.

— Но ведь здесь вырезано! Вот! Вот! — совал Шапошников альбом к самому лицу Степана Викторовича.

— Вырезано! — со спокойным вызовом признался Степан Викторович.— Да! Вырезано! Я вырезал эту, с позволения сказать, «Белую лошадь».

Шапошников растерялся:

— Но... верните хотя бы! Я... вклею!

Степан Викторович посмотрел на Шапошникова с высокомерной ненавистью.

— Я вырезал не для того, чтобы оставить её себе,— тяжело и медленно выговорил он.— А для того, чтобы изорвать! Уничтожить! Я её изорвал! В клочья!!!

Тут Шапошников подумал, что Степан Викторович спятил, и, спешно прижав альбом к груди, стал пробираться к выходу. Однако сбежать без слов он посчитал все же неудобным и постарался перевести разговор на какой-нибудь посторонний предмет.

— ...Полгорода, Степан Викторович, говорит, что вы, извините, умерли. То есть...

Старик смотрел на него не мигая и не двигался. Тогда Шапошников, потоптавшись, сказал уж и вовсе форменную чушь.

— ...Нет, вы, конечно... А говорят, что в живых вас будто бы...

Старик свирепо расхохотался. А потом поднял палец вверх и проговорил деревянным голосом:

— Я — есть! Есть!

Старуха Баранова, пользуясь отсутствием постояльца, сидела в сумерках на горбатом его сундуке, широко расставив ноги в пегих и новых негнущихся валенках. Она сидела, не слыша, как вошел в дом приехавший участковый, и выговаривала хрипло и нежно:

— Ти-ти-ти.

И усыпала пол вокруг себя хлебными крошками.

Петух с опущенным хвостом и перебинтованной лапой стоял, отвернувшись от старухи, и не сводил круглого вытаращенного глаза с серых гантелей участкового, лежащих под столом.

Старуха увидела участкового, сказала: «Ти-ти-ти»,— и перестала крошить хлеб, а стала скатывать мякиш на колене по переднику жилистыми быстрыми пальцами.

— Ну, снимай шинельку-то...— вздохнула она, вглядываясь в постояльца, как в незнакомого человека. И неподвижный участковый проговорил в сумерках:

— Я — сниму. Теперь — сниму.

Старуха застыла было тоже, силясь что-то сообразить. Но только смахнула крошки с передника на петуха.

— Ты сними,— повторила она, и поплелась к печке, к ухватам, на негнущихся в высоких валенках неловких ногах.

Петух развернулся, затопав костяным крепким топотом, раскрыл желтый клюв, будто собираясь зевнуть, но натужился и оглушительно закукарекал.

— Все правильно...— сказал Булалаев петуху и встал на колени.

Он вытащил из чемодана гражданскую свою одежду — мало ношенный костюм, две рубахи и брюки — и разложил все на горбатом сундуке поперек, а потом пошел снимать шинель и шапку.

— Я, бабка, преступницу в Москве отпустил! — крикнул он, стоя уже в кальсонах возле сундука босиком и всовывая ногу в широкую гражданскую штанину.— Недозволенным образом!..

Никто не ответил ему. Лишь петух деловито протопал к участковому и больно клюнул его в большой палец ноги у самого ногтя. Тогда участковый застегнул брюки, сел на сундук и заплакал. Оттого, что не было больше в жизни его женщины по имени Тата.

Он нарочно вспоминал и вспоминал ее, толстую и красивую, с кровавыми каплями сережек в ушах, с нарумяненными скулами и в блестящем желтом халате, вспоминал все три дня, которые прожил у матери своей на обратном пути, вспоминал, чтобы не вспоминать уже больше никогда в избушке старухи Барановой. И бессчетное количество раз, куда бы ни смотрел Булалаев в просторной белой комнате, любимой с детства,— на вымахавшую без него финиковую пальму в кадке, на белоснежные ли ска-

терки, свисающие кружевными уголками с его этажерки, или на беспокойно улыбающуюся мать, несущую к постели его стакан горячего молока на блюдце,— все возникала перед ним дверь, последняя и пустяковая преграда, за которой еще скрывался лейтенант, а вернее — майор Таты, но которую открыл вовсе не тот, которого он ожидал увидеть — и боялся увидеть,— но хотел уже увидеть больше всего на свете.

— Балалаечка? — снова говорила ему толстая красивая женщина и суживала глаза.— А ну заходи, сейчас ты свое получишь, вы-ру-чаль-щик!..

И снова участковый не знал, снимать ли ему сапоги в чужой прихожей, и снова Тата кричала ему:

— Еще чего! Не обязательно! Я тебя здесь чаями поить не собираюсь. Вон — сядь и сиди! Слушай!

А потом выпевала на крике, уперев руки в кухонный стол:

— Ты чего явился? Ты спасать меня явился? Да не твой теперь час, голубчик. Знаю я вас, таких! Как вы нашу сестру подкарауливаете. Почуете только, что прогорело всё внутри, что теперь нас голыми руками бери, вот вы и тут как тут, ваш это час, ша-кальё! Ваш! Потому что иначе-то тебе бы меня — вовеки, как своих ушей, не видать! А так — на горе-то на нашем, глядишь — и поживитесь!

И снова молчал участковый. И снова хохотала красивая Тата и бахвалилась:

— Ты думал, не поднимусь я, свое не возьму? А я вот остервенела — да и взяла! А как остервенела — так какая я ему теперь дорогая стала!.. Жене его я сразу сказала: тебе деньги нужны его — или он сам? «Он...» — плаксиво передразнивала Тата.— Ну а коли он, говорю, то я к командованию иду и все про изуродованную судьбу свою рассказываю. И выписку из роддома несу. Где черным по белому про его ребеночка, горем доставленным убитого, написано. Вот и полетят и звезды его, и денежки. Посчитай, ты посчитай, сколько денежек улетит, если считать умеешь! Вот и живи с ним тогда...» А откуда она знает, что я замужем числилась за тобой! Смотри же,— ей говорю,— я — не зверь, человек. Считайся ты ему жена, и деньги его получай, а жить с ним — все равно я буду. «Мне подумать надо...» Вижу — с ним ей надо поговорить. А и поговори! — думаю; признается он во всем, никуда не денется! Все равно им теперь жизни не будет... Да все по-моему и вышло! Как уехала она — мама у неё «заболела», так с тех пор я тут и живу! И — вот он у меня где!

Вот,— показывала на алый каблучок Тата,— потому что сразу я сказала: а теперь не так ступить попробуй — погляжу я, как с тебя перья-то за двоеженство полетят! Ну и что, ты думаешь, оказалось? А оказалось, что тем я огромную свою любовь ему доказала! «Как же любить, говорит, надо, чтобы ни перед чем не остановиться!» Понял?! И что бескорыстная я — так оказалось, денег мне его не надо, сама неплохо зарабатываю. И благородная оказалась — службе его не мешаю, жену не обижаю ни в чем. Понял ты, какая я замечательная теперь!!! Да не жалей ты меня глазами-то, не жалей! Я — тоже не в накладе!.. Придет с работы минута в минуту, я ему тапочки подаю: обуйся. А сама прибавляю про себя: обуйся, рогоносец мой ненаглядный. Спину в ванной ему тру: «Не горячо?» — «Не горячо тебе, рогоносец?» — думаю. Вот где кайфы-то идут! Ой, не поймешь ты этого, Балалайка... что значит силу свою ощущать на каждом шагу! И над ним, и над его женой,— вот я как все перевернула. Не поймешь! — И снова размахивала Тата рукою перед булалаевским лицом, и снова вжимался он в кафельную стену спиной на нарядном табурете, и, размахивая, говорила ему Тата:

— Я тебе — как на духу всё выложила! Знаю, что ничего не скажешь никому! А скажешь если, предположим, так вот чтобы знал: если что, я тебя так оберну, так оберну!.. Уж я ему распишу, как ты положеньем-то моим попользовался!!! Да еще попользоваться хочешь. Да как выведывал всё у меня, простодушненькой, чтобы подвыдумать еще погаже про меня, да опять бы я твоя была. Вот и заруби на носу, что́ будет. А теперь ступай! Ступай, ступай! Других ищи, пользуйся! Которые в беде по уши! Глядишь — поживишься опять! Ха-ха! Ха-ха!..

И снова Булалаев видел, как постыдно рвало и корчило его у чужого подъезда в теплом заснеженном и туманном городе, как сгребал он трясущимися руками снег и как оттирал запачканную шинель, и как корчился снова в неодолимом приступе дурноты.

Он вспоминал — и знал, что все вспоминаемое останется здесь, в просторной комнате с высокой финиковой пальмой и кружевными скатерками на этажерке, и уже не сможет настичь его больше нигде и никогда, как только уедет он отсюда.

Старуха Баранова включила свет в его закутке и стала смотреть на плачущего участкового.

— Что-то лапа у него одна не гнется. Вроде толще стала,— сказала она. И, помолчав, добавила: — Клевать не клюет, а расхаживается по избе, генерал какой.

И снова молчала старуха Баранова. А потом подхватила с пола никуда не убегающего петуха и швырнула его в сени, прокричав пронзительно и тонко:

— И там, в сенях, не замерзнешь, не в курятнике! Клевать не клюет, а ходит! Прынц! — и добавила спокойно от порога: — Иди ужинай. Я картошку козе напарила, не знала, подъедешь когда. Иди. А то в участок с утра тебе подыматься.

Участковый утерся платком, сел за стол и сунул картофелину в рот.

— Пойду другую работу завтра искать,— обжигаясь, сказал он старухе.

— ...Она — коза смирная. Ты вот знаешь. А Петра Ильича девку младшенькую одну бодала. И куда эта девка летом ни пойдет, а как над ведром у колонки нагнется, или босоножку поправить — так она сзади с рожищами своими и налетит. Вот следит будто за ней, зараза. А девка хорошая, в городе отучилась, второй класс в зиму учить взялась... А ты бы с ней поговорил когда, с девкой-то. Чего, твое дело молодое.

— ...Я теперь права не имею в милиции служить,— говорил о своем Булалаев и ел.

— А и нету никаких новостей,— вздохнула старуха. Третьего дня вот только взрыв больно уж сильный был. Так у меня койка-то из угла и поехала. Последние дни, видно, живем. Люди какие-то чужие здесь ходят. Не видала я раньше их здесь. ...Катюшка Анохина не в себе прибегала, зайти тебе наказывала, а зачем — не поняла я ничего. Вон карандаш ей дала, так она тебе на столе отписала. Цыгане без тебя приехали...

Она задвинула горшок в печь, кинула ухват с грохотом и не закрыла печку заслонкой, а села на стул и задумалась, глядя в потолок. Участковый жевал хлеб, чистил мелкую клейкую картошку, вытирал руки полотенцем.

— Бутылки на подводе собирают,— из своего полузабытья сказала старуха.— Косматый цыган ездит. А избу, не знаю, где сняли...

«Пускай»,— хотел ответить участковый, но промолчал и вздохнул.

...Утром участковый оделся в штатское и сидел до полудня без дела в избе. А к обеду пошел в заводскую столовую, чтобы во время перерыва поговорить с Петром Ильичом насчет зачисления в бригаду. Но на улице на участкового в штатском сразу налетел цыганенок. Потом цыганенок в грязной куртке и ондатровой взрослой шапке плелся за Булалаевым следом, наступая на пятки, и сипел.

— Дяденька! Дай пятнадцать копеек, я тебе на пузе спляшу,— простуженно сипел мальчишка.— Дяденька!..

Участковый вспомнил, что деньги остались в шинели, но порылся в кармане тесного старого пальто. И нашел две копейки. А потом пятнадцать. Мальчишка схватил с его ладони обе монеты, недовольно повертел их в черных цепких пальцах и убежал вдоль по улице.

— Эй! Ты на пузе сплясать обещал!..— уныло окликнул его Булалаев.

— Ложись — спляшу...— не оборачиваясь, просипел на бегу цыганенок.

Из переулка вывернулась пожилая женщина с тяжелой хозяйственной сумкой, и, мелко ступая, пошла впереди участкового, а потом обернулась.

— Вы, что ли? Не признала я вас в одежке этой что-то... Ко мне, что ли?

Булалаев не ответил и сказал только, останавливаясь.

— Я тоже не узнал.

— Многие меня теперь не узнают,— она поправила шаль у подбородка и сухо пояснила,— умру скоро я.

— Екатерина Изотовна...— с беспокойством вглядываясь в пожелтевшее, чистое ее лицо, заговорил Булалаев, но она перебила его.

— Записывала я всё зря. И вам зря отдавала. Не надо было. Где всё? Заберу я у вас, сожгу. Я там счеты вроде сводила... А вот не надо так делать было. Какие счеты, если умирать пора... Я-то все передумывала,— а он вон и не вспомнил обо мне ни разочка. Как мне жизнь его открылась, когда я без памяти-то была,— а меня в его жизни и нету почти... Пойдемте, да возьму я у вас всё. Вот сожгу, потом уж помру. Только вас я и ждала, чтобы забрать. Грешно это как — счеты сводить да в человека лезть. Нельзя...

— Екатерина Изотовна...— участковый прокашлялся и опустил руки.

— Рукава у вас коротенькие...— заметила она.

— Да. Да. Екатерина Изотовна!.. Нету у меня записей ваших. Потерял. Не знаю, где потерял. Вот. Что хотите...

— А и слава богу,— легко ответила Анохина.— Вот и мороки никакой теперь.

И пошла от Булалаева, будто успокоившись наконец раз и навсегда.

Булалаеву было по пути с Анохиной, но он брёл совсем медленно, чтобы не догнать ее. У домушки вечной бабушки Анохина свернула в свой двор, а участковый остановился и, склонив голову набок, стал слушать, как скрипит на

ветру болтающаяся ставенка. И зная, что никто ему не откроет, он вдруг шагнул в разгороженную усадьбу невидимой бабушки. А потом торопливо взбежал на крыльцо, натянул пальцами короткие рукава пальто и, держа их так, толкнул плечом дверь безо всякого стука. Дверь подалась сразу и беззвучно. И участковый замешкался на пороге, вглядываясь в сенную тьму и ожидая увидеть там когонибудь. Он сделал два шага через крошечные пустые сени и так же плечом толкнул дверь в горницу. Теплый запах воска, лампадного масла, старой затхлой бумаги и будто меди или бронзы обдал Булалаева. Узкая полоска света от неприкрытой ставенки не рассеивала полумрака, но в углу подрагивающей капелькой огня светила подвесная лампада синего стекла под темным и едва различимым ликом богоматери; икона в углу висела одна-единственная, старая и без оклада, в две ладони всего величиною. Булалаев в почтительной робости оглядел эту маленькую икону — чуть меньше школьной тетрадки,— низкую широкую лавку, тянувшуюся вдоль стены,— никакой постели в избе не было. Но у самой лампады, сбоку, стоял стол — деревянный, ничем не накрытый. И на темных досках его лежала огромная раскрытая книга.

— Есть тут кто-нибудь? — севшим голосом спросил Булалаев.

Никто не ответил ему, только сильно скрипнула ставенка за окном, и всё стихло.

Булалаеву стало жарко. Спохватившись, он сдернул ушанку с головы, виновато глянул на икону. А потом долго стоял, прижимая шапку к груди и сутулясь, и спиною будто чувствуя на себе чей-то взгляд. Ему казалось, что тихий голос вечной бабушки вот-вот раздастся неведомо откуда, и участковый ждал его в большом напряжении и неподвижности. Но теплая, будто подземельная, глухая тишина не кончалась и тянулась бесконечно. И ставенка за окном замерла. Огонек над синей стеклянной лампадой вдруг сильно замигал и едва не погас. Тихо кашлянув, Булалаев шагнул в полумраке к столу. И постоял еще, видя только странные строки витого непривычного начертания и широкие, ровные поля с двух сторон узкого и длинного столбца текста. Переступив с ноги на ногу и прислушавшись, Булалаев наклонился и с трудом прочел самую последнюю строку в неверном мерцающем свете: «в неверном мерцающем свете...»

Тогда, волнуясь и спеша, Булалаев расстегнул пуговицу поношенного пальто, засунул шапку за пазуху и перевернул сразу несколько страниц к началу:

«И что я утром увидала,— трава всуете да толчее помятая и блестит в ней что-то. Очки его валяются. И не очки, а оправа одна сломанная — стекла-то в осколки раздавлены. Пошла в тайгу подальше от людей. Да что-то не так в тайге, не как всегда. Пригляделась — а вокруг, метров на сто, считай, трава примята, вытоптана — будто много людей тут заночь прошло...»

«Ты — Альфа и Омега, Начало и Конец, Первый и Последний...»

И тогда Булалаев заглянул в конец — и ничего не нашел там на чистых тяжелых листах.

Покачивая головой, он на цыпочках двинулся к двери, медленно прикрыл её, и в сенях долго еще прислушивался к оставленной за дверью тишине. Но уже вскоре шелестящий порыв ветра донесся до него с улицы, и шелест осыпающегося с крыши снега, и гортанный и хриплый, неразборчивый долгий чей-то крик издалека. Крик повторился, повторился — и смолк. И все явственнее и различимее стал раздаваться и приближаться к нему нечастый цокот копыт, и скрип, и бряцанье вскоре. Булалаев надвинул шапку по самые уши, и, не застегнув пальто, вышел из сеней, из разгороженной усадьбы. Мимо домушки вечной бабушки проезжала, громыхая, старая и грязная повозка с уныло согнувшимся на передке широкоплечим пожилым цыганом, уронившим вожжи на колени. И Булалаев пошел вслед за повозкой, вслед за стеклянным бряцаньем и скрипом, глядя на заляпанный ссохшейся грязью и навозом задний борт. Повозка вихлялась, громыхала и тряслась на мерзлых ухабах, и на заднем ее борту вихлялась и тряслась яркая картинка величиною с тетрадный лист. Белокурая полуголая дама, настороженно выпятив блестящие губы, красиво натягивала на худую ногу капроновый чулок так, чтобы это видели все. Булалаев брел совсем медленно по скользкой неровной дороге за цыганской старой повозкой. И все удалялась от него недвижная спина цыгана, и расплывался на борту пестрый яркий четырехугольник, и совсем уже было вскоре не различить на нем изображения настороженной женщины. Повозка, дергаясь и раскачиваясь, громыхала впереди все глуше.

ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА ГАЛАКТИОНОВА

ЗЕЛЕНОЕ СОЛНЦЕ

Роман

Редактор *Е.Шкловская*

Художник *А. Островский*

Художественный редактор *Л. Тетенко*

Технический редактор *Н. Галицкая*

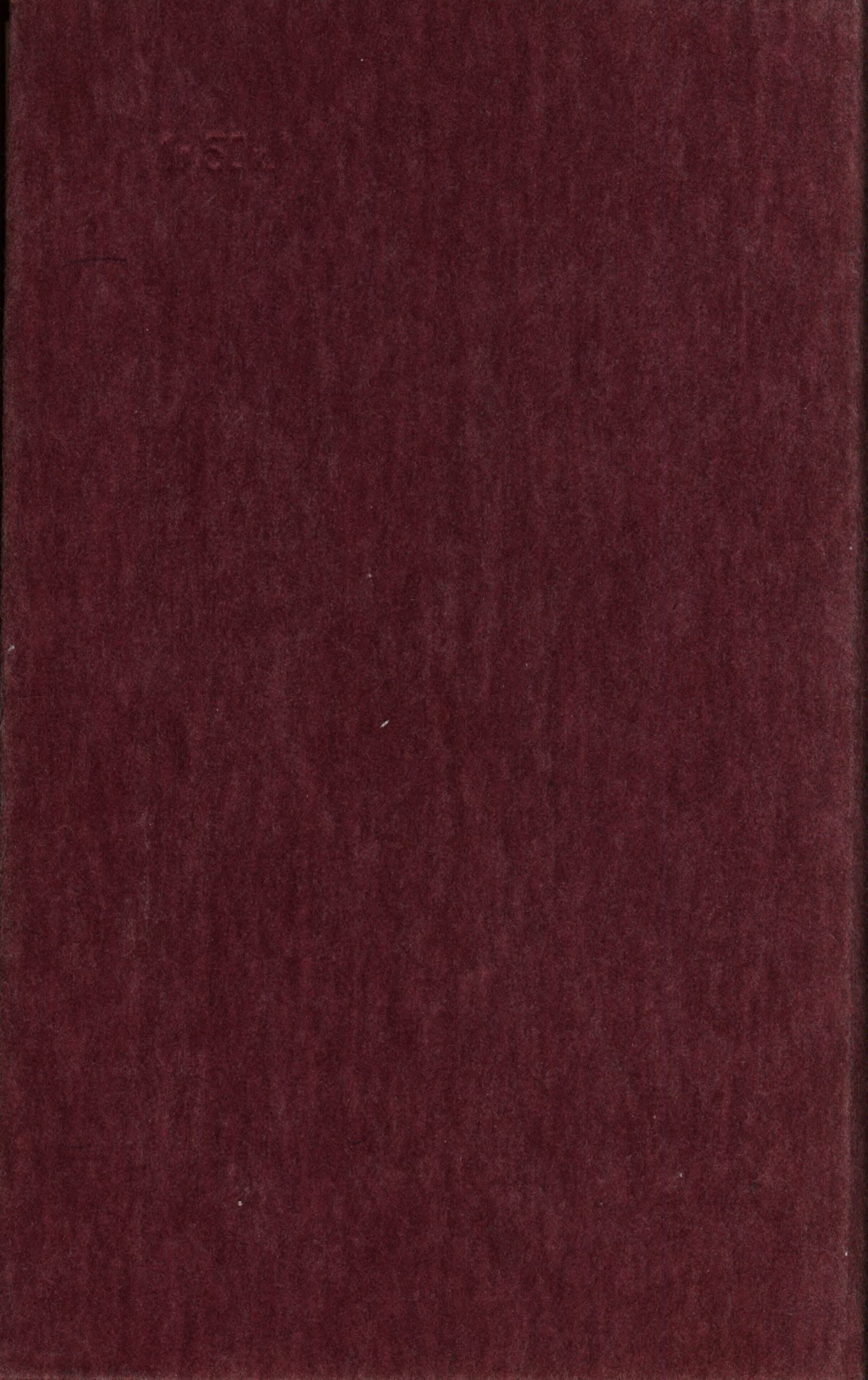
Корректор *Ш. Мукажанова*

ИБ № 4606

Сдано в набор 29.11.89. Подписано в печать 15.06.89. УГ 17146. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. п. л. 15,96. Усл. кр.-отт. 16,18. Уч.-изд. л. 17,83. Тираж 50000 экз. Заказ № 3510. Цена 1 р. 50 к.
Ордена Дружбы народов издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «КІТАП» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

Набрано в ВЦ КП ГКИ СССР с использованием АСУТП «Союз».




вера галактионова